МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

В. И. Немирович-Данченко

Скобелев

Личные воспоминания и впечатления



В. И. Немирович-Данченко

Скобелев

Личные воспоминания и впечатления



Москва
2022

УДК 82-94:355.48(47)
ББК 63.3(2)522-8+84(2=411.2)6-49
Н50

Немирович-Данченко, В. И.

Н50 Скобелев : личные воспоминания и впечатления / В. И. Немирович-Данченко. — Москва : Директ-Медиа, 2022. — 364 с.

ISBN 978-5-4499-2922-8

Книга русского писателя, журналиста Василия Ивановича Немировича-Данченко посвящена памяти выдающегося русского военачальника и стратега Михаила Дмитриевича Скобелева (даты жизни 1843–1882 гг.). Как отмечает сам автор, это не биография великого полководца, а ряд воспоминаний, впечатлений и отрывков, написанных в связи с его преждевременной кончиной. Записи позволяют ближе познакомиться с личностью и взглядами боевого генерала, особо отличившегося в русско-турецкой освободительной войне 1877–1878 гг.

Издание, дополненное извлечениями из писем М. Д. Скобелева к разным лицам, вышло в свет в 1883 г.

УДК 82-94:355.48(47)
ББК 63.3(2)522-8+84(2=411.2)6-49

ISBN 978-5-4499-2922-8

Оглавление

К 150-летию со дня рождения *Михаила Дмитриевича Скобелева*, генерала русской армии, снискавшего боевую славу на полях сражений и оставившего добрый след в памяти потомков.

Моя книга — не биография Скобелева, а ряд воспоминаний и отрывков, написанных под живым впечатлением тяжелой утраты этого замечательного человека... Между ними встречаются наброски, которые может быть, найдут слишком мелкими. Мне казалось, что в таком сложном характере, как Скобелев — всякая подробность должна быть на счету. Кое-где я привел взгляды покойного на разные вопросы нашей государственной жизни. С его убеждениями можно не соглашаться, но молчать о них нельзя. Сожалею, что условия, среди которых приходится работать русскому писателю, не позволяют очертить убеждения Скобелева во всей их полноте: они во многом изменили бы установившееся о нем мнение. При этом, мне пришлось воспользоваться прежним моим «дневником» и повторить, из него несколько страниц. Этого нельзя было избегнуть вовсе.

Автор

Вместо введения

Я уже говорил в первом издании этой книги, что она — не биография Скобелева, а ряд воспоминаний и отрывков, написанных под живым впечатлением тяжелой утраты этого в высшей степени замечательного человека. Между ними встречаются наброски, которые, может быть, найдут слишком мелкими. Мне казалось, что в таком сложном характере, как Скобелев, — всякая подробность должна быть на счету. Кое-где я привел взгляды покойного на разные вопросы нашей государственной жизни. С его убеждениями можно не соглашаться, но молчать о них нельзя. Сожалею еще раз о том, что условия, среди которых приходится работать русскому писателю, не позволяют очертить убеждения Скобелева во всей их полноте.

Он не был славянофилом в узком смысле — это несомненно. Он выходил далеко из рамок этого направления, ему они казались слишком тесны. Ему было дорого наше народное и славянское дело. Сердце его лежало к родным племенам. Он чувствовал живую связь с ними — но на этом и оканчивалось его сходство с нынешними славянофилами. Взгляды на государственное устройство, на права отдельных племен, на многие внутренние вопросы у него были совершенно иные. Если уж необходима кличка, то он скорее был народником. В письме, полученном мною от его начальника штаба генерала Духонина, после смерти Скобелева, между прочим сообщается, что в одно из последних свиданий с ним Михаил Дмитриевич несколько раз повторял: «Надо нам, славянофилам, сговориться, войти в соглашение с “Голосом”... “Голос” во многом прав. Отрицать этого нельзя. От взаимных раздражений и пререканий наших — один только вред России». То же самое не раз он повторял и нам, говоря, что в такую тяжелую пору, какую переживает теперь наше отечество, всем людям

мысли и сердца нужно сплотиться, создать себе общий лозунг и сообща бороться с темными силами невежества. Славянофильство понимал покойный не как возвращение к старым идеалам допетровской Руси, а лишь как служение исключительно своему народу. Россия для русских, славянство для славян... Вот что он повторял повсюду. Взять у Запада все, что может дать Запад, воспользоваться уроками его истории, его наукою — но затем вытеснить у себя всякое главенство чуждых элементов, развязаться с холопством перед Европой, с несколько смешным благоговением перед ее дипломатами и деятелями. «Ученик не лакей, — повторял он. — Учиться — я понимаю, но зачем же ручку целовать при этом?.. Они не наши, во многих случаях они являлись нашими врагами. А враги — лучшие профессора. Петр заимствовал у шведов их военную науку, но он не пошел к ним в вассальную зависимость. Я терпеть не могу немцев, но и у них я научился многому. А заимствуя у них сведения, все-таки благоговеть перед ними не стану и на буксире у них не пойду. Разумеется, я не говорю о презрении к иностранцам. Это было бы глупо. Презирать врага — самая опасная тактика. Но считаться с ними необходимо. Между чужими есть и друзья нам, но не следует сентиментальничать по поводу этой дружбы. Она до тех пор, пока у нас с ними враги общие. Изменись положение дел, и дружбы не будет. Повторяю: учиться и заимствовать у них все, что можно, но у себя дома устраиваться как нам лучше и удобнее». Никто более Скобелева не удивлялся взаимной нетерпимости разных литературных направлений у нас. Он никак не мог освоиться с той мыслью, что при отсутствии политической жизни и свободы в стране борьба идей переходит в отдельную борьбу личностей. Ему казалось возможным сплотиться всем, составить общую программу, направить общие усилия к одной цели. С несколько комическою даже серьезностью он советовал:

да вы сначала вкупе и влюбе поработайте, чтобы право на свое существование отстоять, завоевать себе свободу, а потом уже делитесь на партии, на кружки... Будущим идеалом государственного устройства славянских народов был для него союз автономий, с громадною и сильною Россией в центре. Все они у себя внутри делай что хочешь и живи как хочешь, но военные силы, таможня, монета должны быть общими. Все за одного и один за всех. Я еще раз должен выразить глубокое сожаление, что об идеях и планах этого государственного человека гораздо свободнее пишут и говорят за границей, чем у нас. Жалкое положение отечественного писателя в этом отношении вне всяких сравнений, и поэтому мы поневоле ограничиваемся сказанным здесь.

Родился М. Д. 17 сентября 1843 года. На первоначальное его воспитание, на склад этого замечательного характера более всего влияла мать — умная и энергичная Ольга Николаевна, урожденная Полтавцева. Покойный все время относился к ней с самою искреннею любовью. «Она одна меня понимает, она одна меня ценит, — не раз повторял он. — Ах, если бы она могла со мной жить постоянно...» Скобелев настолько чувствовал нужду в человеке, с которым мог быть вполне откровенным, начистоту, что после смерти матери он не раз просил свою тетку Полтавцеву: «Переезжай ко мне в Минск, ты меня избавишь от многого...» Насколько он был потрясен трагической кончиной своей матери, видно из рассказов близких к нему людей. Она оставила в его душе — все время не заживавшую рану. После этого на него стали находить припадки мрачности, глубокой, ни с чем несравнимой тоски и отчаяния. Он болезненно чувствовал свое одиночество. Он не раз жаловался на то, что около нет близкого, дорогого человека. Вот отрывок из письма его сослуживца, который правдиво рисует душевное настроение почившего героя.

«Мих. Дмитр. был в эту минуту весьма расстроен. Я старался изменить разговор и отвлечь его мысли в другую сторону. С этой целью я придвинул к себе портфель с докладом, но Скобелев, заметив это, объявил мне, что он сегодня не расположен заниматься делами. Затем он встал, взял меня под руку и стал прохаживаться по кабинету.

— Вы находите, что я очень взволнован сегодня?

— Да, и вам надо успокоиться.

— Это невозможно!..

— Почему?

— А потому же: все на свете — ложь, и счастье только в одной доброй семье. Там люди спокойны, откровенны. Я вам *очень* и *очень* завидую. Вы вернетесь домой, вас встретит семья, и вы забудетесь от волнующих вас мыслей, мало того, испытаете много радости, видя возле себя жену, не оставлявшую вас даже на Шипке, а я?.. Вы уйдете, я опять останусь один с своими мыслями... с терзающими меня сомнениями, со всею окружающей меня парадной обстановкой... Начнешь думать, думать и опять ни до чего другого не додумаешься, как до того, что все на свете — ложь и ложь!..

Болезненная струна, часто звучавшая в последнее время в душе Скобелева.

— Со смертью матери у меня оторвалось многое от сердца... И зажить оно не может. Все кровью сочится. К кому я пойду теперь, когда душа заболит... Вечно один и один... Сослуживцы?.. Я их глубоко люблю, знаю, и они меня любят, но это все не то. Тут я был сыном, другом... Один я знаю — насколько я обязан ей, ее советам, ее влиянию. Она одна меня понимала. Ах, если бы она могла жить со мною постоянно...»

Отец далеко не мог на него действовать таким образом. Отец был слишком суров, формален. В старое время — отцы действительно являлись довольно строгим начальством

для своих детей. Тогда даже ласка считалась вредно влияющей слабостью. С ним не мог ребенок чувствовать себя так, как с матерью — это прошло и на всю остальную жизнь. С матерью он был весь нараспашку. Она знала его — со всеми его мечтами, планами, с той интимной стороной жизни, которая бежала от парадной обстановки, от сослуживцев, от друзей.

Самым неприятным воспоминанием его детства был подлый и жестокий гувернер немец, не щадивший самолюбия впечатлительного мальчика. Независимый с самого раннего возраста, вспыльчивый, чрезвычайно подвижный — ребенок сразу подвергся всем прелестям германской муштры, еще усиливаемой презрением к русскому происхождению мальчика. Скобелева «били прутом за всякий дурно выученный урок, за малейшие пустяки. Между гувернером и учеником установилась глухая вражда. Гувернер ухаживал за кем-то и, отправляясь к ней, надевал фрак, цилиндр и новые перчатки. Скобелев мазал ручку у дверей ваксой». Скобелев до такой степени ненавидел своего учителя, что, стиснув зубы, молчал под ударами, не желая своими криками и стонами доставить ему удовольствие. Зато в одиночку потом он плакал целые ночи, воспитывая таким образом в себе с самого раннего детства ненависть к немцам, с одним из неприятнейших экземпляров которых он познакомился столь близко и столь основательно. 12-ти лет Скобелев был детски влюблен в девочку такого же возраста и катался с нею верхом. «Раз в ее присутствии гувернер немец ударил его по лицу. Скобелев, взбешенный до последней степени, плюнул на него и ответил за удар пощечиной». Тут-то отец наконец понял, что такая система воспитания никуда не годится и ни к чему хорошему не ведет. Он отдал сына совсем в другие руки — Дезидерио Жирарде, державшему пансион в Париже. Грубый и подлый по натуре немец был заменен

человеком, совершенно противоположным. Мягкий, гуманный Жирарде и в ребенке умел уважать человека. Обладая громадным образованием, Жирарде долго и после того оставался для Скобелева идеалом благородства и честности. Круто изменившаяся воспитательная система принесла разом блестящие плоды. Жирарде, по счастливому выражению г. Маслова, стал развивать в Скобелеве религию долга. Привязавшись к Мих. Дм., он приехал с ним в Россию и более не разлучался. Впоследствии он приезжал к нему даже на войну, деля с ним ее боевые тревоги. После матери это была самая искренняя привязанность покойного. Когда я встретился со стариком на похоронах Скобелева, я так и припомнил рассказы о нем. Предо мной был тип гуманного, благородного и честного французского ученого, и тогда же мне пришло в голову, к каким последствиям, даже совершенно безотчетно, могло привести Скобелева незаметное, шаг за шагом сопоставление Жирарде с первым гувернером — немцем.

Семья Скобелева хотела, чтобы он заключил свое образование в России.

Он поступил в Петербургский университет, но во время беспорядков в 1861 году должен был оставить его. Он слушал лекции по математическому факультету, хотя его тянуло совсем в другую сторону, и у себя дома вместо университетских лекций Скобелев просиживал над военными науками. Выйдя из университета, он поступил юнкером в кавалергардский полк и через два года произведенный в корнеты перевелся в гродненские гусары, чтобы принять участие в военных действиях в Царстве Польском. Под Меховом и в других делах он сразу выказал замечательную личную храбрость и военные способности. По окончании восстания он поступил в Николаевскую академию генерального штаба, где по виду занимался как будто

бы очень мало, а в действительности, разумеется, гораздо глубже других входил в свое дело. Тем не менее его считали не особенно «старательным» и только совершенно особый случай доставил ему возможность зачислиться в генеральный штаб. На практических испытаниях в северо-западном крае Скобелеву задано было отыскать наиболее удобный пункт для переправы через р. Неман. Для этого нужно было произвести рекогносцировки всего течения реки. Вместо того Скобелев прожил все время на одном и том же пункте. Явилась поверочная комиссия с генер.-лейт. Леером. Скобелев на вопрос о переправе вместо всяких разглагольствований, долго не думая, вскочил на коня и, подбодрив его нагайкой, прямо с места бросился в Неман и благополучно переплыл его в оба конца. Это привело Леера в такой восторг, что он тотчас же настоял зачислить решительного и энергичного офицера в генеральный штаб. Такие системы переправ и потом практиковались уже генералом Скобелевым. Перед переходом Дуная он в 1877 г. сделал то же. Сбросил с себя платье, велел расседлать и размундштучить коня и в одном белье верхом переплыл в оба конца громадную реку. На маневрах незадолго до своей смерти он от кавалерийских полков требовал того же самого.

— Пусть у меня в корпусе подготовка кавалерии будет поставлена так, чтобы переправа вплавь не затрудняла ни больших, ни малых отрядов. Не знать препятствий на войне, уметь искусно преодолевать их — великие данные для победы, и я хочу вооружить вас подобным знанием! — обратился он к своим.

Вслед за тем он приказал на следующий день екатеринославским драгунам приготовиться к переправе всем полком. Появилось несколько удивленных физиономий.

— Как это вплавь, да еще всем полком.

— Я сам буду руководить переправой и за все последствия принимаю ответственность на себя, — ответил на это Скобелев.

На другой день, созвав всех офицеров и унтер-офицеров полка, он рассказал им, в чем дело, и затем прибавил:

— Впрочем, к разговору лучше прибавить и *показ.* Дайте мне лошадь, только не степную, привычную, а воспитанную в конюшне.

Ему подали кровного английского скакуна. Он велел его расседлать, а затем разделся сам и в одном белье верхом на коне погрузился вглубь реки. Лошадь стала тонуть, нырнул и Скобелев, но, не потеряв духа, поводом направил лошадь на противоположный берег. Эта борьба на самом глубоком месте реки продолжалась минуты две, затем конь покорился Скобелеву и выплыл благополучно на намеченное место.

— В другой раз конь будет смелее и послушное!

И Скобелев тотчас же повторил переправу. Конь поплыл спокойно и уже без сопротивления.

Перед последним его выездом из Минска Скобелев отдал все приказания для подготовки на предстоящие маневры к концу августа в Могилеве опыта переправы через Днепр целого отряда по военному составу из войск всех трех родов оружия.

Таким образом еще юношей Скобелев уже показывал то, кем он будет впоследствии.

В 1864 году он посетил театр войны в Датскую кампанию, а через четыре года был назначен в Туркестан, где в 1869 уже принимал участие в действиях генерала Абрамова на бухарской границе. В 1870 году М. Д. был назначен на Кавказ, а в 1871 году уже состоял при полковнике Столетове в Закаспийском крае, где произвел скрытую рекогносцировку к Сарыкамышу. Это не входило в виды

кавказского начальства, вообще и впоследствии не особенно расположенного к молодому талантливому офицеру. Результатом было возвращение Скобелева в Петербург.

Об этом периоде его жизни рассказываются всевозможные басни.

Разумеется, как кипучая, крупная натура Скобелев не мог оставаться в благоразумных пределах будничной мещанской морали; молодость брала свое, а бездействие, часто вынужденное, толкало в бешеную жизнь местной золотой молодежи, убивавшей избыток сил на кутежи, на выходки, иногда доходившие до невозможного. Тем не менее большинство эпизодов, передающихся участниками этих оргий, разумеется, вымышлено, как вымышлены не столько подлые, сколько просто глупые рассказы о том, как Скобелев — этот богатырь земли русской — являлся в то время будто бы изнеженным и трусливым барчонком. Все, что хотите, только не это. Разумеется, питерским хлыщам, являвшимся в Туркестан, глаза мозолил некогда их бывший товарищ, делавший такую быструю карьеру и ослеплявший даже привычных к опасностям людей своей львиной храбростью, отвагой легендарного витязя. Поэт войны и меча уже и тогда складывался в сильные, резко намечавшиеся формы. Часто ему приходилось испытывать мужество подчиненных ему людей, и нам помнится, с каким комическим негодованием передавал один из баловней петербургского режима эпизод, в котором и ему самому случилось участвовать. Дело в том, что раз в экспедиции Скобелеву на пути встретился заключенный в глиняные степы и оставленный разбежавшимися сартами город. Скобелев, желая вероятно испытать, насколько он может положиться на храбрость только что прибывшего к нему петербуржца, поручает ему осмотреть этот город.

— Вы мне дадите конвой?

— Нет, поезжайте в одиночку.

— Но там могут... — колебался тот.

— Вы, значит, трусите.

Приезжий, желавший показать себя не со стороны одной яркости перьев, но и как храброго молодчинищу, дал шпоры коню. Город он проскакал и, воротясь, доложил, что жителей нет.

— Я это, душенька, знал и без вас! — засмеялся Скобелев.

— Вот этого смеха я ему и до сих пор простить не могу. Помилуйте, за что он заставил меня испытать ужас одиночества в городе, предполагавшемся населенным врагами!..

В пояснение к этому нужно бы прибавить, что Скобелев, разумеется, не задумался бы сделать то же самое с тем различием, что его не остановило бы, если бы город не был оставлен, а жители его оказались на местах. В Алайском походе он делал и почище вещи — и не кричал о них, не рассказывал. Это было своего рода искусство для искусства, жажда ощущений. Спокойный формализм Петербурга ненадолго мог удержать Скобелева. Орел в курятнике зачах бы или вырвался бы оттуда. В Коканде открылись военные действия — он бросился в Среднюю Азию. «В 1873 году, командуя авангардом войск, действовавших против Хивы, М. Д. участвовал в делах под Итабаем, Ходжейли, Мангитом, Ильялами, Хош-Купыром, Джаныком, Авли и Хивой, а также и в иомудской экспедиции. В августе того же года он произвел скрытую и опасную экспедицию к Ортакую. Уже тогда его встретил на боевом поле Мак-Гахан и посвятил ему не одну из самых задушевных и блестящих страниц своего описания Хивинского похода». Через год после того мы уже видели Скобелева в южной Франции. Поехал он в Париж, но, наскучив бездействием и заинтересовавшись партизанскими действиями карлистов, пробрался к Дон Карлосу, оборонительные

действия которого считал более достойными изучения, чем действия регулярной испанской армии. Тут он был свидетелем битв при Эстеле и Пепо-ди-Мурра. В данном случае Скобелев вовсе не являлся традиционным бонапартистом, для которого все равно, где бы ни драться, лишь бы драться. Он как военный специалист смотрел на это дело и брал свое, где его находил, всматривался во все, что ему казалось полезным и заслуживающим более пристального наблюдения. Оттуда в Париж он вернулся с парой попугаев, целой массой оружия и громадным количеством заметок и записок о партизанской горной войне, об обороне местностей не регулярной, а только что набранной из крестьян армией. Враги Скобелева в данном случае обратили внимание на попугаев и упустили его наблюдения и заметки. Что же — всякому дорого свое!

«Вслед за тем Скобелев сначала в должности начальника кавалерии, а затем как военный губернатор Ферганы и начальник всех войск, действовавших в бывшем Кокандском ханстве, принимал участие и руководил битвами при Кара-Чукуле, Махраме, Минч-Тюбе, Андижане, Тюра-Кургане, Намангане, Таш-Бала, Балыкчи, Чиджи-Бай, Гур-Тюбе, Андижане — второй раз, Асса-ке, Коканде, Янге-Арык. Он же организовал и без особенных потерь совершил изумительную экспедицию, известную под именем Алайской» [1]. Тут ему приходилось совершать горные переходы через перевалы Сары-Магук на высоте 18 000 футов и Арчат-Даване на 11 000 футах. В последнюю турецкую войну при переходе Балкан он воспользовался опытностью своей для подобных походов и сумел не потерять ни одного солдата от мороза и метели там, где у других вымерзали целые полки и дивизии.

[1] Между прочим, на совести туркестанских офицеров лежит то, что до сих пор мало известно подробностей об этом замечательном походе. Давно бы пора появиться воспоминаниям о нем.

Скобелев в это время был известен только в Туркестане.

Наезжавшие оттуда люди «белой кости», — разочаровавшиеся в своих упованиях на Георгиевский крест и столь же быструю карьеру, — бранили Скобелева, как только могли. Явилась оскорбительная, разумеется по их мнению, кличка победитель «халатников».

— Помилуйте, да разве может выйти что-нибудь из него? — сообщал мне один из таких.

— Почему же?

— Да ведь он со мной вместе в одном полку служил.

— За что же вы полк свой оскорбляете?

— Как так?

— Да разве из вашего полка ничего хорошего выйти не может?

— Нет, не то... Но я вместе с ним кутил... Помилуйте, в Тифлисе мы петуха в пьяном виде подвергли смертной казни, с соблюдением всех предписанных на этот случай обрядов. И вдруг — герой, полководец, гений...

Я, разумеется, только расхохотался над этой наивностью.

Из моей книги видно, как здесь приняли победителя «халатников».

Гении Красного Села и звезды питерских зал столкнулись с настоящей боевой силой. Результатами этого были случаи, от которых М. Дм. в первом периоде войны рыдал как ребенок.

Здесь в этом кратком, даже слишком кратком наброске о его прошлом мы не приводим рассказов о его деятельности в турецкую войну — этому посвящена большая часть моей книги. По окончании войны Скобелеву недолго пришлось бездействовать. В Закаспийском крае тяжкая неудача постигла наш отряд, «руководимый неопытными начальниками». Поправить дело поручили Скобелеву, он блистательно выполнил это назначение. 12 января

1881 года, в то время как благоприятели злорадствовали по поводу якобы неудач Скобелева, когда всюду расходились зловещие вести о том, что Скобелев в плену, что наши бегут из-под Геок-Тепе, — вдруг телеграмма принесла весть о падении крепости и полном разгроме этих легендарных богатырей — разбойников...

Удивительная жизнь, удивительная быстрота ее событий: Коканд, Хива, Алай, Шипка, Ловча, Плевна 18 июля, Плевна 30 августа, Зеленые горы, переход Балкан, сказочный по своей быстроте поход на Адрианополь, Геок-Тепе и неожиданная, загадочная смерть — следуют одно за другим, без передышки, без отдыха.

Смерть неожиданная... Неожиданная для других, но никак не для него... Я уже говорил о том, как он не раз выражал предчувствия близкой кончины своей друзьям и интимным знакомым. Весной прошлого года, прощаясь с д-ром Щербаком, он опять повторил то же самое.

— Мне кажется, я буду жить очень недолго и умру в этом же году!..

Приехав к себе в Спасское, он заказал панихиду по генералу Кауфману.

В церкви он все время был задумчив, потом отошел в сторону к тому месту, которое выбрал сам для своей могилы и где лежит он теперь непонятный в самой своей смерти.

Священник о. Андрей подошел к нему и взял его за руку.

— Пойдемте, пойдемте... Рано еще думать об этом...

Скобелев очнулся, заставил себя улыбнуться.

— Рано?.. Да конечно рано... Повоюем, а потом и умирать будем...

Прощаясь с одним из своих друзей, он был полон тяжелых предчувствий.

— Прощайте!..

— До свидания...

— Нет, прощайте, прощайте... Каждый день моей жизни — отсрочка, данная мне судьбой. Я знаю, что мне не позволят жить. Не мне докончить все, что я задумал. Ведь вы знаете, что я не боюсь смерти. Ну так я вам скажу: судьба или люди скоро подстерегут меня. Меня кто-то назвал роковым человеком, а роковые люди и кончают всегда роковым образом... Бог пощадил в бою... А люди... Что же, может быть, в этом искупление. Почем знать, может быть, мы ошибаемся во всем и за наши ошибки расплачивались другие?.. — И часто и многим повторял он, что смерть уж сторожит его, что судьба готовит ему неожиданный удар.

И это не было мимолетное, скоропроходящее чувство, легкое расстройство нервов. Напротив.

Скобелев, как каждый русский человек, был не чужд тому внутреннему разладу, который замечается в наших лучших людях. Его постоянно терзали сомнения. Анализ не давал ему того спокойствия, с каким полководцы других стран и народов посылают на смерть десятки тысяч людей, не испытывая при этом ни малейших укоров совести, полководцы, для которых убитые и раненые представляются только более или менее неприятной подробностью блестящей реляции. Тут не было этой олимпийской цельности, Скобелев оказывался прежде всего человеком, и это-то в нем особенно симпатично. Очень уж не привлекателен даже гениальный генерал, для которого ухлопать дивизию — то же, что закусить. Это не ложная и пагубная сентиментальность начальников; чуть не плачущих перед фронтом во время боя. В такие минуты Скобелев бывал спокоен, решителен и энергичен, он сам шел на смерть и не щадил других, но после боя для него наступали тяжелые дни, тяжелые ночи. Совесть его не успокаивалась на сознании необходимости жертв. Напротив, она говорила

громко и грозно. В триумфаторе просыпался мученик. Восторг победы не мог убить в его чуткой душе тяжелых сомнений. В бессонные ночи, в минуты одиночества полководец отходил назад и выступал на первый план *человек* с массой нерешенных вопросов, с раскаянием, с мучительным сознанием того, какую дорогую страшную цену требует неумолимый заимодавец судьба за каждый успех, в кредит отпущенный ею. Тысячи призраков сходились отовсюду с немым укором на бескровных устах — и недавний победитель мучился и казнился как преступник от всей этой массы им самим пролитой крови. Как кому не знаю, а для меня такой живо и глубоко чувствующий человек гораздо выше каменных истуканов, для которых бой — математическая формула с цифрами вместо людей! В высшей степени интересно в этом отношении доставленное мне письмо[2] об одном из последних дней жизни М. Д.

Приведу из него некоторые отрывки.

«21 июня я имел последний служебный доклад у генерал-адъютанта Скобелева. Я его застал очень расстроенным, желтым.

— Не чувствуете ли вы себя больным? — спросил я.

— Да... Нужно заняться своим здоровьем... Дня через четыре я буду у себя в Спасском и начну правильное лечение.

— Что у вас?

— Катар и притом самое тяжелое, угнетающее состояние духа.

— Это всегда так бывает при подобных болезнях. Только такой сильный человек, как вы, должен бы совладать с собой.

— Я постараюсь...

[2] Письмо Михаила Лаврентьевича Духонина.

За сим он начал разговор по поводу виденной им у меня картины, изображающей смерть майора Калитина со знаменем болгарской дружины в руке[3].

— Нравится вам она?..

— Вот завидная смерть... Я бы хотел покончить свою жизнь такой именно смертью — во главе моего четвертого корпуса.

— Ну, М. Д., в бою, даст Бог, четвертый корпус не дрогнет, а потому и смерти, подобной смерти Калитина, не понадобится.

— Да, вы правы. Разумеется, четвертый корпус не дрогнет... Но я все же хочу славной смерти или...

— Или что?..

— Умирать пора... Один человек не может сделать более того, что ему под силу... Я свое дело выполнил и далее мне не идти вперед, а назад Скобелевы не пятились. Теперь мудреное время и мне остается разве только "размениваться". Раз я вперед идти не могу — чего же жить?

Видимо, в этот день ему было особенно тяжело.

— Я дошел до убеждения, что все на свете ложь, ложь и ложь... Все это — и слава, и весь этот блеск ложь... Разве в этом истинное счастье?.. Человечеству разве это надо?.. А ведь чего, чего стоит эта ложь, эта слава? Сколько убитых, раненых, страдальцев, разоренных!.. Кстати, вы человек верующий, религиозный... Объясните мне: будем ли мы с вами отвечать Богу за массу людей, которых мы погубили в боях.

— По учению церкви — убивать во имя воинского долга и присяги допускается. При погребении воина она его разрешает от этого греха.

---

[3] Майор Калитин убит при защите Эски-Загры во главе болгарского ополчения, с его знаменем в руках, в тот момент, когда под напором бесчисленных таборов Сулеймана горсть наших войск должна была отступить.

— Вы это из катехизиса... Я знаю... Но что скажет голос совести... За что же мы наконец живем и наслаждаемся славой, добытой кровью братьев, сложивших свои головы?..»

Как симпатична эта черта в покойном!

Видимо, не дешево для его чуткой совести и глубоко страдавшего сердца достались эти лавры.

Несколько успокоившись, он стал говорить о хозяйстве в своем Спасском, о своих дальнейших намерениях, об устроенной там школе и приглашал своего собеседника и сослуживца приехать погостить к нему с женой. В то же время он послал приглашение к г. Хитрово...

— Там я успокоюсь, воскресну... — повторял он мне. — Вы знаете, там я положительно чувствую себя другим человеком...

И по приезде в Москву покойный кипел жаждой деятельности... Сотни планов рождались у него в голове... Сотни планов и больших и малых; впрочем, для него не было малого дела, он так же серьезно обдумывал устройство своих сельских школ, учреждение инвалидного дома, как серьезно стоял на страже русских интересов, как серьезно готовился ко всевозможным случайностям будущего.

Но судьба готовила ему уже ту самую смерть, которую в тяжелые, редкие минуты хотел он сам.

За весь последний год, как и прежде, — кругом кишмя кишела враги, росли зависть а злоба, а он болезненно чувствовал свое одиночество, жаловался на то, что около нет близкого, дорогого человека... Скорбная нотка звучала иногда и в самые лучшие и светлые минуты его жизни.

— Дела впереди еще много!.. — говорил он мне в Москве. — ...Наши силы нужны... Всем следует сплотиться и отстаивать свое... Враг со всех сторон идет; неужели вы не понимаете, что Россия теперь вся на Малаховой кургане?

— Как это?

— Да так: мы отбиваемся опять от коалиции... Отовсюду нахлынули недруги... Разве это не войну они ведут с нами... Да, еще понадобятся наши силы... Одно страшно, жутко...

— Что это?

— Как вспомню, что опять начнут валиться под пулями да под штыками мои солдаты... Знаете, разумеется, надо... Сознаю, что надо... Лес рубят, щепки летят... Да ведь в каждой такой щенке целый мир... Ведь каждая такая единица, из которой мы складываем цифры убитых и раненых, носит в душе своей и радости, и страдания... Ведь сколько мук опять... Да, знаете... я люблю войну, она моя специальность. Но в то же время я ненавижу ее...

— Они думают, — говорил он нам, — о том, что для меня нет ничего лучше, как вести за собой войска под огонь, на смерть... Они думают, что я это из эгоизма... Ради личной славы? Нет, если бы они увидели меня в бессонные ночи... Если бы могли заглянуть, что творится у меня в душе... Иной раз самому смерти хочется, жутко, страшно... Так больно за эти бесчисленные жертвы!..

Раздел I

Громадная, молчаливая толпа перед гостиницей Дюссо. Обнаженные под палящим солнцем головы, заплаканные лица, растерянные взгляды... Со всех концов Москвы собралась и стоит она, храня благоговейную тишину. Только грохот дрожек по мостовой да крики полиции, усердно работающей неведомо зачем локтями и кулаками, нарушают безмолвие... С каждой минутой толпа эта растет и растет, набегают новые, наскоро крестятся и с упорной настойчивостью начинают вглядываться в два окна отеля, еще не занавешенные, как это распорядились сделать потом.

— Там?.. — отрывисто спрашивают вновь приходящие.

— Ужли ж помер?..

В окнах, о которых мы говорим, под горячими лучами дня, пронизывающего их, мелькает то заплаканное женское лицо, то эполеты каких-то наскоро съехавшихся сюда генералов, то расшитый золотом мундир камергера. Что они ему? Что было между ними общего, когда еще жил он?

— На площади бы панихиду!.. — слышится в толпе.

— Сказывают, еще и там не служили...

«Да неужели Скобелев умер!» И как-то невыносимо дика кажется эта мысль; видишь всю эту печальную обстановку смерти, этих растерянных людей, эти тысячи молящихся и все-таки думаешь, что тут ошибка, недоразумение... Вот-вот выйдет кто-нибудь и объявит, что белый генерал очнулся... Но, увы, — не выходит никто... Народ видит в окна, как какой-то молоденький адъютант прислонился к стене и рыдает. Карета за каретой подъезжают к отелю, выходят оттуда сумрачные люди. Все точно ошеломлено горем. Как удар сверху — неожиданно. Еще не чувствуется боли — одно остолбенение на всех...

— Что же это, что это!.. — слышится кругом, но едва-едва, пересохшие от тоски уста только шепчут, точно

боясь нарушить загадочный покой этого мертвеца — любимца восьмидесятимиллионного народа, рокового человека, так рано отмеченного перстом провидения и так безвременно сбитого с ног какой-то бессмысленной, неведомо зачем и откуда налетевшей силой... Точно смыло его куда-то... Еще вчера был, работал, готовился к громадным делам, еще накануне сосредоточивал на себе тысячи надежд и упований... И вдруг!.. Было от чего потерять голову...

В подъезде гостиницы встречаю знакомого... Слезы на глазах, такое же растерянное лицо...

— Послушайте, что это...

— А вот... вот... Вы больше, чем кто-нибудь, чувствуете эту потерю. Вы его знали лично... — Видимо, удерживается, чтобы не разрыдаться. — В час панихида будет...

Слова срываются помимо его воли, мешаются...

В отделении, занятом покойным Михаилом Дмитриевичем, уже толпа... Молча раздвигается она, пропуская вновь прибывающих, и также молча сдвигается... Говорят шепотом, плачут тоже про себя, точно сдерживая рыдания, словно боясь нарушить торжественный покой человека, бессильно лежащего теперь там, за той запертой дверью... Вот любимый адъютант Скобелева подполковник Баранок... В последний раз я видел его под Константинополем.

— При каких обстоятельствах... Опять увиделись... Скобелева нет уже... И не будет такого, как он...

— Здравствуйте! — подходит ко мне другой адъютант, Эрдели. — ...Умер наш генерал... — И тут же отвертывается в угол, бессильно, неслышимо рыдая...

Какие-то люди снуют... Очевидно, все за делом пришли... Вон сотрудник московских газет растерянно бегает из угла в угол... Вон фотограф Панов сел у двери да так и застыл... Вон какой-то армейский генерал расставил ноги посреди комнаты и закостенел...

— Ваше превосходительство!.. — подходит к нему кто-то...

— Громом пришибло-с... Громом-с... Вот после этого и верь-с... Правда-то где? Где правда...

Тихо проходит мимо вся в слезах дама... Родственница покойного... Шепчется о чем-то с генерал-губернатором Долгоруким — тот, очевидно, тоже еще не чувствует боли этой потери, а пока лишь ошеломлен ею... То встанет и уставится на одну точку, то сядет и безнадежно разведет руками...

— Еще вчера веселый, сильный, здоровый... Смеялся, шутил над нами... Сегодня вбегают ко мне — пожалуйте, генерал умер!.. Обругал денщика, думаю генерал шутит... Он часто так-то... Сам станет за дверь со стаканом воды. Вбежишь к нему в комнату, а он водой тебя... думал и теперь... Осторожно вхожу... Лежит... Еще теплый... О Господи, Господи! — и Эрдели хватается за голову.

Двое врачей четвертого корпуса Гелтовский и Бернатович тоже здесь... Блестящий петербургский генерал с вензелями... Этот больше занят собственной своей особой... Я всматриваюсь в лицо другого военного, рядом стоящего, и вспоминаю. Во время войны его называли первой шарманкой российской армии... Разлетается он к армейскому генералу, тот, видимо, еще не очнулся. Нос башмаком и красный, ноги колесом...

— Нужно признаться!.. Покойник был хороший генерал... Не дурной-с! — авторитетным тоном заявляет «первая шарманка».

Косолапый генерал пыжится... Пыхтит, краснеет.

— Если он был не дурной... Так мы-то с вами, ваше превосходительство, что после этого... в денщики к нему... Да и то, пожалуй, не годимся.

Паркетный генерал не унимается. Около стоит молодой офицер генерального штаба с черными, печальными глазами...

— Корпус много потерял в нем!.. И войско — тоже.

— Не корпус и не войско, а весь народ, вся Россия, ваше-ство!..

В час назначена панихида... Едва-едва удалось добиться этого. Хотели служить ее на другой день только после вскрытия трупа... Высокий, красивый архимандрит с черными волнистыми волосами и расчесанной бородой как-то неуверенно, робко показался в дверях с причтом, да там и застыл... Легкий запах кипариса и ладана пронесся в воздухе. Солнечные лучи шире ложатся в комнатах, золотя густые эполеты, красным полымем вспыхивая на лентах и искрясь на звездах...

— Зачем эти живут... Зачем не они лежат там, вместо него, всем дорогого, всем необходимого? — шевелится на душе обидное сожаление...

— Знаете, какая разница между Скобелевым и этими... — слышится около.

— Какая?

— Разорвись тут граната, эти упадут — а он встанет...

— Его нужно вынести на площадь и показать народу!.. Он народу принадлежит, а не тем, которые только мертвому записываются в друзья!.. Пусть на площади служат панихиду — народ молиться за него хочет...

И глядя сквозь окна на эти благоговейные толпы, на эти глубоко взволнованные лица потрясенных людей, я верил, что только там, только они чувствуют как следует всю грандиозность этой потери... Им, именно им нужно было отдать его, чтобы ни напыщенные фразы, ни притворные слезы не оскорбляли его праха... Там он был бы своим между своими — там искренние слезы лились за него, там за него молились и страдали...

Кто-то в толпе стал было рассказывать о последних часах жизни М. Д. Скобелева.

Слушал, слушал старик какой-то... Крестьянин по одежде...

— Прости ему, Господи, за все, что он сделал для России... За любовь его к нам прости, за наши слезы не вмени его в грех!.. И он человек был, как мы все... Только своих-то больше любил и изводил себя за нас.

И вся окружающая толпа закрестилась — и если молитва уносится в недосягаемую высоту неба — эта была услышана там, услышана Богом правды и милости, иначе понимающим и наши добродетели, и наши преступления...

В другой толпе рассказ шепотом.

— Был я у Тестова... Вдруг входит он и садится с каким-то своим знакомым... Я не выдержал, подхожу к нему... Позвольте, говорю, узнать, не доблестного ли Скобелева вижу?.. Дозвольте поклониться вам!.. Он вежливо так встал тоже... С кем имею честь говорить, спрашивает. Бронницкий, крестьянин такой-то, говорю. Подал он мне руку и так задушевно, по-дружески пожал мне мою!.. Ушел я да заплакал даже.

— Он простых любил, сказывают!

И целый ряд рассказов, один за другим, слышался в толпе. Появились солдаты, лично знавшие покойного...

Из спальни, где лежал труп, его вынесли наконец в небольшую комнату, которая еще ничем не была убрана. Первая панихида носила искренний характер. Сюда собрались только знавшие покойного. Не было еще и почетного караула. Когда я вошел сюда, на столе покрытый золотой парчой лежал Скобелев. Его не одели и покров был натянут до подбородка... Громкие уже рыдания слышались кругом... Свет падал прямо на это изящное, красивое лицо с расчесанной на обе стороны русой бородой, на этот гениально очерченный лоб с темной массой коротко остриженных волос...

Совсем, совсем спокойное, только страшно желтое лицо... Он, когда волновался, делался гораздо бледнее,

чем теперь... Точно заснул... Улыбка лежит на губах и тоже безмятежная, ясная... Широкой полосой горят лучи на золоте парчового покрова...

— Не тот покров, не тот покров!.. — суетится кто-то позади.

— Чего вам? — спрашиваю я...

— Совсем не тот покров...

— Да вы-то кто...

— Причетник... У нас для сугубых героев которые, есть егорьевский покров... А покойный-то — егорьевский кавалер ведь...

— Как будто не все равно!

Спит... Совсем спит... Кажется вот, вот проснется и улыбнется нам своей молодой, изящной улыбкой, которая как-то еще красивее казалась на этом молодом и бледном лице... Спит... Только одно — муха вон ходит по лицу... На глаз забралась, ползет по реснице... Остановилась, почесала лапки... Смахнули ее — на нос пересела... Нет, умер!.. Волны лучей, льющихся в еще незанавешенные окна, придают странную жизнь этому неподвижному лицу. Точно не шевеля ни одним своим мускулом, он как-то непонятно то и дело меняет выражение... Прошел кто-то, всколыхнулся воздух, вздрогнули разбросанные по сторонам волосы бороды...

— Вы знаете, что тут один купец сказал... — обращаются ко мне.

— Что?..

— На первых порах он как-то протолкался... Смотрел, смотрел... Ишь, говорит, Михаил Дмитрия при жизни смерти не боялся, а пришла она, умер — да и мертвый смеется ей!..

И действительно смеется...

Уже потом тень чего-то строгого, серьезного легла на это и в самой своей неподвижности красивое лицо...

Образовались какие-то незаметные прежде линии вокруг сомкнувшихся навеки глаз, у резко обрисованного характерного носа... Невольно думалось, глядя на этот труп: сколько с ним похоронено надежд и желаний... Какие думы, какие яркие замыслы рождались под этим выпуклым лбом... В бесконечность уходили кровавые поля сражений, где должно было высоко подняться русское знамя... Невольно казалось, что еще не отлетевшие мысли, как пчелы, роятся вокруг его головы. И какие мысли, каким блеском полны были они!.. Вот эти мечты о всемирном могуществе родины, о ее силе и славе, о счастье народов, дружных с ней, родственных ей, о гибели ее исконных врагов, беспощадной и бесповоротной гибели!.. Сотни битв, оглушительный стихийный ураган залпов, десятки тысяч жертв, распростертых на мокрой от крови земле... Радостное «ура», торжество победы, мирное преуспеяние будущего... Грезы о славянской свободе и вольном союзе вольных славянских народов... И все — в этом комке неподвижного трупа, еще не разлагающемся, но уже похолодевшем... По крайней мере, когда мои губы коснулись его лба, мне казалось, что я целую лед... Вся эта слава, все это обаяние перенеслись в воспоминания!.. Все это будущее, надвигавшееся грозой на недругов, эти темные тучи, где рождался гнев неотвратимой бури, где, казалось, уже загорались молнии, все это будущее уже стало прошлым, ни в чем не осуществившись... Человек показал, как много мог он сделать, показал, сколько гордой силы и гения даны ему, чтобы умереть, оставив во всех его знавших горькие сожаления... А знала его вся Россия! И что за подлая ирония — дать человеку мощь ума, орлиный полет гения, дать ему бестрепетное мужество сказочного богатыря, сквозь тысячи смертей, сквозь целый ад провести его невредимым и скосить его среди глубокого мира и спокойствия... Какая неостроумная, злодейская насмешка судьбы!.. И опять та же

назойливая мысль: сколько с ним ляжет надежд и упований в черный, полный холода и мрака склеп... А теперь вон муха опять ползет по глазу... Под ресницу забирается, из-за которой орлиный взгляд легендарного витязя привык окидывать вздрагивавшие от восторга и энтузиазма полки...

— Отчего он умер?.. — слышится рядом.

— Говорят, от паралича сердца...

— Ну, а когда мы с вами умрем... У нас будет ведь тоже паралич сердца?

— Тоже.

— Следовательно, это все равно, что умер от смерти.

— Да.

Снаружи, на площади тоже немало было характерных эпизодов.

Шел мимо гостиницы Дюссо солдат с Георгиевским крестом... Видит толпу.

— Чего вы, братцы...

— Генерал тутотка номер.

— Какой генерал?

— Скобелев...

— Чего?

Солдата на первый раз ошеломило.

— Скобелев померши!

— Скобелев помер?.. — И солдат опамятовался... — Ну это, брат, врешь... Скобелев не умрет... Ен, брат, помирать не согласен!..

— Говорят тебе, помер...

— Тут, брат, что-нибудь... А только Скобелев не помрет... Врешь... Это уж, брат, верно. Ему помереть никак невозможно.

И совершенно спокойно пошел вперед... Встретил своего.

— Дурень народ у нас.

— А что?

— Ему сказывают, Скобелев помер, ен и верит... Скобелев, брат, не помрет... Сделай одолжение... Может, другой какой, а только не наш!..

В первый же день явился едва держащийся на ногах старик с кульмским крестом на груди... Поклонился в землю, поцеловал в лоб генерала, отцепил свой кульмский крест, положил тому на грудь и ушел вон... Так и не узнали, кто это...

Потом явился другой ветеран, такой же дряхлый и слабый. Долго, долго всматривался в неподвижные черты усопшего.

— Один такой был, да и того Бог взял...

Помолчал несколько.

— Гневен он на русскую землю... В гневе своем и покарал жестоко... Как Египет — древле... Так и нас теперь...

Вышел уже из комнаты, остановился в дверях. Обернулся.

— Тебе хорошо теперь, а каково нам-то без тебя.

Еще накануне Скобелев обдумывал громадные маневры, где преобразованная им кавалерия должна была бы по нескольку раз вплавь переходить Днепр, горячо толковал об этом, читал, учился, делал сотни заметок для завтрашнего дня... И вот, когда пришел этот завтрашний день, уж некому осуществить этих блестящих замыслов...

— Хорошо, что покойник оставил планы свои и предположения... — слышится около.

— Почему хорошо?

— При случае ими можно воспользоваться!

— А кто кроме него самого в состоянии выполнить его планы... Где другой такой?..

«Со святыми упокой», — слышится печальный мотив панихиды.

Все встали на колени...

И почему-то с удивительной ясностью вспомнилось мне в эти минуты все его прошлое... Целая эпопея, пережитая им... Картина за картиной, то под дождем болгарской осени, то в снеговых буранах балканской зимы, то в золотых сожженных солнцем хивинских степях, то в волшебной рамке Босфора и Византии... Теперь пора рассказать о нем... Я был около него в тяжелые и радостные дни, я с ним встречался и после, со мной он был откровеннее, чем с другими... Обо многом мы мыслили далеко не одинаково... Я не разделял его взглядов на войну, не понимал его боевого энтузиазма; мы подолгу спорили по разным вопросам народной жизни, но я его любил, я видел в нем гения, тогда когда вражда и зависть шипели кругом, когда змеиные жала не щадили этой нервной организации, этого живо чувствовавшего сердца... Мне выпала честь в прошлую кампанию первому рассказать о нем, о его подвигах и доблестях, теперь я хотел отдать ему последний долг, нарисовав в беглых очерках не только богатыря, но и человека...

Раздел II

Кажется, недавно было, а уже легендой становится! В июне 1877 года любовался я с журжевского берега на Дунай.

Синяя ширь его была покойна. Ни малейший порыв ветра не колыхал заснувшую волну... Солнечные блики ярко расплывались по неподвижному зеркалу реки; направо далеко-далеко в полуденном зное и блеске точно млели низменные, сплошь заросшие свежим густолесьем острова... Из-за них чуть виднелись мачты спрятавшихся там по проливам судов. Заползли от наших орудий в свои тихие убежища и не шелохнутся, только в бинокль рассмотришь, как едва-едва раздуваются пестрые флаги... Сегодня они, впрочем, бессильно повисли вдоль мачт... Еще дальше за ними красивые черепичные кровли турецкого села и высокий белый минарет... Около вооруженный глаз различает и желтые валы батарей и неподвижных часовых. Цапли на стрехе деревенской хатки торчат так же, как и эти турецкие солдаты. Зеленые облака садов приникли прямо к воде... Иной раз ветер тянет оттуда раздражающую струю густого аромата, в котором слились тысячи дыханий давно уже распустившихся цветов... Еще дальше направо — пологая гора, сплошь заставленная белыми палатками громадного лагеря. На самой вершине ее, точно зверь, притаившийся перед последним прыжком, едва-едва намечивается грозный форт Левант-Табии...

Я засмотрелся и на сверкающие воды Дуная, и на тихие берега его, погрузившиеся в какую-то мечтательную дрему... Не хотелось верить в возможность войны и истребления здесь, среди этого идиллического покоя, едва-едва нарушаемого криком чаек... Вон из-за горы, на которой чуть-чуть наметился форт, виноградники, сады Рущука, целое марево черепичных кровель, тополей, старающихся

перерасти минареты, минаретов, все выше и выше подымающих к безоблачному небу свои белые верхушки с черными черточками балкончиков, с которых муэдзины выкрикивают всему правоверному миру меланхолические молитвы когда-то торжествовавшего здесь ислама... Вон черные купы кипарисов... У самого берега броненосцы замерли в воде — белые трубы ни одного клуба дыма не выбросят в прозрачный воздух... Точно железное сердце их перестало биться и крепкой броней покрытая грудь не дышит... Грузная масса главной мечети слепит глаза... Ее вершина, словно серебряная звезда, горит над городом... А вот и самая гавань с яркими флагами и вымпелами перед домами консулов, с целой стаей лодок, катеров, мелких пароходиков и с тысячами народа, сбившегося к воде.

— С кем имею честь!.. — послышалось за мною.

Смотрю — молодой, красивый генерал... «Слишком изящен для настоящего военного», — подумал я было, но, всмотревшись в эти голубые, решительные глаза и энергичную складку губ, тотчас же взял свою мысль обратно.

Я назвался.

— Очень приятно... Не легкая у вас обязанность... Корреспондент — это бинокль, сквозь который вся Россия оттуда смотрит на нас. Вы ближайшие свидетели и от вас зависит многое... Показать истинных героев и работников, разоблачить подлость и фарисейство... Я вас еще не видел... Я — Скобелев.

— Я был у вашего отца вчера...

— У паши? — сорвалось у молодого генерала... Он засмеялся... — Это моя молодежь отца пашой называет. Жаль, что я вас не видел. Вы где остановились?..

Я сказал.

— Вот сейчас музыка начнется!

— Какая? — удивился я.

— Да вот видите ли: стоит отцу или мне показаться здесь, чтобы вон с той батарейки открыли огонь...

«Музыка» началась скорее, чем я ожидал. Белый клубок точно сорвался вверх с желтой насыпи турецкой батареи. Через три или четыре секунды послышался гул далекого выстрела и, словно дрожа в теплом воздухе, с долгим стоном пронеслась вдалеке граната и шлепнулась в Дунай, взрыв целый фонтан бриллиантовых брызг...

— Недолет! — спокойно заметил Скобелев...

Вторая граната пронеслась над нами и разорвалась где-то позади.

— Перелет... Теперь, если стрелки хороши, — должны сюда хватить...

Точно и не в него это, точно он зритель, а не действующее лицо.

Третья и четвертая граната зарылись в берег близко-близко, когда из Журжева прискакал молодой ординарец.

— Ваше превосходительство, пожалуйте...

— А что?.. Паша разозлился?

— Димитрий Иванович сердится... Напрасно перестрелку начинаете.

Скобелев улыбнулся своей мягкой, доброй улыбкой.

— Ну, пойдем...

Это было довольно обыденное удовольствие Скобелева. Он уходил на берег с небольшим кружком офицеров, а турецкая батарея точно только этого и ожидала, чтобы открыть огонь по ним.

— Зачем вы это делаете?

— Ничего... Обстреляться не мешает... Пускай у моих нервы привыкнут к этому... Пригодится...

Иногда и сам «паша» присоединялся к молодежи. Он стоял под огнем спокойно, но все время не переставал брюзжать...

— Ну чего ты злишься, отец. Надоело тебе, так уходи... Оставь нас здесь.

— Я не для того ношу генеральские погоны, чтобы этой сволочи, — кивал он на тот берег, — спину показывать... А только не надо заводить... Чего хорошего? Еще чего доброго...

— Набальзамируют кого-нибудь?

«Набальзамируют» на языке молодого Скобелева значило «убьют».

— Ну да... набальзамируют.

— Вот еще... куда им. А впрочем, на то и война... Что-то уж давно без дела торчим здесь — скучно. У нас в Туркестане живей действовали...

— Хотите, отец сейчас уйдет? — обращался к своим Скобелев, когда тот уж очень начинал брюзжать.

— Как вы это сделаете?

— А вот сейчас... Папа... Я, знаешь, совсем поистратился... У меня ни копейки. — И для вящего убеждения Скобелев выворачивал карманы...

— Ну вот еще что выдумал... У меня у самого нет денег... Все вышли.

И крайне недовольный, «паша» уходил назад, оставляя их в покое.

Обрадованная этим, молодежь брала лодки, сажала туда гребцами уральских казаков и отправлялась на рекогносцировки по Дунаю — под ружейный огонь турок...

Это называлось прогулкой для моциона.

В сущности, тут было гораздо больше смысла, чем кажется с первого взгляда. Во-первых, и казаки, и офицеры при этом приучались к огню, приучались не только шутить, но и думать, соображать под огнем; во-вторых, развивалось удальство и презрение к смерти, столь необходимое истинно военным, а в-третьих, изучался Дунай с его островами и берегами... В одной из таких рекогносцировок

участвовать привелось и мне. Небольшая рыболовная лодочка забралась в лабиринт лесистых островов Дуная, заползала во все их закоулки. Точно выслеживала в них кого-то... Небольшой турецкий пикет, засевший где-нибудь, хотя бы с верхушек этих же деревьев мог наверняка перебить нас всех.

— Ну что, нервы молчат? — обернулся к нам Скобелев.

— Да!

— Значит, из вас прок будет!..

Вскоре после этого как-то еду я в экипаже из Баниаса в Журжево...

По пути двигаются маленькие отрядцы солдат, идущих в Журжево, Слобозию и Малоруж к своим частям. День был жаркий, все обливались потом. Степь, переполненная солнечным светом, слепила глаза... Издали, нагоняя нас, показалась кавалькада — молодой Скобелев с двумя или тремя своими офицерами. Наехал на кучку солдат-пешеходов.

— Здорово, братцы.

— Здравия желаем, ваше-ство!

— Трудно идти... Жарко!

— Трудно, ваше-ство...

И солдаты скрючились, понурились... Ранцы оттягивают, жидовские сапоги незабвенного Малкиеля жмут ногу. А тут еще по самую ступицу в песок уходишь...

— Ну-ка попробую и я с вами.

Генерал сошел с коня, отдал его казаку...

— Поезжай-ка в Журжево... Прощайте, господа. Я вот с этими молодцами...

И пошел пешком... Спустя минуту между солдатами послышался смех, шутки... Толпа ожила... Песни запели — генерал подтягивает...

— О чем он говорил с вами? — спрашиваю потом у одного из них.

— Орел!.. Только как это он солдатскую душу понимать может — чудесно... Точно свой брат... У одного спрашивает — когда офицером будешь? Тот, известно, смеется... Николи, ваше-ство, не буду. Ну и плохой солдат, значит... Вот мой дед, точно такой же мужик был, как и ты, из сдаточных... Землю пахал, а потом генералом стал!..

— Он ведь наш!.. — заметил другой солдат.

— То есть, как наш? — удивился я.

— Он самого правильного, как есть мужицкого природу!.. — с гордостью подтвердил он.

— Из наших, брат, тоже — настоящие выходят. За ним — как у Христа за пазухой.

— Сказывают, евоный дед прежде был Кобелевым, а потом его как произвели — в Скобелевы пустили...

Потом такие прогулки с солдатами стали для Скобелева обычным делом. Тут он знакомился с ними, да и они его узнавали.

— Ен, брат, к тебе в душу живо влезет.

— Ен, вот как, надо прямо говорить, сто сажон скрозь землю видит!

— На ево страху нет... Ен себя покажет.

И действительно показал...

Раздел III

Первый раз под настоящим огнем его видели на Дунае 6-го июня. В четырех верстах от Журжева к востоку — казачья вышка и построенная саперами хижина. Тут стоял пикет, а около лагерь — 30-го донского казачьего полка, сотня пластунов и небольшой отряд саперов. Это место называлось — Малоружем. Напротив на турецкой стороне Дуная — холм с сильным фортом, от которого вплоть до Рущука тянулся фронт хорошо вооруженных батарей. Оттуда на наш берег в Малоруж стреляли беспрестанно. Турки почему-то особенно невзлюбили это место — совершенно достаточная причина, чтобы его полюбил М. Д. Скобелев, ежедневно предпринимавший сюда поездки. Вся местность тут была изрыта турецкими снарядами — Скобелев живо приучил здешние войска не бояться гранат, и даже молодые солдаты уже считали постыдным кланяться туркам под выстрелами... Саперы рылись здесь как кроты, выдвигая батарею за батареей, и любоваться на их работы очень любил покойный. В день, о котором мы рассказываем, — съехалась к пластунам целая компания корреспондентов русских газет. Гг. Федоров, Каразин и я. Пластунский лагерь весь состоял из рваных бурок, подвешенных на колья; палаток не полагалось этим молодцам, щеголявшим только своим оружием. Целый день рассказывали нам о характерных выходках Баштанникова (обезглавленного потом на Шипке турками, измучившими предварительно этого храброго и симпатичного офицера-пластуна) — любимца Скобелева. Баштанников вместе с молодым генералом от нечего делать придумывали всевозможные штуки. То они бывало наберут хворосту и, связав его наподобие челна, поверх сажают сноп, как будто казака в бурке, воткнут в него жердь, которая должна изображать пику, и пустят по течению Дуная. Турки

присматриваются, присматриваются и вдруг по воображаемому пловцу откроют огонь — да всем берегом. Тысячи глупых выстрелов летят в пространство, разбуженные ими турки в лагерях выбегают, начинается тревога... Случалось, что по таким снопам хвороста били даже турецкие батареи. А то нароют на берегу за ночь земли, свяжут солому вроде медных пушек, да и вставят в импровизированные амбразуры. Турки, увидев отражение первых солнечных лучей на золотистых снопах, открывают самый озлобленный огонь, тратят массы снарядов по этим новым, якобы за ночь выстроенным русскими, батареям... Ночью Скобелев вместе с пластунами зачастую переправлялся на ту сторону к туркам и хозяйничал у них вволю, удовлетворяя, таким образом, потребностям своей непоседливой и неугомонной натуры...

— Это настоящий... Это — наш! — говорили пластуны о Скобелеве.

В ночь, о которой я рассказывал, пластуны, став в кружок, пели свои очень характерные, нигде до тех пор мною не слышанные, торжественно-меланхолические песни, напоминающие церковные мотивы. В сумерках южной ночи, когда вдалеке разгорались лагерные костры, а звезды все ярче и ярче мерцали с недосягаемой высоты, песни эти производили глубокое впечатление.

— Мало, мало старых пластунов! — вздыхал Баштанников, оглядывая своих.

— А новые разве плохи?

— Нет, не то... А к тем сердце приросло... Вместе по ночам крались к врагам, высиживали в засадах... Кто в могиле, а кто дома обабился!..

Потом стало их еще меньше... Это — редкий и специальный род войска — а их заставляли ходить в атаку, как пехотинцев.

Турки почти всех их и перебили.

Костры разгорались, яркими красными пятнами выделялись они из густого сумрака далей... Позади стоял говор. Песни смолкли, только одна какая-то тоскливая доносилась издали, словно оплакивая кого-то...

Что это?.. Будто щелкнуло вдали... Еще и еще... Мы вскочили и бросились к лошадям... Сухая трескотня выстрелов усиливалась... Нервное ожидание общего боя росло и росло... Лагерь с глухим шумом подымался. Строили коней.

— Где полковой командир?.. — из мрака наехал прямо на нас казак.

— Чего тебе? — отозвался Д. И. Орлов.

Тот что-то прошептал ему...

— Вторая сотня, на коней!

Спустя две или три минуты темная масса уже построившейся сотни двинулась по направлению к выстрелам. В пятидесяти шагах мы уже не различали ее движения.

Перестрелка разгоралась... Скоро вся окрестность гремела... Глушило остальные звуки... Вот точно звездочка прокатилась по небу...

— Ишь, шрапнелями начал! Дело серьезное.

Гулкие удары орудия на минуту покрыли ружейную трескотню... Еще и еще...

Журжевские батареи стали отвечать туркам.

В это время на берегу, под выстрелами, в белом кителе, верхом на белом коне показался Скобелев.

Можно было подумать, что он на бал разрядился.

— Разве бой не бал для военного? — ответил он кому-то... — Вот теперь весело стало... Наконец.

— Неужели вы радуетесь бою?

— А что ж военному плакаться на него... Это наша стихия...

Уже тогда он поразил всех находчивостью, завидным умением думать и смеяться под огнем.

Стал закуривать папиросу... Шрапнель разорвалась у него над головой, рука со спичкой даже и не вздрогнула.

— Обидно видеть такое спокойствие... — заметил кто-то из его товарищей.

— У меня, голубчик, почти десять лет боевой практики позади... Погодите, через несколько времени и вы будете спокойны.

Немного спустя, когда перестрелка замерла, когда темная южная ночь окутала опять нас своими поэтическими сумерками, — Скобелев во весь карьер мчался в Журжево. Ветер дышал прямо в лицо ему, генерал несся быстро, быстро и, точно не довольствуясь этим, еще понукал разгоревшегося коня...

— Весело! — кинул он кому-то, попавшемуся навстречу...

Так и веяло от него силой, жизнью, энергией...

Вскоре после того он с несколькими офицерами генерального штаба на берегу Дуная остановился во время рекогносцировки. Повернули коней кружком головами один к другому и начали обсуждать выгоды или невыгоды данной местности. Скобелев, так как тут был военный агент-иностранец, по-французски излагал свое мнение... В это время послышался какой-то грохот... Граната упала посередине круга, с визгом разорвалась, взрыла вверх целую тучу земли, обдала комьями лица совещавшихся. И в то мгновение, когда каждому приходил в голову неизбежный вопрос: цел ли я, целы ли товарищи, — послышался нимало не изменявшийся, спокойный голос Скобелева.

— Et bien, messieurs, résumons!..[4]

И он с той же ясностью начал излагать свои выводы, как будто бы только что ничего не случилось, точно ветка хрустнула под копытом коня...

---

[4] Хорошо, господа, сделаем вывод!..

В это время армия уже отметила его... Он уже становился кумиром офицеров и солдат...

Богатырь, легендарный витязь вырастал и формировался в общем сознании боевой молодежи, и только тупоумие да педантизм смотрели на него с недоверием и завистью!..

И это недоверие и эта зависть прекратились только со смертью Михаила Дмитриевича... Только теперь притаились они...

У нас, чтобы быть оцененным, чтобы получить только принадлежащее по праву — нужно умереть...

Подлое время и подлые люди!.. Сколько теперь нашлось у него друзей — и как мало их было тогда...

Как он умел говорить с солдатами, знают те, кто видел его с ними. Они понимали его с полуслова — и он их знал «дотла», как выразился один «из малых сих». Мне рассказывали, например, об уроке атаки на батарею, данном им новобранцам. Стояло их человек сто...

— Ну, братцы, как же вы пушку станете брать?

— А на уру, ваше-ство.

— Ура — урой... А вы умом-то раскиньте... Знаете ли, что такое картечь?.. Ну вот бросились вы, уру закричали — неприятель выпалил из орудия, двадцать человек вас легло... Сколько вас теперь осталось? Восемьдесят... Уйдите двадцать человек... Это вот убитые, слышите ли... Их уж нет... Ну, а вы что будете делать, половчей чтобы вышло...

— А мы, ваше-ство, покуль он опять заряд, значит, положит, тут на него и навалимся... Штыкой его...

— Ну теперь молодцы, ребята... Значит, поняли меня. Пойдем кашу есть...

И генерал взял деревянную ложку у первого попавшегося солдата и засел за общий котел...

— Ен, брат, и ест-то по-нашему, — говорили они потом, хотя едва ли кто-нибудь другой был так избалован в этом отношении, как Скобелев...

Отсюда понятно, почему уже первое время прошлой войны, до перехода нашего через Дунай, популярность его в войсках Журжевского отряда росла не по дням, а по часам. Сначала ему удивлялись, потом невольно поддались могущественному обаянию Михаила Дмитриевича и привязались к нему, как дети. Я, разумеется, говорю о солдатах и о молодых офицерах. Очень многие в этот начальный период смотрели на него как на чужого, как на победителя каких-то азиатских «халатников». Ему уже и тогда завидовали, завидовали его молодости, его ранней карьере, его Георгию на шее, его знаниям, его энергии, его умению обращаться с подчиненными... Глубокомысленные индюки, рождавшие каждую самую чахоточную идейку с болезненными потугами беременной женщины, не понимали этого деятельного ума, этой вечно работавшей лаборатории мыслей, планов и предположений...

— Как им любить его, — говорил один из лучших генералов прошлой войны, разом сошедшийся со Скобелевым. — Помилуйте, сидели они чинно за столом, плавно курлыкали, все это так хорошо и спокойно было; вдруг грохот: проваливается крыша и прямо на стол сверху летит Скобелев с целым чемоданом новых идей, проектов, знаний о вещах, до сих пор этим индюкам неизвестных...

Дошло до того, что победителя «халатников» всякая гремучая бездарность и напыщенная глупость стала третировать, как мальчика...

— Вам слишком легко, почти даром достались ваши Георгии... Теперь заслужите-ка их! — говорили ему, и самолюбивый Скобелев, знавший себе цену, целые недели потом ходил зеленый, с разбитыми нервами, измученный... Не тогда ли у него стала развиваться болезнь сердца, сведшая его в раннюю могилу, если только эта болезнь была у него.

Случалось так, что Скобелеву и говорить не давали.

Питерские наполеоны только фыркали, когда победитель «халатников» предлагал тот или другой план, а когда он переходил к действиям, его просто обрывали. Этого военного гения, которого академия теперь признала равным Суворову, даже прямо оскорбляли. Раз он сделал какую-то рекогносцировку, которую считал крайне необходимой...

— Ступайте и сидите у моей палатки, пока я позову вас! — высокомерно оборвали молодого генерала, и тот, приехав в Зимницу, заболел от тоски и обиды...

— Знаете, — обратился он ко мне, — брошу я все это, отпрошусь обратно в Россию и, когда кончится война, сниму военный мундир и стану служить земству... В деревню уеду... Верите, силы нет... Сознаешь, что делается не то — а скажешь, так хорошо еще, если внимание обратят... Трудно, ах трудно!

И часто слышались слезы в голосе молодого генерала, когда он возвращался после таких неудачных попыток.

Нужно отдать справедливость генералу Драгомирову. Он едва ли не первый оценил этот боевой гений в Скобелеве. Бывший военный министр Милютин тоже ранее других отметил молодого генерала.

Раздел IV

А между тем он меньше, чем кто-нибудь был доволен собой. В Журжеве, в Бии, в Зимнице, точно так же как потом в траншеях под Плевной, Скобелев учился и читал беспрестанно. Он умел добывать военные журналы и сочинения на нескольких языках, и пи одно не выходило у него из рук без заметок на полях, по словам специалистов, и тогда уже обнаруживавших орлиный взгляд белого генерала. Интересно, в чьих руках находятся теперь эти книги. В высшей степени любопытно было бы проследить по ним, как мало-помалу из богатыря и витязя вырастал в Скобелеве полководец, «Суворову равный», по прекрасному выражению академии.

Учился и читал Скобелев при самых иногда невозможных условиях. На биваках, на походе, в Бухаресте, на валах батарей под огнем, в антрактах жаркого боя... Он не расставался с книгой — и знаниями делился со всеми. Быть при нем — значило то же, что учиться самому. Он рассказывал окружавшим его офицерам о своих выводах, идеях, советовался с ними, вступал в споры, выслушивал каждое мнение. Вглядывался в них и отличал уже будущих своих сотрудников. Нынешний начальник штаба 4-го корпуса генерал Духонин так, между прочим, характеризовал Скобелева.

— Другие талантливые генералы Радецкий, Гурко берут только часть человека, сумеют воспользоваться не всеми его силами и способностями. Скобелев напротив... Скобелев возьмет все, что есть у подчиненного, и даже больше, потому что заставит его идти вперед совершенствоваться, работать над собой...

Иногда среди товарищеских пирушек с молодежью он вдруг задавал серьезные военные задачи. Стаканы в сторону, и тесный круг сдвигался еще теснее, задумываясь

над разрешением запутанного боевого вопроса... Скобелев был молод — и любил женщин, но по-своему. Он не давал им ничего из своего я. Он говорил, что военный не должен привязываться, заводить семьи...

— Игнатий Лойола только потому и был велик, что не знал женщин и семьи... Кто хочет сделать что-нибудь крупное — оставайся одинок...

Ему очень нравилась какая-то француженка в Бухаресте... Как-то он добился свидания с ней. Представьте себе ее изумление, когда посредине горячего разговора он вдруг остановился, задумался, пошел к столу, вынул какую-то книгу и погрузился в чтение, по временам что-то отмечая на карте. Точно так же зачастую он уходил с обеда к себе наверх, и ординарцы, посылавшиеся к нему, заставали его за книгами... Потом, чтобы не терять время, он приказал своему адъютанту носить с собой постоянно записную книжку. Приходила генералу какая-нибудь счастливая идея, вопрос, и они сейчас же заносились туда. Разговор с ним уже и в начале войны был очень поучителен. Он умел расшевелить ум у человека, заставить его думать... Для этого он не останавливался ни перед чем.

— Мало быть храбрым, надо быть умным и находчивым! — говорил он своим, хотя на храбрых людей у него была какая-то жадность. Узнав о каком-нибудь удальце, он не успокаивался, пока не переводил его в свой отряд... Для этого он пускался на всевозможные хитрости, дружился с офицером, упрашивал его начальство и в конце концов-таки добился, что в дивизии у него были молодцы на подбор.

Не только молодому офицеру, но и солдату белый генерал был товарищем.

Едет он как-то в коляске. Жара невыносимая, солнце жжет... Видит, впереди едва-едва ковыляет солдат, чуть не сгибающийся под тяжестью ранца...

— Что, брат, трудно идти?

— Трудно, ваше-ство...

— Ехать-то лучше... Генерал вон едет, полегче тебя одетый, а ты с ранцем-то идешь, это не порядок... Не порядок ведь?

Солдат мнется.

— Ну, садись ко мне...

Солдат колеблется... шутит что ли генерал...

— Садись, тебе говорят...

Обрадованный кирилка (так мы называли малорослых армейцев) лезет в коляску...

— Ну что, хорошо?

— Чудесно, ваше-ство.

— Вот дослужись до генерала и ты будешь ездить так же.

— Где нам.

— Да вот мой дед таким же солдатом начал — а генералом кончил... Ты откуда?

И начинаются расспросы о семье, о родине...

Солдат выходит из коляски, боготворя молодого генерала, рассказ его передается по всему полку, и когда этот полк попадает в руки Скобелеву — солдаты уже не только знают, но и любят его...

Раз в Журжеве идет он по улице — видит, солдат плачет.

— Ах ты баба!.. Чего ревешь-то? Срам!..

Солдат вытягивается.

— Ну чего ты... Что случилось такое?

Тот мнется...

— Говори, не бойся...

Оказывается, получил солдат письмо из дому... Нужда в семье, корова пала, недоимка одолела, — неурожай, голод.

— Так бы и говорил, а не плакал. Ты грамотный?

— Точно так-с.

— И писать умеешь?

— Умею.

— Вот тебе пятьдесят рублей, пошли сегодня же домой, слышишь... Тебе скажут, как это сделать... Да квитанцию принеси ко мне...

Отзывчивость на чужую нужду и горе до конца не покидала Скобелева. Мне рассказывал Духонин, что Михаил Дмитриевич не брал никогда своего жалованья корпусного командира. Оно сплошь шло на добрые дела. Со всех концов России обращались к нему, даже часто с мелочными просьбами, то о пособии, то о покровительстве, то о заступничестве. Обращались и отставные солдаты, и мещане, и крестьяне, и священники... Раз даже какая-то минская баба прислала письмо о пропитом мужем полушубке. К чести Скобелева нужно сказать, что в этом случае для него не было ни крупных, ни мелких просьб. Он совершенно правильно рассуждал, что для бабы зимний полушубок так же нужен, как отставному притесняемому деревней солдату — его пропитание. *И ни одна такая просьба не была оставлена без внимания.* Он посылал деньги, хлопотал, просил... В Москве раз я иду с ним по Никольской. Вдруг кидается к нему какой-то крестьянин.

— Сказывают, батюшко-генерал, ты и есть Скобелев.

— Я...

— Спасибо тебе, родимый... Вызволил ты меня... Из большой беды вызволил... Дай тебе Бог...

— Когда, в чем дело... Я ничего не понимаю.

— Писал я к тебе... Затеснила меня уж очень волость...

— Ну?

— А тут отставной солдат один был — пиши, говорит, к Скобелеву, ен услышит, будь спокоен... я и послал тебе письмо... А ты губернатору нашему приказал не трогать меня... Меня и успокоили... Спасибо тебе, защитник ты наш...

И бух мужик в ноги...

Вот тайна этой изумительной популярности, вполне заслуженной покойным генералом.

— Тысячи писем приходилось писать и пособия рассылать таким образом! — сообщал мне Духонин. — Ни одно письмо к нему не оставалось без ответа...

Решительность и способность к инициативе была в нем громадная и сказывалась во всем. Он и в других любил это качество.

— Отчего это вы не были с нами? — спросил он раз меня, после одного дела в Журжеве.

— Да я просил у вашего отца.

— У «паши»... Ну и он отказал вам?

— Да...

— А вы вперед не спрашивайтесь, а прямо поезжайте... Если спрашиваетесь — значит, и вы сомневаетесь, и другого заставляете сомневаться, можно ли... А коли прямо едешь, так и вопрос о возможности уж тем самым решен. Я вообще терпеть не могу спрашиваться. Берите на свою ответственность и не спрашивайтесь впредь.

Потом я оценил этот совет вполне...

Под конец журжевской стоянки и потом в Систове Скобелеву приходилось уж невтерпеж. Слишком стали его травить доморощенные Александры Македонские.

Только было заикнется Скобелев о своем боевом опыте:

— Ну, вы опять про ваших халатников!.. Это совсем другое дело... Вы там по вашим степям черепахами ползали, а мы перелетим орлами...

— Крыльев-то хватит ли?..

— Весь план кампании так рассчитан: позавтракаем мы в Систове, пообедаем на Балканах, а поужинаем в Константинополе!..

— Ну, давай Бог...

— Уж вас не спросим... Вам-то Георгии там легко доставались...

И куда смыло потом после первого похода за Балканы и трех Плевен этих высокомерных стратегов... Тише воды, ниже травы стали они, словно мокрые курицы опустили свои еще накануне встопорщенные крылья... У Скобелева раз о таком, ныне, впрочем, уже покойном герое, вырвалась меткая фраза...

— Сам себя разжаловал!

— Как это?

— Да из Александров Македонских — в Буцефалы. И чудесно под седлом ходит, всяким аллюром!..

Больше всего в это время, как и потом, вредили Скобелеву его друзья. Не те боевые товарищи, которые действительно знали и любили его, а петербургская большесветная опрометь, записавшаяся в дружбу к молодому генералу и в виде вящего доказательства этой дружбы рассказывавшая о нем Бог знает что. Некоторые из них своевременно наезжали в Ташкент за Георгиями, прикомандировывались к Скобелеву в Фергану и, не получив крестика, с бешенством возвращались назад, распуская о Михаиле Дмитриевиче самые чудовищные слухи. Один, например, лично уверял меня, что Скобелев не храбр.

— Помилуйте, он трус... Совсем трус. Всего боится.

Встречаюсь я с ним после войны.

— А трус-то ваш богатырем оказался!

— Да ведь это его корреспонденты таким изобразили...

— Ну а войска, рассказы тысячи очевидцев?

— Тогда, значит, он из честолюбия.

Геок-Тепе заставило замолчать всех таких. Там уже при генерале не было корреспондентов — дело говорило само за себя.

Раздел V

За несколько дней до 7 июня Скобелев находился в нервном настроении. Целые ночи он не спал. То рыскал вдоль берега, то с двумя, тремя гребцами из казаков объезжал дунайские острова, а раз даже перебрался на турецкую сторону и сам высмотрел, что у них делается около Рущука. Напрасно было говорить ему об опасности подобных предприятий. Всякая опасность — только еще более придавала в его глазах прелести задуманному делу. Без опасностей, без кипучей работы — он начинал хандрить, скучать, становился даже капризен, как женщина. Но начиналась работа, и Скобелев был неузнаваем. Перед вами обрисовывался совсем другой человек... Исследовав Дунай с его островами и берегами, он нашел себе по ночам другое дело. Началась постройка батарей, которые старались замаскировать так, чтобы неприятель никак бы не мог к ним пристреляться. Молодой генерал вечером выезжал к саперным командам, сооружавшим земляные насыпи, и только утром возвращался оттуда... Раз как-то солдаты заленились или устали, а профиль батареи должно было непременно закончить к утру.

— Хорошо, если бы оттуда, так, сдуру, стрелять начали, — показал он на турецкий берег.

— А что?

— Посмотрите, как живо двинулась бы работа! С лихорадочной поспешностью стали бы строить!

И действительно, знание солдата ему не изменило. Не успел еще он окончить своей фразы, как по ту сторону точно открылось чье-то красное, пламенное око. Открылось и опять смежило веки. Послышался гулкий удар дальнобойного орудия, и скоро граната с громким металлическим стоном разорвалась около батареи. Лопаты саперов заработали гораздо быстрее. Солдаты торопливо

начали набрасывать землю, оканчивая бруствер и траверсы... «Это всегда помогает!» — обернулся к нам Скобелев.

— Когда вы спите? — спрашиваю я как-то у него.

— Я могу сутки спать не просыпаясь и могу трое суток работать, не зная сна...

И действительно, счастливая организация Скобелева позволяла это. Когда было решено заградить минами течение Дуная у Парапана, тогда он совсем уже ушел в работу. И день и ночь его встречали то там то сям. Уже в самом начале войны обнаружилась в нем черта характера, с таким блеском выделившаяся впоследствии. Он не верил никому, всегда сам изучая местность. Никакими в этом отношении кроки нельзя было заставить его сделать то или другое распоряжение. Он непременно ехал сам, вглядывался и находил много деталей, упущенных офицерами... Малейшая неровность местности, жалкий ручей, пригорок, все это было слагаемыми для его комбинаций, выигрывавших ему бой. Так и в деле при Парапане. Еще не успели определенно назначить день для минных заграждений, как Скобелев уже изучил местность так, что бывшим тут же офицерам генерального штаба пришлось только удивляться ему. Для прикрытия смелой атаки миноноски «Шутка» назначен был 15-й батальон из знаменитой впоследствии 4-й стрелковой бригады, которую Скобелев прозвал «железной»... Когда батальон выстроили, командир, теперь уже не помню кто, обратился к солдатам:

— Охотники — вперед!

Весь батальон как по команде шагнул вперед.

— Это лучше! — заметил Скобелев. — По-моему, никаких охотников не должно быть... Каждый должен быть охотником! — И впоследствии Михаил Дмитриевич очень редко, в самых исключительных случаях прибегал к этому

приему. Он всегда старался доводить солдат до того, чтобы среди них все были «охотниками».

— Дело должно быть праздником для военного... Какие же тут охотники...

Было выбрано 120 солдат, к ним командировано трое офицеров. Вместе с сотней уральских казаков и полевой батареей это составило небольшой отряд прикрытия минных работ. Офицеры было повели их, когда Скобелев остановил пехоту.

— Постойте... Так нельзя... Солдат должен всегда знать, куда и зачем он идет... Сознательный солдат в тысячу раз дороже бессознательного исполнителя... Уральцам я уже объяснил...

— Здорово, молодцы!

Те ему ответили.

— Знаете ли, куда вы теперь идете...

Солдаты стали мяться...

— В Барабан, ваше-ство!

— Ну все равно, Парапан или Барабан... А зачем?

— Турку бить!..

— Турка бить всегда следует... Как твоя фамилия?

— Егоров, ваше-ство!

— Видно, что удалой... Скоро георгиевским кавалером будешь... А только мы теперь вовсе не турку бить идем... Нам, брат, нужно другое дело обработать... Скоро мы на ту сторону Дуная перебросимся, поняли?..

— Поняли, ваше-ство!

— Ну, то-то... Сидеть-то у молдаван надоело... Все на одном месте... Здесь без галагана[5] никуда не пустят... Да и работы солдату мало...

— Это точно...

[5] Мелкая румынская монета.

— Ну вот... Мы воевать пришли, а неприятель на той стороне, он к нам не придет — ему у себя чудесно, нам нужно его выбить оттуда... Выбьем ведь, орлы?..

— Рады стараться!.. — повеселели солдаты.

— А чтобы выбить, нам нужно перейти через Дунай... Тут-то нам и достанется... Станем мы перебираться туда — турок-то ведь тоже не дурак, он на наши плоты да лодки мониторы свои пустит. Видели вы, какие мониторы, вон, что пыхтят у берега...

— Видели, ваше-ство!

— Они нас и перетопят... Ну, а мы хитрее турка... Мы в воду такие мины погрузим, что ему сквозь них и не проплыть, только он на них наткнется, тут его и взорвет. Мы-то у него перед носом и перейдем реку...

— Рады стараться!.. — сами уже отозвались солдаты, понявшие в чем дело.

— Это совсем не такой, как другие! — толковали потом они между собой. — Этот умный... Понятный!.. — Так на первых порах имя «понятного» генерала и осталось за Скобелевым.

Парапан, деревня по прямому направлению от Журжева в пятнадцати, а по дороге — в двадцати верстах. Сады его сползают почти к самому берегу, на возвышении стоит отдельно большой помещичий дом, который на 7 июня был занят штабом Скобелева. Ночь была ясная, теплая, такая, какие знает только благословенный юг с его мечтательным сумраком, с волнами благоуханий, льющихся по ветру, с задумчивым шелестом деревьев и словно теплющимися страстными звездами. Луна светила ярко-ярко, обливая трепетным сиянием раины садов, расстилая по неподвижному Дунаю точно серебряные сети... Именно казалось, что это не блеск месяца зыблется на его водах, — а всплыли наверх и мерещутся влюбленному взгляду северянина серебряные сети какого-то сказочного рыболова...

Едва-едва слышный, сонно бился прибой в отмелях... У противоположного берега чудилось словно заколдованное царство, заповедное, недоступное... Среди поэтического молчания этой ночи едва-едва слышались весла восьми лодок, в которых перебирались к острову Мечику, накануне исследованному Скобелевым, пятьдесят человек стрелков и тридцать уральцев...

— Увидят их турки... — волновался генерал, когда среди лунного блеска показались на ярком зеркале Дуная черные с черными силуэтами гребцов и солдат лодки, вырезанные точно из агата... Но там, в этом заколдованном царстве «того» берега было все тихо и вполголоса раздававшаяся команда замирала в теплом воздухе южной ночи...

Остров был залит водой...

Генерал приказал закрепить лодки за стволы каштанов. Солдаты и казаки, сняв сапоги, засели на деревья и будто водяные птицы сбились на немногие сухие клочки земли и на болотины, только что освободившиеся от разлива. Все это — в полном молчании... Даже участвовавшие слышали только шорох ветвей да шелест раздвигаемой листвы. С нашего берега остров казался совсем безлюдным. От Молодежоса двинулось перед тем восемь паровых шлюпок, из них две миноноски... На пути всюду им встречались мели, и вместо двух шлюпки явились сюда только к четырем часам, когда уже рассвело. Турецкий берег был залит так называемым «тыльным» светом солнца, так что Скобелев только с трудом и то в туманных очерках мог различать, что у них делается. Все дрожало там от этого блеска, контуры изменялись, расплывались, точно какая-то яркая дымка висела над этим красивым и зеленеющим гребнем...

— Ну сейчас начнется! — обернулся Скобелев к своим.

— Что начнется?

— Наших заметили!..

Потом оказалось, что зоркий глаз генерала действительно отличил на том берегу прискакавший туда турецкий отряд.

— Вот и пифпафочка!.. — улыбнулся Скобелев, когда те открыли огонь по лодкам, уже начавшим погружать торпеды.

— ...Молодцы! — восхищался Михаил Дмитриевич... — Ишь, у самого берега работают... У меня всегда к морякам сердце лежало.

Действительно, наши катера заработали под носом у турок... Послышался сухой треск беглого ружейного огня с берега, все усиливавшийся и усиливавшийся. Можно было бояться больших потерь.

— Пора и нам!.. — И не ожидая приказания отца, молодой Скобелев, официально только начальник его штаба, а в сущности командир всего отряда, приказал береговой батарее тяжелых орудий открыть огонь по этому, состоявшему из двухсот человек скопищу. Расстояние оказывалось очень велико, но первый выстрел был случайно удачен, гранату разорвало в кучке турок, которые рассыпались во все стороны.

Только через час явился турецкий военный вестовой пароход. Его тоже приветствовали выстрелами. Ответные снаряды не долетали до нас. Первый упал за версту до нашего берега, а второй разорвался у самого дула выпустившего его орудия... После одного из таких выстрелов пароход, очевидно, получил повреждение и стал отступать... Раз он было приостановился, но два паровых катера, служившие для обороны и вооруженные минами, направились на него... Выждав их на двести сажен, громадное пароходище это постыдно повернуло назад и поспешно ударилось в бегство. Вдали в это время наши заметили скрывавшийся до тех пор монитор. Он уже открыл огонь... Тогда начальник шлюпки Наследника Цесаревича

«Шутка» подошел к заведывавшему заграждением Новикову, которого все моряки дунайской нашей флотилии называли «дедушкой». Этого Новикова душевно любил и высоко ценил Скобелев. Впрочем, и вся армия уже в Плоэштах знала «дедушку».

— Прикажете идти в атаку?

Новиков послал поцелуй вместо приказания.

— Кусните-ка его! — крикнул в свою очередь Скобелев... — Маленькая собачка, а зубы вострые!.. За хвост его!

Я не стану описывать здесь эту замечательную атаку маленькой шлюпки, этой собачки с острыми зубами, по меткому выражению генерала. Бою при Парапане отведено несколько страниц моего «Года войны» (III-й том, стр. 79–91). Дело в том, что когда «раненая» «Шутка» со своим раненым командиром отступала от монитора, то сей последний в паническом страхе улепетывал от нее... Только в три часа пополудни он опять стал подбираться к месту заграждений. В это же время на берегу показались дымки скрытно стоящих турецких полевых орудий, только что подвезенных сюда с ближайших рущукских батарей... Но монитор оказался очень благоразумным. Скобелев встретил его огнем из наших орудий, и тот поспешил поскорей опять уйти из сферы огня. Зато турецкие стрелки, засевшие в кустах, стали было выбивать наших довольно метким огнем. Таким образом они повредили три минные барки...

— Возьмут, пожалуй!

И Скобелев, долго не думая, верхом бросился вплавь через Дунай.

Скоро его догнали лодки, посланные с берега, и вместе с капитаном Сахаровым — офицером генерального штаба Скобелев, пересев в них, подплыл прямо под огонь турок. В виду неприятельских стрелков они выхватили два баркаса с минами, причем один, разбитый артиллерийскими снарядами, перетащили через косу под градом пуль

и то и дело рвавшихся около гранат. Какой-то солдат стал было кувыркаться, кланяясь первой пролетевшей пуле.

— Знакомую встретил?.. Ну, поклонись ей еще раз на прощанье... Больше, брат, с ней не увидишься... Срам перед турецкой пулей голову клонить!.. Вот как надо стоять под огнем, видишь!

И пока другие тащили лодки, Скобелев стоял в самом опасном месте, куда больше всего был направлен огонь с неприятельского берега... Пули у самых ног его впивались в землю, другие около головы сбивали ветви с листьев — он и не двигался.

— Зачем вы это? — спросили у него.

— Нужно было спасать лодки... Солдаты спешили бы слишком и ничего бы не сделали. Ну, а тут видят, генерал стоит впереди. Позади-то им и работать легче... Не так страшно. Чего-де им бояться, если я не боюсь — везде пример нужен.

— Ну, убило бы?.. И в каком пустом деле...

— Я не привык делить дела на пустые и не пустые. Всякое, за которое я берусь, — серьезно для меня... А если молодые солдаты заметят, что генералы шкуру берегут, так и они на свою тоже скупиться станут.

Раздел VI

Через несколько дней после этого генерал начал делать свои знаменитые опыты, стараясь переплыть Дунай верхом.

— Неужели вы не боитесь? — обратился к нему один новичок военного дела в дипломатическом мундире.

— Видите ли, душенька, вы имеете *право* быть трусом, солдат *может* быть трусом, офицеру, ничем не командующему, инстинкты самосохранения извинительны, ну а от ротного командира и выше трусам нет никакого оправдания... Генерал-трус, по-моему, анахронизм, и чем менее такие анахронизмы терпимы — тем лучше. Я не требую, чтобы каждый был безумно храбрым, чтобы он приходил в энтузиазм от ружейного огня. Это — глупо! Мне нужно только, чтобы всякий исполнял свою обязанность в бою.

Представители канцелярского режима в армии и блестящая плеяда парадных гениев и кабинетных мудрецов никак не могли примириться с красивым, полным обаяния мужеством молодого генерала... Когда он стоял под огнем в своем белом кителе, на белом боевом коне, когда он, казалось, вызывал самую смерть, находя величайшее наслаждение в этом постоянном презрении к опасностям, в этом сознании себя человеком, мыслящим, владеющим собой среди ада, в истребительном вихре оргии, которую мы называем войной, когда он сам точно напрашивался на неприятельский огонь — его тогда упрекали в рисовке, в желании щегольнуть своим удальством. Этим господам было невдомек, что гораздо лучше щеголять храбростью, чем громогласно провозглашать, нося военный мундир, фразы вроде: «я удивляюсь мужеству, но не понимаю его», «пускай умирают другие — а я уж покорный слуга», «отвага и глупость идут рука об руку». Гораздо лучше быть примером самоотвержения для солдат и для молодых

офицеров, показывать, что генерал, командующий отрядом, как и офицер, которому поручена рота, — должны прежде всего забыть о себе самом... Даже красивость этой отваги, если позволено будет так выразиться, умение быть изящным в огне — производит гораздо сильнейшее впечатление на окружающих, чем столь же почтенная, спокойная и простая храбрость, присущая вообще нам, русским. И когда Скобелев, таким образом, появлялся уже в начале прошлой войны под огнем, впереди, всегда веселый, разодетый, вдохновенный, лучезарный, как выразился о нем одни из его поклонников, — мокрые курицы клохтали.

— К чему эта рисовка, к чему... Он просто хочет доказать, что недаром получил у «халатников» свои кресты.

В это же самое время наиболее простодушная и наиболее проницательная часть армии (ребенка и солдата — не надуешь) относилась к опальному герою совершенно иначе. Она отдавала ему справедливость и в молодом орленке, только что еще расправлявшем своп сильные крылья, уже угадывала будущего гениального полководца... Я помню, раз мы шли вечером по лагерю близ Журжева. Из одной tent-abri[6] раздавался говор. Вдруг послышалось имя Скобелева.

— Постойте... Это очень интересно узнать, что обо мне говорят солдаты.

— А если бранятся?..

— Тем лучше... Это хороший урок. Вы не думайте. Солдаты очень проницательны при всем своем простодушии... Это такие нелицеприятные и неумолимые судьи!.. Несмотря на то, что этих судей держат в ежовых рукавицах.

— Да и дерут даже!

[6] Военная палатка, открытая с двух сторон.

— Только не у меня! — вспыхнул он. — Я скорее расстреляю солдата, чем высеку его. Нет ничего более унизительного!

А в палатке действительно шел разговор о генералах.

— Нет, брат, Скобелев это настоящий... Он, брат, русской природы. Он что твой кочет красуется.

— Ну, уж и кочет.

— Известно. Храбрее кочета птицы нет. Ты видал, как кочеты дерутся... Они, брат, это ловко... И нарядные же... Кочет, брат, никого не боится. Потому он и красуется... Петух, брат, зорок — он свет сторожит!

— А наш-то? — И при этом солдат назвал своего генерала.

— Наш — дудка.

— Как — дудка?

— А так... Возьми ее кто хошь, дуди с одного конца, а с другого она разговаривать будет... Настоящая дудка. А ен, брат, петух... Петух свет любит, как свет увидит, сейчас и кричит, и всех разбудит...

В другой раз поздно вечером пришлось нам идти по Зимнице.

Опять послышался отрывочный говор, солдаты ссорились с жидом-кабатчиком.

— Вот ты сидишь при всей своей глупости, а мы пойдем да Скобелеву и скажем.

— А и что мене Скобелев?

— Скобелев... Ты думаешь, он спрашиваться станет.

— И чего же он мне сробит?

— Возьмет тебя да и под расстрел, чтобы ты православных воинов не грабил.

— А плевать я хочу на вашего Скобелева! — разозлился жид.

— Ты — плевать... Ах ты, подлое семя!.. Да ты знаешь, кто Скобелев-то?

И началась баталия... Солдаты от слов перешли к жестам, послышался гвалт избиваемого еврея...

— Нет, брат, мы за Скобелева постоим... Он нас в обиду не даст, а уж и мы его не оставим... Будь спокоен!

И для вящего спокойствия Израиля они уже совсем набросились на него.

Разумеется, М. Д. не похвалил солдат за самоуправство в этом случае, как и потом он с негодованием относился ко всякому самосуду.

Мне поневоле приходится писать отрывочно. Это не биография, а воспоминания; их никак не подведешь под одну систему. Нужно разбрасываться, рассказывать, перескакивать с одного на другое. Говоря об отношении Скобелева к солдатам, нельзя упустить того, с какой настойчивостью он развивал в них чувство собственного достоинства. Он в этом отношении гордился ими — и было действительно чем гордиться. Я не могу забыть одного случая, когда Скобелев остановил любимого из своих полковых командиров, ударившего солдата.

— Я бы вас просил этого в моем отряде не делать... Теперь я ограничиваюсь строгим выговором — в другой раз должен буду принять иные меры. — Тот было стал оправдываться, сослался на дисциплину, на глупость солдата, на необходимость зуботычин.

— Дисциплина должна быть железной. В этом нет никакого сомнения, но достигается это нравственным авторитетом начальника, а не бойней... Срам, полковник, срам! Солдат должен гордиться тем, что он защищает свою родину, а вы этого защитника, как лакея, бьете!.. Гадко... Нынче и лакеев не бьют... А что касается до глупости солдата — то вы их плохо знаете... Я очень многим обязан здравому смыслу солдат. Нужно только уметь прислушиваться к ним...

Когда впоследствии Скобелев командовал дивизией, он одного полкового командира, только что назначенного к нему, прямо выгнал за то, что тот в интересах дисциплины стал с первого дня культивировать солдатские зубы.

— Мне таких не надо... Совсем не надо... Отправляйтесь в штаб — писарей бить. У меня боевые полки к этому не привыкли.

И действительно — дух был поднят до такой степени, что когда при переходе от Плевны к Шейнову одного солдата за что-то хотели высечь, тот прямо явился к Скобелеву.

— Чего тебе?

— К вашему превосходительству... Меня полковник *** хочет высечь.

— Ну?

— Прошу милости — прикажите суду предать.

— За что это тебя?

Тот сказал.

— По суду тебя расстреляют. И наверное расстреляют.

— Все под Богом ходим... И так каждый день под расстрелом бывал... А ежели меня так обидят — так я и сам с собой порешу!.. Прикажите под суд!..

— Вот это солдаты! — радовался потом Скобелев. — Вот это настоящие... То что мне нужно. Смерти не боятся, а боятся позора.

Его корпус и теперь отличается таким духом. В мирное время он умел еще выше поднять в солдате сознание собственного достоинства. Какая трудная задача предстоит новому командиру этого корпуса... И как велика будет его нравственная ответственность, если он не сумеет поддержать того же... Скобелев по долгу и *по-товарищески* (я нарочно подчеркиваю это слово) разговаривал с солдатами, и едва ли где-нибудь была так сильна власть офицеров, так строга дисциплина, как у него... Это был не из тех генералов, которые любят свои войска, когда те находятся

от них на приличном расстоянии и кричат «ура». Напротив, изнеженный, избалованный, брезгливый Скобелев умел жить одной жизнью с солдатом, деля с ним грязь и лишения траншей, и так жить, что солдату это даже нисколько и удивительно не было...

— Видать сейчас, что от земли он! — говорили про него солдаты.

— Как это от земли? — спрашиваю я.

— А так, что дед его землю пахал... Вот и на нем это осталось... Он нас понимать может... А те, которые баре, тем понимать нас нельзя... Те по-нашему и говорить не могут...

А между прочим «попущения» в его отряде никому не было.

Товарищ в антрактах, на биваке, в редкие периоды отдыха — он во время дела являлся суровым и требовательным до крайности. Тут уже ничему не было оправдания... Не было своих, не было и чужих. Или нет, виноват, своим — первая пуля в лоб, самая труднейшая задача, самые тяжкие лишения.

— Кто хочет со мной — будь на все готов...

Удивлялись, что он дружился с каждым офицером. Еще бы. Прапорщик, по-товарищески пивший вино за одним столом с ним, на другой день умирал по его приказанию, подавая первый пример своим солдатам. Дружба Скобелева давала не права, а обязанности. Друг Скобелева должен был следовать во всем его примеру. Там, где постороннего извиняли и миловали, другу не было ни оправдания, ни прощения...

Раздел VII

Меня лично Скобелев поражал изумительным избытком жизненности. Я знаю до сих пор только старика С. И. Мальцова — являющего такой же излишек внутренней силы, энергии, инициативы во всем.

Скобелев был инициатор по преимуществу. С быстротой и силой паровика он создавал идеи и проекты в то время, когда не дрался. Собственно говоря, я решительно не могу понять, когда он отдыхал. Отмахав верст полтораста в седле — карьером, сменив и загнав при этом несколько лошадей, он тотчас же принимал донесения, делал массу распоряжений, требовавших не утомленного ума, а быстроты и свежести соображений, уходил в лагери узнать, что варится в котлах у солдат, мимоходом поверял аванпосты и, наконец, закончив все это — или садился за книги, которые он ухитрялся добывать при самых невозможных условиях, и всегда серьезные, требовавшие напряжения мысли — или с энергией глубоко убежденного человека, которому дороги его принципы, вступал в спор с Куропаткиным, со мной, с приехавшим к нему товарищем. Он приводил при этом в доказательство высказанного им тезиса целый арсенал исторических фактов, поименовывал безошибочно цифры, года и имена, указывал литературу данного вопроса. Нельзя было этого, он являлся к молодым офицерам и под видом шутки начинал учить их тому или другому таинству военного дела... Это не был сухой ум, весь ушедший в свое дело. Напротив — и тут избыток жизненности выручал его. Я думаю, все близкие ему люди помнят обеды у Михаила Дмитриевича, где он развертывался весь в тесном кружке товарищей, умея отзываться на серьезный вопрос серьезно, на шутку шуткой, занимая окружающих мастерскими рассказами, полными юмора, метких определений, наблюдательности... Одному

он был чужд всегда — сентиментальности. Ее он ненавидел, над людьми, «зараженными» ею, — тешился. Это, впрочем, будет видно из последующего нашего рассказа. Когда на такой обед попадал кто-нибудь из фазанов (военный хлыщ в малом чине, но облаченный в яркий мундир и притом «свободный от ума» — определялся этим именем), Скобелев умел весьма тонко и как будто незаметно заставить его высказаться. Помимо всяких намерений медведь начинал плясать, показывая смеющейся публике все свои штуки и фокусы... И чем глупее были они, тем лучше чувствовала себя аудитория, состоявшая из загнанных армейцев. Являлось некоторое чувство нравственного удовлетворения. Разница была не в пользу птицы, оперенной столь ярко и красиво. Когда подобный обед делался на боевой позиции или в траншее, фазану предстоял еще десерт, очевидно вовсе им не предусмотренный...

— Вы хотели осмотреть положение неприятеля?.. — вкрадчиво и мягко предлагал генерал.

Или:

— Вас, кажется, интересуют траншейные работы турок? — ласково, заманчиво обращался он к бедному фазану.

Неосторожная птица, счастливо улыбаясь, подтверждал все это.

— Ну, генерал сейчас в холодильник его! — шептали адъютанты.

И действительно, Скобелев брал его под руку и выводил... на открытое место между нашими и турецкими траншеями, часто сближавшимися шагов на 300 или даже на 150. Полоса эта обстреливалась постоянно.

— Это что такое... это, кажется, пули... — трепетал несчастный фазан. — Свищут как они. Однако, тут и убить могут...

— Да, — равнодушно ронял Скобелев и медленно проводил его по «райской дороге». Райской потому, что,

идя по ней, легко было попасть в рай. Представляю читателю судить о впечатлениях новичка. С выдержавшим такой искус Скобелев тотчас же мирился, и он делался своим в его кружке. В конце концов он довел дело до того, что фазаны стали осторожны и, несмотря на глупость этих птиц, перестали являться к нему на боевые позиции...

С каждым новым подвигом росла к нему и вражда в штабах.

Особенно прежние товарищи. Те переварить не могли такого раннего успеха, такого слепого счастья на войне. Они остались капитанами, полковниками, когда он уже сделал самую блестящую карьеру, оставив их далеко за собой. Когда можно было отрицать храбрость Скобелева, это ничтожнейшее из его достоинств — они отрицали ее. Они даже рассказывали примеры изумительной трусости, якобы им обнаруженной. Когда нельзя было уже без явного обвинения во лжи распускать такие слухи, они начали удальство молодого генерала объяснять его желанием порисоваться, но в то же время отмечали полную военную бездарность Скобелева. Когда и это оказалось нелепым, они приписали ему равнодушие к судьбе солдата. «Он пошлет десятки тысяч на смерть — ради рекламы. Ему дорога только своя карьера» и т. д. Явились легенды о том, как там-то он нарочно не подал помощи такому-то, а здесь опоздал, чтобы самому одному закончить дело, тут — радовался чужому неуспеху... Корреспонденты английских, американских, французских, итальянских и русских газет отдавали ему справедливость. Мак-Гахан, Форбс, Бракенбури, Каррик, Гаввелок, Грант помещали о нем восторженные статьи. Что ж из этого — они были им подкуплены! Когда, наконец, военные агенты дружественных нам держав, видевшие Скобелева на деле, стали отзываться о нем как о будущем военном гении — и на это тотчас же нашлись объяснения. Они, видите ли, хотели, чтобы Скобелев

представил их к тому или другому ордену и т. д. Удивительно только, как они, эти жаждущие отличий иностранцы, не хвалили именно тех, кто их украшал всевозможными крестами. В конце концов, враги генерала даже во время Ахалтекинской экспедиции злорадно поддерживали слухи о том, что Скобелев в плену, Скобелев разбит, и замолчали только после ее блестящего окончания. Тут уже говорить было нечего, зато над его трупом, в тот момент, когда кругом все, кому дорого русское дело, были потрясены, — эти господа живо записались в друзья к безвременно погибшему генералу.

Я сам помню эти фразы:

— Мне особенно чувствительна эта потеря! Меня так любил покойник!..

— Мы с ним на ты были... Только я один понимаю всю великость этой потери...

— Я хороню своего лучшего друга!

Господи! Какая насмешливая улыбка показалась бы на этих бескровных, слипшихся губах, если бы они могли еще смеяться, какой бы гнев загорелся в глазах генерала при этих лобызаниях иудиных, столь обильно сыпавшихся на его холодное и гордое чело, прекрасное даже и после смерти...

И тут же рядом, в виде сожаления, проскальзывали довольно ядовитые намеки.

— Так ли ему умереть следовало!.. Ему бы нужно было пасть в бою — впереди своих легионов.

О, что за дело до того, как человек умер!.. Важно — как он жил и что он сделал... А до того, как умер — не все ли равно. Поздние сожаления не воскресят его...

После Ахалтекинской экспедиции, когда нельзя было уже безнаказанно распускать слухи о бездарности генерала, во-первых, потому, что на самих рассказчиков начинала падать неблаговидная тень, а во-вторых, потому,

что легковерных слушателей больше не оказывалось, — являлись иные приемы уронить его в общественном мнении. Скобелев оказывался честолюбцем...

— У него рот теперь так разинут, что не найдется куска, который бы удовлетворил его аппетиту...

Другие приписывали ему замыслы всемирного могущества. Начинали, со слов немецких газет, указывать в нем — вернейшем слуге России — Наполеона... Глупость за глупостью рождались и быстро расходились в обществе, привыкшем обо всем узнавать по слухам, верить сплетне, не умеющем отличать клеветы от правды.

Когда покойный государь за завоевание Ахал-Теке произвел его в полные генералы и дал Георгия 2-й степени, Скобелев даже сделался мрачен. Это сохранилось и потом, когда он вернулся из экспедиции в Россию.

— Меня они съедят теперь! — говорил он мне... — Скверный признак, слишком уж много друзей кругом... Враги лучше, тех знаешь и каждый ход их угадываешь... С друзьями не так легко справиться...

Надеюсь, читатели простят мне это отступление...

На меня покойный при первом нашем знакомстве произвел обаятельное впечатление.

Как в каждом крупном человеке, в нем и недостатки были крупные, но они стушевывались, прятались, когда он принимался за дело. Избалованный, капризный, как женщина, гордый сознанием собственного превосходства — он умел делаться приятным для окружающих его, так что они просто влюблялись в эту боевую натуру... Самый лучший суд — есть суд подчиненных. Только эти беспристрастны, только они умеют верно определить личность — чуть ли не ежедневно сталкиваясь с нею. От них не спрячешься, их не надуешь, а эти судьи были все на стороне Скобелева... Они умели отличать раздражительность человека, несущего на себе громадную

ответственность, работающего за всех, от сухости сердца и жестокости. Они прощали Скобелеву даже несправедливости, зная, что он первый сознает их и покается... Они не завидовали его любимцам, понимая, что чем ближе к нему, тем было труднее... Люди, рассчитывавшие вкрасться к нему в доверие, чтобы обделать свои личные делишки, глубоко ошибались. Он видел их насквозь и умел пользоваться ими, их способностями вполне. Человек такого воспитания и среды, к каким он принадлежал, иногда поневоле терпит около себя шутов, но эти шуты у него не играли никакой роли. Напротив!..

— Его не надуешь. Он сам всякого обведет! — говорили про него.

— Он тебя насквозь видит. Ты еще задумал что, а он уж тебя за хвост держит и не пущает! — по-своему метко характеризовали солдаты проницательность Михаила Дмитриевича.

Человеку, полезному его отряду, его делу, он прощал все, но за то уж и пользовался способностями подобного господина. В этом отношении покойный был не брезглив.

— Всякая гадина может когда-нибудь пригодиться. Гадину держи в решпекте, не давай ей много артачиться, а придет момент — пусти ее в дело и воспользуйся ею в полной мере... Потом, коли она не упорядочилась — выбрось ее за борт!.. И пускай себе захлебывается в собственной мерзости... Лишь бы дело сделала.

Теория, пожалуй, несколько иезуитская, но в сложном, военном деле — действительно, всякая полезность на счету... В сущности лазутчик военного времени и шпион мирного — профессии одинаковые. Более подлое занятие трудно найти. А между прочим и теми и другими пользуются. Но если порядочное правительство гнушается сыщиками и шпионами мирного режима и только в самой отчаянной крайности прибегает к их

неопрятным услугам, лазутчики военные являются необходимостью при всех условиях.

— Уж на что гадина, а нужна! — говаривал Скобелев, и хоть сам никогда не входил в прямые сношения с этими господами, но был начеку и знал движения противника и условие местности, где ему приходилось действовать...

— В мирное время, где не грозит прямая опасность моим солдатам, я бы эту сволочь разом выкинул.

В военное — она была нужна!..

Раздел VIII

Умение пользоваться людьми у Скобелева было поразительно. Приехал к нему какой-то румынский офицер.

Во всех статьях, как следует, бухарестский джентльмен. Бриллиантовая серьга в ухе, зонтик от солнца в руках, талия, затянутая в корсет, на щеках — румяна... Блестящий мундир, шпоры, звонящие как колокола, на лице — пошлость и глупость неописанная. Оказалось — отпрыск одной из знаменитых фамилий, в гербе которых окорок, потому что родоначальник когда-то торговал свиньями, и за успешное разведение этих полезных животных возведен в дворянское румынского княжества достоинство. Шаркал, шаркал этот франт перед Скобелевым... На шее у него громадный Станислав, такой, какой носят на лентах сбоку... Точно икона...

— Нарочно заказал! — наивно признался этот Иоанеску или Попеску — не помню. — По собственному рисунку... Ваш — мало заметен...

Вид у него был столь внушителен, что солдаты на первых порах приняли его было за самую «Карлу Румынскую», так они называли тогда князя.

Я диву дался, чего Скобелев возится с этим франтом.

Оказалось, что франт еще во время мира целые годы жил в придунайской Болгарии и сообщал массу интересных сведений о ней генералу, а потом этот блестящий представитель нарумяненного и затянутого в корсеты молдаванского дворянства стал самым преданным поставщиком даже для солдат. Он и сапоги покупал в Румынии для нас и другие вещи. И все это безвозмездно, только ради того, чтобы в свое время похвастаться дружбой со Скобелевым. А под Плевной этот же знаменитый потомок мудрого свинопаса, желая постоять за честь своего герба (золотой окорок на голубом поле),

показал чудеса храбрости, отправляясь то туда то сюда по приказанию Скобелева.

— Вот, братцы, румын-то каким молодцом идет! — кидал своим Скобелев... — Нам-то, кажется, и стыдно пускать его вперед.

И те действительно бросались, чтобы не оставить за румыном чести первой встречи с неприятелем.

Служил у Скобелева под началом некий невидный, ныне уже отправившийся ad patres[7] генерал.

Фальстаф с подчиненными, он был притчей во языцех. Трусоватый по природе, пуще всего дрожавший за свою собственную жизнь, он тем не менее любил хвастаться мужеством и отвагой.

— Я и Скобелев, мы со Скобелевым! — только и говорил он.

— Знаете, я только в Скобелеве признаю опасного себе соперника!.. Как вам кажется, кто храбрее, я или Скобелев? — неожиданно обращался он к своему адъютанту.

Если тот уже обедал и не желал пообедать вновь, то отвечал:

— Разумеется, Скобелев!

— Не угодно ли вам отправиться домой и проверить, все ли бумаги и ответы готовы!..

И адъютант уходил спать. Если же он был голоден или на кухне у Фальстафа готовилось что-нибудь уж очень вкусное, то ответ следовал совершенно иного свойства.

— Знаете, ваше-ство, это еще вопрос — храбрее ли вас Скобелев... У него слишком пылкая отвага... Вы другое дело...

— Послушайте, юноша... Вы уже обедали?

— Нет еще... Скобелев слишком бросается вперед... Тогда как вы...

---

[7] К праотцам.

— Вот что, оставайтесь-ка вы у меня обедать... Ну, так что же я... Говорите, не стесняйтесь... Я люблю слышать о себе правду.

— Вы именно — вождь...

— Семен... Подай бутылку красного вина на стол, знаешь, того, которое я привез из Бухареста. Так я вождь?

— Да... Вы ничего не боитесь, но спокойно в убийственном огне располагаете ходом боя...

— Семен... К концу обеда, пожалуйста, захолоди нам бутылочку шампанского...

Адъютант делался еще серьезнее и еще искреннее начинал хвалить своего генерала.

Раз этот Фальстаф сам себя живописал так.

— Я, знаете, стоял в огне... Гранаты падают и здесь, и там, и передо мной, и позади меня, и направо, и налево... Падают и все рвутся... А я, знаете, засмотрелся на картину боя и (замирающим голосом) так увлекся, что даже забыл о своем положении. В это время проезжает мимо Скобелев... Генерал обращается ко мне: «Я вам удивляюсь... Неужели вы не боитесь — мне жутко!..» В это время прямо перед носом у меня (каков нос!) лопается граната... «Михаил Дмитриевич — вот мой ответ!» — Это я ему...

— Что же Скобелев?

— Молча пожал мне руку, вздохнул и поехал!..

Разумеется, шутники и насмешники рассказывали об этом Скобелеву, тот сам от души смеялся, но стал вдвое любезнее с Фальстафом...

— В первом бою он мне за свое хвастовство сослужит службу! — замечал он между прочим.

— Мы с вами, генерал, понимаем друг друга! — обращался к нему Скобелев.

Фальстаф рдел от восхищения.

— Мы — боевые, нам не в чем завидовать друг другу... Так... Скорей даже я вам позавидую.

— О, помилуйте, ваше-ство, что ж тут считаться!

— Разумеется.

И Скобелев лукаво улыбался в усы... И действительно, в первом бою он подозвал несчастного и приказал ему вести вперед на редут свои войска.

— Покажите им, как мы с вами действуем... Замените меня.

И тот дрался как следует, воодушевляя солдат.

«Соперничество родит героев!» — подшучивал потом генерал между своими...

— Ну, что вы? — встретил он потом вернувшегося с боя льва.

— Я сегодня собой доволен! — величественно произнес тот.

— Это ваша лучшая награда!.. — сочувственно вздохнул Скобелев, но тем не менее, кажется, ни к чему его не представил.

— Могу сказать, я видел ад...

— И ад видел вас...

Генерал не выдержал, прослезился и бросился обнимать Михаила Дмитриевича.

Другой уже под Брестовцем, тоже куда какой храбрый на словах, на деле всякий раз, как только предполагался бой, сейчас же начинал снабжать кухню Скобелева необыкновенными индейками или какой-то особенно вкусной дичью...

— *** прислал вам молочных поросят...

— И вместе — рапорт о болезни? — с насмешливым участием спрашивал Скобелев.

— Точно так-с...

— Скажите ему, что завтра он может не приезжать на позицию...

Что и требовалось доказать, — как прежде исправные ученики оканчивали изложение какой-нибудь теоремы.

— *** приказал кланяться и прислал вам гусей и индюка.

— Бедный, чем он болен?

— Индюк-с? — изумлялся посланный.

— Нет — генерал?

— Они здоровы-с...

— Ну, так к вечеру верно заболеет.

И действительно ординарец вечером привозил рапорт о болезни ***.

— У него большая боевая опытность, — смеялся Скобелев. — Он как-то нюхом знает, когда предполагается дело. Его не надуешь...

— Зачем же держать таких?.. — спрашивали у генерала.

— А по хозяйственной части он незаменим! Я всю ее свалил на него — и отлично сделал... Посмотрите, как он ведет ее... В лучшем виде... И ведь старается... Вдвое против других старается... Отряд всегда поэтому обеспечен... Будь он не так часто «подвержен скоропостижным болезням», — наверное, солдаты хуже бы ели... Ну и пускай его болеет, Господь с ним.

Другой — майор, совершенно соответствовавший идеалу армейского майора, с громадным брюхом, вечно потный, точно варившийся в собственном бульоне, имел Георгиевский крест, солдатский; так он нарочно спрятал его даже. Ни разу не надевал.

— Зачем вы это?

— Да как же... Я по хозяйственной части... А вывеси-ко Георгия... Вы знаете жадность Скобелева на георгиевских кавалеров?..

— Ну?

— Он сейчас в бой пошлет... Благодарю покорно... Я человек сырой.

И кто поверит, что этот трус был любимцем Скобелева.

А между прочим это было так... Потому, что никто другой не обладал подобной гениальностью добыть

для целого отряда продовольствия в голодной, давно уже объеденной местности... Там, где, казалось, не было клочка сена, «храбрый майор» находил тысячи пудов фуража...

— Сегодня вечером будет у нас маленькая пифпафочка!.. — незаметно улыбался Скобелев. — Вот, майор, вам случай получить Владимира с мечами...

— Да, — вспыхивал и начинал потеть майор... — Только у казаков сена нет... А у суздальцев — хлеба.

— Ну-с?..

— А я тут нашел в одном месте...

— Так отправляйтесь и заготовьте!

Дело кончалось к обоюдному удовольствию. Майор избавлялся от ненавистной ему пифпафочки, а суздальские солдаты и казацкие кони наедались до отвала.

Раздел IX

Скобелев любил войну, как специалист любит свое дело. Его называли «поэтом меча», это слишком вычурно, но что он был поэтом войны, ее энтузиастом — не подлежит никакому сомнению.

Он сознавал весь ее вред, понимал ужасы, следующие за ней. Он, глубоко любивший русский народ, всюду и всегда помнивший о крестьянине — жалком, безграмотном и забитом, смотрел на войну, как на печальную необходимость. В этом случае надо было отличать в нем военного от мыслителя. Не раз он высказывал, что начинать побоища надо только с честными целями, тогда когда нет иной возможности выйти из страшных условий — экономических или исторических. «Война — извинительна, когда я защищаю себя и своих, когда мне нечем дышать, когда я хочу выбиться из душного мрака на свет Божий». Раз став военным, он до фанатизма предался изучению своей специальности. В настоящее время едва ли из германских генералов кто-нибудь так глубоко, так разносторонне знал военное дело, как знал его Скобелев. Он действительно мог быть щитом России в тяжелую годину испытаний, он бы стал на страже ее и в силу любви своей к войне пошел бы на нее не с фарисейскими сожалениями, не с сентиментальными оправданиями, а с экстазом и готовностью. Никто в то же время не знал так близко, во что обходится война.

— Это страшное дело, — говорил он. — Подло и постыдно начинать войну так себе, с ветру, без крайней, крайней необходимости... Никакое легкомыслие в этом случае непростительно... Черными пятнами на королях и императорах лежат войны, предпринятые из честолюбия, из хищничества, из династических интересов. Но еще ужаснее, когда народ, доведя до конца это страшное дело,

остается неудовлетворенным, когда у его правителей не хватает духу воспользоваться всеми результатами, всеми выгодами войны. Нечего в этом случае задаваться великодушием к побежденному. Это великодушие за чужой счет, за это великодушие не те, которые заключают мирные договоры, а народ расплачивается сотнями тысяч жертв, экономическими и иными кризисами. Раз начав войну, нечего уже толковать о гуманности... Война и гуманность не имеют ничего общего между собой. На войну идут тогда, когда нет иных способов. Тут должны стоять лицом к лицу враги — и доброта уже бывает неуместна. Или я задушу тебя или ты меня. Лично иной бы, пожалуй, и поддался великодушному порыву и подставил свое горло — души. Но за армией стоит народ, и вождь не имеет права миловать врага, если он еще опасен... Штатские теории тут неуместны... Я пропущу момент уничтожить врага — в следующий он меня уничтожит, следовательно, колебаниям и сомнениям нет места. Нерешительные люди не должны надевать на себя военного мундира. В сущности нет ничего вреднее и даже более — никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, должен добить врага, чтобы вслед за одной войной тотчас же не начиналась другая...

— Таким образом, если война так ужасна, то следует воевать только тогда, когда неприятель явился ко мне, в страну?..

— О нет. Всякая страна имеет право на известный рост. Принцип национальностей — прежде всего. Государство должно расширяться до тех пор, пока у него не будет того, что мы называем естественными границами, законными очертаниями. Нам, т. е. славянам, потому что, если мы заключились в узкие пределы только русского племени, мы

потеряем все свое значение, всякий исторический raison d'etre[8], так я говорю, что нам, славянам, нужны Босфор и Дарданеллы как естественный выход к морю, иначе, без этих знаменитых проливов, несмотря на весь наш необъятный простор, — мы задохнемся в нем. Тут-то и следует раз навсегда покончить со всякой сентиментальностью и помнить только свои интересы. Сначала — свои, а потом можно подумать и о чужих... Наполеон великий отлично понимал это... Он неспроста открыл свои карты Александру Первому. В Эрфурте и Тильзите он предложил ему размежевать Европу...

— Да, начать войны, где потом ручьями потекла бы кровь...

— А разве потом она не разлилась морями? Он отдавал нам Европейскую Турцию, Молдавию и Валахию, благословенный небом славянский юг с тем только, чтобы мы не мешали ему расправиться с Германией и Великобританией... Подумаешь, какие друзья!.. Это все равно, что я бы предложил уничтожить ваших злейших врагов да еще за позволение, данное вами на это, стал бы сулить вам вознаграждение... А мы-то что сделали?.. Сначала поняли в чем дело, а потом начали играть в верность платоническим союзам, побратались с немцами! Ну и досталось нам за это на орехи. Целые моря крови пролили да и еще прольются — будьте уверены, и все придем к тому же[9].

— ...Мы тогда спасли немцев. Это может быть очень трогательно с точки зрения какого-нибудь чувствительного немецкого романиста, но за этот взгляд мы поплатились громадными историческими несчастьями. За него мы в прошлую войну, имея у себя на плечах немцев и англичан,

---

[8] Смысл.

[9] Я привожу здесь взгляды М. Д. Скобелева как весьма характерные. Без них он не был бы полно и верно очертан.

попали в гордиев узел берлинского трактата и у нас остался неразрешенным восточный вопрос, который потребует еще много русской крови... Вот что значит сентиментальность в истории...

— ...Я в союзы и дружбу между народами, — говорил мне Михаил Дмитриевич, — не верю... Этот род дружбы далекий от равенства... В подобных союзах и в такой дружбе один всем пользуется, а другой за все платит, один ест каштаны, а другой вытаскивает их из огня голыми руками. Один льет свою кровь и тратит деньги, а другой честно маклерствует, будучи не прочь ободрать друга в решительную минуту... Так уж если заключать союзы — пусть в этих союзах другой будет жертвой, а не я. Пусть для нас льют кровь и тратят деньги, пусть для нас таскают из огня каштаны... А лучше всего — в одиночку... Моя хата с краю, ничего не знаю, пока меня не задели, а задели — так уж не обессудьте, свое наверстаем...

Я привожу здесь мнения Скобелева как характеристику покойного. Лично я мог разделять или не разделять эти взгляды — все равно; дело не в том, каковы мои убеждения, а в том, что именно по тому или другому предмету думал один из замечательнейших людей нашего времени, даже едва ли не самый замечательный.

Скобелев за войной признавал, главным образом, экономическое значение. Непосредственных причин войн бывает две. Или сравнительно высокая цивилизация народа, начинающего войну со слабым соседом и противником, причем образованный народ, уничтожая слабейшего врага, рассчитывает обогатиться за его счет, захвативши его земли, и тем улучшить свое благосостояние. Так, например, были завоеваны Индия, Америка. Или наоборот, беднейший народ нападает на высокую цивилизацию и пользуется ее плодами для улучшения своего положения. Таковы

завоевания гуннов, вандалов, тевтонов, татар и т. п. Это — также принцип борьбы за существование...

Как-то у меня с ним зашел разговор о Польше.

— Завоевание Польши вызывалось соображениями, на которые можно смотреть разно, что же касается до ее раздела, то я громко признаю это братоубийством, историческим преступлением... Правда, русский народ был чист в этом случае. Не он совершил это преступление, не он и ответствен. Повторяю вам, во всей нашей истории я не знаю более гнусного дела, как раздел Польши между немцами и нами... Это Вениамин, проданный братьями в рабство!.. Долго еще русские будут краснеть за эту печальную страницу из своей истории.

Впоследствии он то же самое повторял г. Пушкареву, который записал выводы Скобелева со стенографической точностью. Я привожу из них те, которые приходилось слышать и мне самому. Они так или иначе, но рисуют Михаила Дмитриевича чрезвычайно цельным человеком. Этот, если чему отдавался, так безоглядно и, высказывая что-либо, не прибегал к извинениям, недомолвкам. Он не боялся самого крайнего развития своей мысли, лишь бы это делалось логически. В нем было именно ценно то, что он всегда прямо, ребром ставил вопросы, очень мало обращая внимания на то, как они в данную минуту будут приняты обществом или властью... В этом была разгадка его силы, в этом было его значение как знамени для наших народников. С его смертью они потеряли знамя, потеряли вождя...

Вот что он не раз повторял мне, да и всем, с кем по делу приходилось ему спорить и высказываться.

Ему не раз доказывали полную невозможность войны в настоящее время. Он часто возвращался к этому вопросу и разбирал все возражения.

«Спросят, — говорил он, — как же вы будете воевать, когда у вас денег нет, когда ваш рубль ходит 62 копейки за 100? Я ничего не понимаю в финансах, но чувствую, что финансисты-немцы тут что-то врут.

В 1793 году финансы Франции были еще и не в таком положении. Металлический 1 франк ходил за 100 франков кредитных. Однако Наполеон, не имея для солдат сапог, одежды, пищи, пошел на неприятеля и достал не только сапоги, одежду и пищу для солдат, но и обогатил французскую казну, а курс свой поднял опять до 100 и даже за 100. При Петре Великом мы были настолько бедны, что после сражения под Нарвой, когда у нас не было орудий, нам пришлось колокола переливать на пушки. И ничего! После Полтавского боя все изменилось, и с тех пор Россия стала великой державой.

А покорение России татарами?.. Что ж вы думаете, они покорили Россию потому, что курс их был очень хорош, что ли? Просто есть нечего было, ну и пошли и завоевали Россию, а Россию завоевать не шутка.

Я не говорю: воевать теперь. Пока еще наш курс 62 копейки, можно и погодить, но немцы долго ждать не заставят и живо уронят его. Вот тогда будет пора!

Еще я не понимаю, зачем нам на войну деньги? На нашей земле кредитный билет ходит рубль за рубль. Мы верим прочности нашего государственного устройства, и пусть у нас пишут деньги хотя на коже, мы им поверим, а в деле кредита это все, что требуется.

Если бы Бог привел нам перенести войну на неприятельскую территорию, то враг должен за честь считать, ежели я ему заплачу за что-нибудь царским кредитным рублем. *Даже кредитные билеты я отдам с сокрушенным сердцем.* Неприятель должен нас кормить даром. И без того наш народ нищий по сравнению с нашими соседями, а я еще буду ему платить деньги, заработанные горем,

бедой и тяжким трудом рязанского мужика. Я такой сентиментальности не понимаю.

Господа юристы утверждают, что победитель должен быть великодушен с неприятелем и за все, что взято голодным солдатом, должно быть заплачено. Творцы берлинского договора готовы были сами обязать Россию заплатить контрибуцию, только бы доказать перед Европой, как мы великодушны».

— Господи! Как вспомнишь об этом, — воскликнул Михаил Дмитриевич, — так плакать хочется. Издержки войны они предоставили заплатить русскому мужику, который и без того не может управиться с недоимками и *загребущими* лапами *кулака.*

Скобелев, впрочем, сам сделал опыт такого рода во время текинской экспедиции; по словам участников в ней — все расчеты за продукты для продовольствия войска, до назначения Михаила Дмитриевича, производились на золото и серебро. Скобелев чуть не на третий день после своего приезда на место приказал все имеющиеся налицо персидские металлические деньги разменять на русские кредитные билеты, персидских денег ни в каких расчетах с казной не принимать, а требовать у персиян русских бумажек. Затем, до него треть офицерского жалованья производилась золотом, он велел выдавать бумажками, увеличив самое содержание, разумеется. В конце концов, персы и туркмены бросились в полевые казначейства закаспийского края просить как милости принять персидское серебро рубль за рубль, хотя еще накануне давали 70 к. металлических за наши желтенькие кредитки.

— Хорошо, — говорил Скобелев, — французским и немецким буржуа считать войну экономической ересью, когда у них ходит монета сто за сто, когда все сыты, работы вволю, растет просвещение... но когда приходится довольствоваться хлебом с мякиной, задыхаться в неоплатных

долгах, когда русскому все равно — умирать ли от голода или от руки неприятеля, то он хочет войны уже по одному тому, что умирать в бою, по понятиям народа, несравненно почетнее. При этом остается еще надежда остаться живым, победить!

— ...Всегда, разумеется, найдутся сытые, имеющие спокойные, обеспеченные средства к жизни, как, например, капиталисты, купцы, в особенности чиновники, получающие верное содержание. Они будут против войны, даже с потерей государственной чести, но в этих случаях следует принимать в соображение экономическое положение массы простого народа, а не сытых классов, питающихся народным невежеством, добродушием и слабостями. Впрочем, — прибавил Скобелев, — русский народ в большинстве так создан, что когда вопрос касается нашей государственной чести, то даже эти сытые классы охотнее в тяжкую годину пойдут на все жертвы, чем поступятся своей народной честью. Они будут ворчать на расстройство дел и все-таки принесут свой грош!

Раздел X

Для Скобелева, действительно, каждое дело, которое он брал на себя, было серьезным. В этом отношении он не различал малых и незначительных от больших. К задуманному предприятию, хотя бы оно и выходило из пределов его специальности, он готовился долго и пристально, и затем, если начинал его, то уж до мельчайших подробностей знакомый с условиями данной среды. Как-то М. Д. заинтересовался вопросами о путях сообщений в России, о железных дорогах и каналах — не прошло нескольких недель, как он уже посрамил неожиданно наткнувшегося на него путейца, предложившего было Скобелеву поддержать какой-то, совсем невозможный проект. При этом Скобелев побил его — его же оружием, техническими соображениями, вычислениями и т. д. Не доверявший никому в деле знания, он любил везде и всюду быть хозяином; не отступая при этом ни перед трудностью изучения, ни перед затратой времени. Если бы его назначили обер-прокурором Синода — то я убежден, через месяц он явился бы перед его святыми отцами во всеоружии знаний канонического права, монастырских и иных, подходящих к этому случаю уставов. После крайне трудного перехода к Бии, по пути к Зимнице, я застал его в каком-то сеновале румынского помещика. Скобелев бросился на сено и вытащил из кармана книгу.

— Неужели вы еще работать будете?

У нас у всех руки и ноги отнялись от утомления.

— Да как же иначе... Не поработаешь — так и в хвост влетит потом, пожалуй.

— Что это вы?

— А французского сапера одного книжка о земляных работах.

— Да вам зачем это?

— Как зачем? — изумился Скобелев.

— Ведь у вас же будут саперные команды, специально знающие это дело...

— Ну, это уж непорядок... Генерал, командующий отрядом, должен сам уметь рыть землю. Ему следует все знать, иначе он и права не имеет других заставлять делать...

Во время переправы через Дунай Скобелев, чтобы не оставаться бесполезным, взял на себя обязанности ординарца при генерале Драгомирове. Обязанность, на которую обыкновенно назначаются прапорщики, поручики и вообще мелкотравчатая молодежь... Потом Драгомиров сам отдал справедливость Михаилу Дмитриевичу в том, что тот и ординарцем был превосходным, передавал приказания по боевой линии, водил небольшие отряды в бой, обнаружив в самом начале его орлиный взгляд свой... Когда взволнованный громадной ответственностью, лежавшей на нем, Драгомиров еще сомневался в исходе сражения, — Скобелев веселый и радостный подходит к нему.

— Ну, поздравляю тебя с победой.

— Как... Да ведь еще дело в начале.

— Все равно... Ты посмотри на лица твоих солдат.

И действительно, как военный психолог, Скобелев не имел себе равного в настоящее время. Он положительно угадывал. В каждую данную минуту он знал настроения масс и умел их направить, как ему вздумается. Насколько он изучил солдата, видно будет из дальнейших моих воспоминаний, но что он умел делать из него — об этом верно порасскажут и другие близкие к нему и знавшие лица... Его сближала с солдатом сверх того и действительная глубокая любовь к нему. Про Скобелева говорили, что он, не сморгнув, послал бы в бой десятки тысяч, послал на смерть... Это верно. Он не был сентиментален и если брался за дело, то уж без сожалений и покаянного фарисейства

исполнял его. Он знал, что ведет на смерть, и без колебаний *не посылал, а вел* за собой... Первая пуля — ему, первая встреча с неприятелем была его... Дело требует жертв, и, раз решив необходимость этого дела, он не отступил бы ни от каких жертв... Полководец, плачущий перед фронтом солдат, потому что им сейчас же придется идти в огонь, едва ли поднял бы дух своего отряда. Скобелев иногда прямо говорил людям: «Я посылаю вас на смерть, братцы... Вон видите эту позицию?.. Взять ее нельзя... Да я брать ее и не думаю. Нужно, чтобы турки бросили туда все свои силы, а я тем временем подберусь к ним вот оттуда... Вас перебьют — зато вы дадите победу всему моему отряду. Смерть ваша будет честной и славной смертью... Станут вас отбивать — отступайте, чтобы сейчас же опять броситься в атаку... Слышите ли... Пока живы — до последнего человека нападайте...» И нужно было слышать, каким «ура» отвечали своему вождю эти, на верную смерть посылавшиеся люди!.. Это уже не пассивно, поневоле умирающие гладиаторы приветствовали римского Цезаря, а боевые товарищи в последний раз кланялись любимому генералу, зная, что смерть их действительно нужна, что она даст победу... Это была жертва сознательная и потому еще более доблестная, еще более великодушная... Он, говорят, не любил солдата. Но ведь солдата, как и ребенка, — не надуешь. Солдат отлично знает, кто его любит; а кто его не любит — тому он не верит, и в свою очередь особенной признательностью не платит. А между тем пусть мне укажут другого генерала, которого бы так любили, которому бы так верили солдаты, как Скобелеву... Они сами, глядя в эти светло-голубые, но решительные глаза и выпуклый лоб, видя эту складку губ, говорящую о бесповоротной энергии, понимали, что там, где надо, у этого человека не будет пощады и не будет колебаний... Но как хотите, в подобных случаях и я кающихся Магдалин разгадать не могу;

слабонервные бабы в военных мундирах едва ли являются симпатичными кому бы то ни было... Скобелев любил солдата, и в своей заботливости о нем проявлял эту любовь. Его дивизия, когда он ею командовал, всегда была одета, обута и сыта при самой невозможной обстановке. В этом случае он не останавливался ни перед чем. После упорного боя, измученный, он бросался отдыхать, а часа через три уже был на ногах. Зачем? Чтобы обойти солдатские котлы и узнать, что в них варится. Никто с такой ненавистью не преследовал хищников, заставлявших голодать и холодать солдата, как он. Скобелев в этом отношении не верил ничему. Ему нужно было самому, собственными глазами убедиться, что в котомке у солдата есть полтора фунта мяса, что хлеба у него вволю, что он пил водку, положенную ему. Во время плевненского сидения солдаты у него постоянно даже чай пили. То и дело при встрече с солдатом он останавливал его.

— Пил чай сегодня?

— Точно так-с, ваше-ство.

— И утром и вечером?

— Точно так-с.

— А водку тебе давали?.. Мяса получил сколько надо?..

И горе было ротному командиру, если на такие вопросы следовали отрицательные ответы. В таких случаях М. Д. не знал милости, не находил оправданий.

Не успевал отряд остановиться где-нибудь на два дня, на три, как уже рылись землянки для бань, а наутро солдаты мылись в них. Он ухитрился у себя в траншеях устроить баню, как ухитрился там же поставить хор музыки... Когда началась болгарская зима, отряд его был без полушубков... Интендантство менее всего помышляло об этом. Что было делать? Оказывалась крайняя нужда одеть хоть дежурные части. Полковых денег не было — купить в Румынии. Своих у М. Д. тоже не нашлось...

Обратился было к отцу... Но «паша» при всем своем добродушии был скуповат...

— Нет у меня денег! Ты мотаешь... Это невозможно. Вздумал наконец солдат одевать на мой счет...

Через несколько дней Скобелев узнает, что в Боготу какой-то румын привез несколько сот полушубков.

— Поедемте в главную квартиру... — предложил он мне.

— Зачем?

— Полушубки солдатам куплю...

— Без денег?

— «Паша» заплатит. Я его подведу... — и Скобелев насмешливо улыбнулся.

Приказал ротным телегам отправиться за полушубками.

Приезжаем в Боготу... Скобелев прямо в землянку к «паше».

— Здравствуй, отец! — и чмок в руку.

— Сколько? — спрашивает прямо Дмитрий Иванович, зная настоящий смысл этой сыновней нежности и почтительности.

— Чего сколько? — удивляется Скобелев.

— Денег сколько тебе надо... Ведь я тебя насквозь вижу... Промотался верно...

— Что это ты в самом деле... Я еще с собой привез несколько тысяч... Помоги мне купить полушубки на полковые деньги. Ты знаешь, ведь я без тебя ничего не понимаю.

На лице у отца является самодовольная улыбка.

— Еще бы ты что-нибудь понимал!

— Как без рук, без тебя... Я вообще начинаю глубоко ценить твои советы и указания.

Дмитрий Иванович совсем растаял...

— Ну, ну!.. Что уж тут считаться.

— Нет, в самом деле — без тебя хоть пропадай.

— Довольно, довольно!..

Старик оделся. Отправились мы к румынскому купцу... Часа три подряд накладывали полушубки на телеги. Наложат — телега и едет под Плевно, на позиции 16-й дивизии; затем вторая, третья, четвертая. Скобелев-старик в поте лица своего возится, всматривается, щупает полушубки, чуть не на вкус их пробует.

— Я, брат, хозяин... Все знаю... Советую и тебе научиться...

— А ты научи меня!.. — покорствует Скобелев.

Наконец последняя телега наложена и отправлена...

И вдруг перемена декораций.

— Ну... Прощай, отец... Казак, коня!..

Вскочил Скобелев в седло... Румын к нему.

— Счет прикажете к кому послать?.. За деньгами...

— А вот к отцу... Отец, заплати, пожалуйста... Я потом отдам тебе...

Нагайку лошади — и когда Дмитрий Иванович очнулся, и Скобелев, и полушубки были уже далеко.

«Noblesse oblige»[10], и старик заплатил по счету, а дежурные части дивизии оделись в теплые полушубки. Благодаря этому обстоятельству, когда мы переходили Балканы, в скобелевских полках не было ни одного замерзшего... Я вспоминаю только этот ничтожный и несколько смешной даже факт, чтобы показать, до какой степени молодой генерал способен был не отступать ни перед чем в тех случаях, когда что-нибудь нужно было его отряду, его солдатам...

Потом старик-отец приезжал уже в Казанлык в отряд.

— И тебе не стыдно?.. — стал было он урезонивать сына.

— Молодцы! Поблагодарите отца... Это вы его полушубки носите! — расхохотался сын.

— Покорнейше благодарим, ваше-ство!..

---

[10] «Положение обязывает».

— Хорош... Уж ты, брат, даром руки не поцелуешь... Я только не сообразил этого тогда.

Хохот стал еще громче...

У отца с сыном были и искренние, и в то же самое время чрезвычайно комические отношения... Они были в одних чинах, но сын оказывался старше, потому что он командовал большим отрядом, у него был Георгий на шее и т. д. Отца это и радовало и злило в одно и то же время...

— А все-таки я старше тебя!.. — начинал бывало его донимать сын.

Дмитрий Иванович молчит...

— Служил, служил и дослужился до того, что я тебя перегнал... Неужели тебе, папа́, не обидно...

— А я тебе денег не дам... — находился наконец Дмитрий Иванович.

— То есть как же это? — опешивает бывало сын.

— А так, что и не дам... Живи на жалованье...

— Папа!.. Какой ты еще удивительно красивый... — начинает отступать сын.

— Ну, ну, пожалуйста...

— Расскажи, пожалуйста, мне что-нибудь о венгерской кампании... И о том деле, где ты получил Георгия... Отец у меня, господа, молодчинище... В моих жилах течет его кровь...

— А я все-таки тебе денег не дам.

Скобелев всегда нуждался. При нем никогда не было денег, а между тем швырял он ими с щедростью римских патрициев. Идешь бывало с ним по Бухаресту... Уличная девчонка подносит ему цветок...

— Есть с вами деньги?

— Есть.

— Дайте ей полуимпериал!..

Офицеры тоже все к нему. Не его дивизии, совсем незнакомые бывало... Едет, едет в отряд и застрянет где-нибудь. Денег ни копейки. К Скобелеву...

— Не на что доехать...

— Сколько же вам нужно?

— Да я не знаю... — мнется тот.

— Двадцати полуимпериалов довольно?

— И десяти будет...

— Возьмите.

Забывая, кто ему должен, Скобелев-сын и сам забывал свои долги. Страшно щепетильный там, где дело касалось казенного интереса, в этих случаях свои собственные счеты он вел тогда спустя рукава.

И эксплуатировали его при этом ужасно. Разумеется, большая часть таких пособий были безвозвратны... Когда деньги истощались — начинались дипломатические переговоры с отцом...

Зачастую тот решительно отказывал... Тогда Скобелев-сын в свою очередь начинал злиться.

— Ты до такой степени скуп...

— Ну, ладно, ладно. На тебя не напасешься...

— Ты пойми...

— Давно понял... У меня у самого всего десять полуимпериалов осталось в кармане.

— Вот, господа... — обращается бывало М. Д. к окружающим... — Видите, как он мне в самом необходимом пропитании отказывает!

Кругом хохочут.

— Я твоей скупости всей своей карьерой обязан...

— Это как же? — удивляется в свою очередь Скобелев-отец.

— А так... Хотел я тогда, когда закрыли университет, уехать доканчивать курс за границу, ты не дал денег, и я должен был юнкером в кавалергарды поступить. Там ты

мне не давал денег, чтобы достойно поддерживать блеск твоего имени — я должен был в действующий отряд противу повстанцев в Польшу перейти. В гусары. В гусарах ты меня не поддерживал...

— Только постоянно твои долги платил, — как бы в скобках вставляет отец.

— Ну! Какие-то гроши... Не поддерживал... Я должен был в Тифлис перейти... В Тифлисе жить дорого — я ушел от твоей скупости в Туркестан... А потом она меня загнала в Хиву, в Ферганское ханство...

— И отлично сделала!

— За то судьба тебя и покарала, судьба всегда справедлива.

— Это как же?

— А то, что я старше тебя теперь!..

— Мальчишка!

— Так не дашь денег?..

— Нет...

— Ну, так прощайте, генерал!..

И они расходились.

Он очень любил своего отца и им был горячо любим, но такие сцены постоянно разыгрывались между ними. Сыновняя любовь его, впрочем, была совсем чужда сентиментальности. Как-то он сильно заболел в Константинополе. Недуг принял довольно опасный оборот. Скобелев-отец случайно узнает об этом. Встревоженный, он едет к сыну.

— Как же это тебе не стыдно...

— Что такое?

— Болен и знать мне не дал.

— Мне и в голову не пришло!..

Старик был очень расстроен. Скобелев-сын заметил это и извинился...

— Не понимаю, в чем моя вина? — обратился он потом к своим.

В другой раз Дмитрий Иванович приехал в зеленогорскую траншею к сыну.

— Покажи-ка ты мне позиции... Где у тебя тут поопаснее?

— Ты что ж это набальзамироваться хочешь? Или старое проснулось?

— Да что ж я даром, что ли, генеральские погоны ношу...

И старик выбрал себе один из опаснейших пунктов и стал на нем.

— Молодец, «паша», — похвалил его сын. — Весь в меня!..

— То есть это ты в меня...

— Ну, дай же что-нибудь моим солдатам...

— Вот десять золотых...

— Мало...

— Вот еще пять...

— Мало...

— Да сколько же тебе?

— Ребята... Мой отец дает вам по полтиннику на человека... Выпейте за его здоровье...

— Рады стараться... Покорнейше благодарим, ваше-ство!..

Старик поморщился... Когда пришло время уезжать:

— Ну, уж я больше к тебе сюда не приеду.

— Опасно?

— Вот еще... Не то... Ты меня разоряешь... Сочти-ка, сколько я должен прислать сюда теперь...

— Вот... Смерти не боится, а над деньгами дрожит. Куда ты их деваешь?

— Да у меня их мало...

Потом, когда Дмитрий Иванович умер, Скобелев мог вполне оценить мудрую скупость своего опекуна. Ему досталось громадное имение и капиталы, о существовании которых он даже и не предполагал.

— К крайнему удивлению своему, я богатым человеком оказался...

Потом Скобелев с летами изменился. В нем не осталось вовсе мотовства, но там, где была нужда, он раздавал пособия щедрой рукой... «Просящему дай» — действительно он усвоил себе этот принцип вполне и следовал ему всю свою жизнь. Его обманывали, обирали — он никогда не преследовал виновных в этом... Раз лакей утаил «три тысячи», данных ему на сохранение.

— Куда ты дел деньги?

— Потерял.

— Ну и дурак!

— Как же вы оставляете это? — говорили ему. — Ведь, очевидно, он украл их.

— А если действительно потерял, тогда ему каково будет?

В другой раз один из людей, которым Скобелев доверял, вынул бриллианты из его шпаги и продал их в Константинополе... Хотели было дать делу ход, как вдруг узнает об этом Скобелев.

— Бросьте... И ни слова об этом.

— Помилуйте... Как же бросить...

— Срам!..

— Так нужно хоть бриллианты выкупить. Ведь сабля жалованная!

— Забудьте о них. Как будто ничего не случилось...

При встрече с виновным он не сказал ему ни слова...

Только перестал подавать ему руку... Даже не прогнал его.

— Я его оставил при себе ради его брата...

Потом этот брат, которого за отчаянную храбрость и находчивый ум любил Скобелев, еще ужаснее отблагодарил генерала за доброту и великодушие, внеся в его жизнь самую печальную страницу, и заставил его еще недоверчивее относиться к людям...

Раздел XI

Доступность Скобелева была изумительна. Нужно помнить, что он принадлежал военной среде, среде, где дисциплина доходит до суровости, где отношения слагаются совершенно иначе, чем у нас. Тем не менее каждый от прапорщика до генерала чувствовал себя с ним совершенно свободно... Скобелев был хороший диалектик и обладал массой сведений, он любил спорить и никогда не избегал споров. В этом отношении все равно — вольноопределяющийся, поручик, ординарец или другой молодой офицер — раз поднимался какой-нибудь вопрос, всякий был волен отстаивать свои убеждения всеми способами и мерами. Тут генерал становился на равную ногу. Споры иногда затягивались очень долго, случалось до утра, и ничем иным нельзя было более разозлить Михаила Дмитриевича, как фразой:

— Да что ж... Я по дисциплине не смею возражать вам!

— Какая дисциплина! Теперь не служба... Обыкновенно недостаток знаний и скудоумие прикрывается в таких случаях дисциплиной...

Он терпеть не мог людей, которые безусловно с ним соглашались...

— Ничего-то своего нет. Что ему скажешь — то для него и свято. Это зеркала какие-то.

— Как зеркала?

— А так... Кто в него смотрится, тот в нем и отражается...

Еще больше оскорблялся он, если это согласие являлось результатом холопства...

— Могу ли я с вами не соглашаться, — заметил раз какой-то майор. — Вы генерал-лейтенант!

— Ну так что ж?

— Вы меня можете под арест.

— Вот потому-то на вас и ездят, что у вас не хватает смелости даже на это...

— ...У нас всякого оседлать можно, — говорил Скобелев. — Да еще как оседлать. Сесть на него и ноги свесить... Потому что своего за душой ничего, мотается во все стороны... Добродушие или дряблость, не разберешь. По-моему, дряблость... Из какой-то мокрой и слизкой тряпки все сделаны. Все пассивно, косно... По инерции как-то — толкнешь — идут, остановишь — стоят...

Больше всего он ненавидел льстецов. Господа, желавшие таким путем войти к нему в милость, очень ошибались...

— Неужели они меня считают таким дураком? — волновался он. — Ведь это просто грубо... Разве я сам себя не знаю, что ж это он вздумал мне же да меня самого разъяснять... И не краснея... Так без мыла и лезет...

Зато прямоту, иногда даже доходящую до дерзости, он очень любил.

Ординарцы в этом случае не стеснялись...

— Вы всегда капризничаете и без толку придираетесь!.. — отрезал ему раз молоденький ординарец.

— То есть как же это?

— Да вот, как беременная баба...

— А вам, кажись, рано бы беременных баб-то привычки знать...

Молодой, полный жизни — он иногда просто шалил как юноша...

— Ну чего вы, ваше превосходительство, распрыгались... зазорно... — заметил ему адъютант. — Ведь вы генерал...

Потом он стал куда серьезнее. Особенно после Ахалтекинской экспедиции. Но когда я его встречал во время русско-турецкой войны, он умел с юношами быть юношей к едва ли не более веселым, шумным, чем они. Он умел

понимать шутку и первый смеялся ей. Даже остроумные выходки на его счет нравились ему. Совсем не было и следа тупоумного богдыханства, которое примечалось в различных китайских идолах того времени... «Здесь все товарищи», — говорил он за столом — и, действительно, чувствовался во всем дух близкого боевого товарищества, что-то задушевное, искреннее, совсем чуждое низкопоклонства и стеснений... К нему иногда являлись старые товарищи, остановившиеся на лестнице производства на каком-нибудь штабс-капитанстве...

— Он с нами встречался, точно вчера была наша последняя пирушка... Я было вытянул руки по швам... А он: «Ну, здравствуй ***...» и опять на ты...

Разумеется, все это — до службы. Во время службы редко кто бывал требовательнее его. А строже нельзя было быть... В этом случае глубоко ошибались те, которые воображали, что короткость с генералом допускает ту же бесцеремонность и на службе. Тут он иногда становился жесток. Своим — он не прощал служебных упущений... Где дело касалось солдат, боя — тут не было извинений, милости никогда... Мак-Гахан, с которым он был очень дружен, раз было сунулся во время боя с каким-то замечанием к нему...

— Молчать!.. Уезжайте прочь от меня! — крикнул он ему.

Полковник английской службы Гавелок, корреспондент, кажется, «Таймса», при занятии Зеленых гор 28 октября, сунулся было с указанием на какой-то овраг.

— Казак! — крикнул Скобелев.

Казак подъехал.

— Убери полковника прочь отсюда... Неугодно ли вам отправиться обратно в Брестовец? — обратился он к Гавелоку по-английски.

Скобелева обвиняли в том, что он заискивал в корреспондентах, что этим только и объясняются те похвалы, которые они расточали ему.

Я уже говорил выше о том, какая эта низкая и глупая клевета.

Он понимал права печати и признавал их. Он относился к прессе не с пренебрежением залитого золотом болвана, а с уважением образованного человека. Он давал все объяснения, какие считал возможным, разрешал корреспондентам быть на его боевых позициях. Они разом входили в товарищескую среду, окружавшую его. Знание пяти иностранных языков позволяло ему входить в теснейшие отношения с английскими, французскими, немецкими, итальянскими корреспондентами, и те, таким образом, могли лучше и ближе узнавать его, но я, ссылаясь на всех бывших около Скобелева, свидетельствую, что перед нами там не лебезили и никакими особенными преимуществами мы в его отряде не пользовались. Напротив, у других в смысле удобств было гораздо лучше. Там корреспондентам давали казака, который служил им, отводили палатки и т. д. Ничего подобного не делалось у Скобелева. Когда один корреспондент попросил было у него казака, Скобелев разом оборвал его за неуместную претензию.

— Казаки — не денщики... Они России служить должны, а не вам!

Чем же объясняется, что они, несмотря на эти неудобства, постоянно приезжали именно к нему? Тем, что помимо искренности отношений тут всегда было интересно. Не только во время боя, но и в антракты молодой генерал со своей неугомонной кипучей энергией не оставался без дела. Он предпринимал рекогносцировки, приучал войска к траншейным работам, объезжал позиции... Тут всегда было что смотреть, о чем писать. Кроме того, его общество оказывалось поучительным. Тут слышались и споры и шли серьезные беседы, поднимались вопросы, выходившие совсем из пределов военного ремесла... А главное, сам он был полон обаяния, к нему самому тянуло...

Благоприятели, разумеется, все это объясняли иначе...

Да позволено будет мне рассказать здесь один факт, касающийся меня лично.

После войны уже, года через полтора, еду я в Москву. В одном купе со мной — военный. Сначала было он на меня пофыркал, потом успокоился и разговорился. Зашла речь о войне.

— Вы участвовали тоже? — спрашиваю я его.

— Как же-с. Только ничего не получил.

— Почему же?

— Четверташников при мне не было.

— Каких это?

— А которые с редакций-то по четвертаку за строчку... Скоропадентов... Они меня не аттестовали — я ничего и не получил...

— Разве корреспонденты представляли к наградам?

— А то как же-с... Газетчики в большом почете были.

Зашла речь о Скобелеве... Мое инкогнито для него было еще не проницаемо.

— Его, Скобелева, Немирович-Данченко выдумал.

— Это как же?

— Да так... Пьянствовали они вместе, ну тот его и выдумал.

Да вы Немировича-Данченко знаете?.. Лично-то его видели?

— Как же-с... Сколько раз пьяным видел... И хорошо его знаю... Очень даже хорошо.

— Вот-те и на... А я слышал, что он вовсе не пьет.

— Помилуйте... Валяется... До чертиков-с...

Под самой Москвой уже я не выдержал. Отравил генералу последние минуты.

— Мы так с вами весело провели время, что позвольте мне представиться.

— Очень рад, очень рад... С кем имею честь?

— Немирович-Данченко...

— Как Немирович-Данченко?..

— Так...

— Тот, который?..

— Тот, который...

Генерал куда-то исчез... На московской станции кондуктор явился за его вещами...

— Да где же генерал-то?

— Господь его знает, какой он...

— Да где же он прячется?

— Они сидят-с давно уж... в... Запершись в... Предоставляю читателю догадаться, куда сокрылся он от четверташника и пьяницы.

Но это еще тип добродушный. Были и подлее...

Раздел XII

Я пишу не биографию Скобелева. Моя книга — просто ряд отрывочных воспоминаний о нем. Поэтому я не рассказываю о всех военных операциях, в которых участвовал покойный. Желающие познакомиться с ними могут обратиться к моему «Году войны». Здесь только то, что я сам видел, и если из моего рассказа выдвинется перед читателями обаятельная личность Михаила Дмитриевича, если он станет им также близок и дорог, как близок и дорог он был людям, входившим с ним в тесные сношения, знавшим его не как генерала по реляциям и письмам с войны, а как человека, то цель мою я сочту вполне достигнутой. Систематическая и полная биография — дело будущего. Теперь же, говоря о Скобелеве, я хочу только бегло обрисовать этот замечательный тип гениального русского богатыря, яркой звездой мелькнувшего на нашем тусклом небе, так быстро поднявшегося во весь свой рост перед целым миром, изумленным его подвигами, и так рано ушедшего от нас... Чем дальше, тем тяжелее и тяжелее становится эта потеря. Военные писатели, талантливый и хорошо знавший покойного А. Н. Маслов, нарисуют его как стратега, как тактика — мое дело сказать о человеке... С каждым днем больнее чувствуется отсутствие его. Невольно задаешься вопросом, кому нужна была эта смерть, какой смысл в этом роковом ударе... Шутка судьбы? Какая неостроумная, глупая шутка!..

После перехода через Дунай Скобелева мы видим и на вершинах Шипки и под Плевной. Много у него в это время было горьких минут. Его еще не признавали. В победителе «халатников» видели только храброго генерала и больше ничего.

«Его надо держать в ежовых рукавицах».

«Его избаловали дешевые лавры в Средней Азии».

«Он может служить, — высокомерно снисходили третьи, — но за ним надо смотреть в оба».

А между тем он был неизмеримо сведущее и талантливее всех этих господ.

Я встретил тогда Скобелева в Тырнове.

— Где вы остановились? — спросил он у меня.

— У Белабоны...

— Я зайду к вам...

Видимо, ему хотелось высказаться. Лицо подергивалось нервной улыбкой, он хмурился, разбрасывал себе бакенбарды во все стороны.

— Жутко!

— Что жутко?

— Да мне... Оскорбительно... Видишь лучше их, знаешь все ошибки и молчишь...

— Зачем же молчать?

— Да разве победитель «халатников» имеет право голоса... Самые лучшие из них удивляются: чего я лезу... Видите ли, у меня все есть: и чин, и Георгий на шее... Значит, мне и соваться незачем... Дай другим получить, что следует. Так с этой точки и смотрят на дело. А про то, что душа болит, что русское дело губится, — никто и не думает. Скверно... Неспособный, беспорядочный мы народ... До всего мы доходим ценой ошибок, разочарований, а как пройдет несколько лет, старые уроки забыты... Для нас история не дает примеров и указаний... Мы ничему не хотим научиться и все забываем... Тоска... Разве так это дело делается... А вся беда от кабинетных стратегов...

Во время второй Плевны Скобелев уже выступает командиром небольшого кавалерийского отряда... Весь этот день он дерется впереди, в стрелковой цепи, то одушевляя солдат, то поддерживая слабые фланги... Весь этот день никто его не видел отдыхающим. Он не оставлял седла даже во время пехотного боя, служа прекрасной целью

турецким стрелкам. Две лошади под ним убиты, третья ранена... Он лично ведет в атаку роты, командует сотней казаков. Наконец, когда началось отступление, он слезает с седла, вкладывает саблю в ножны, сам замыкая отходящую назад цепь. Не странно ли, что завоевателю Ферганы, Хивы, человеку уже с громадной военной карьерой позади, приходится в данном случае быть не руководителем боя, а одной из исполнительных единиц и именно в такой обстановке, где его-то способности, кроме личной отваги, и не нужны были. Как второстепенный исполнитель он часто терял все свои боевые таланты. Нельзя, видя ошибки других, все-таки усердно служить им, невозможно выполнять программу, несостоятельность которой знаешь воочию... Это между прочим подало повод одному из лучших генералов характеризовать Скобелева более остроумно, чем верно.

— Как подчиненного, я бы его отправил назад, но если бы меня спросили, к кому я сам хочу идти в подчиненные, я бы сказал — к Скобелеву.

Его талант развертывался в полном блеске там, где он один руководил делом, где вся ответственность лежала на нем. Фергана, Зеленые горы, переход Балкан, шейновский бой, переход к Адрианополю, Ахал-Теке доказывают как нельзя лучше справедливость этого...

Во время отступления от Плевны нужно было остановиться, чтобы, удерживая турок, дать возможность отойти нашим войскам. Что же делает Скобелев? С сотней казаков он отстреливается от громадных сравнительно сил неприятеля. Наконец велит себе подать бурку, ложится под огнем на нее и засыпает, приказывая не отходить отсюда, пока он не проснется. По небу бьют... Скобелев спит... Жалкая горсть казаков держится около, останавливая в почтительном расстоянии турок.

— Неужели вы спали?

— Спал...

— При таких условиях.

— Если надо — я могу спать при всяких условиях.

Все это объясняли фатализмом, да ведь мало ли какие можно придумать объяснения. Что-то других таких фаталистов я не видел!..

Затем следует блистательное дело под Ловчей, настолько известное, что о нем напрасно было бы повторять что-либо. Здесь я воздержусь приводить даже отдельные эпизоды, так как я там не был. Третья Плевна, несмотря на то, что Скобелев должен был отступить от занятых им с боя редутов, как будто разом открыла глаза всем. В нем увидели льва, перед ним преклонились те, в ком было чувство справедливости. Это поражение было равно блистательной победе. Тут уже Скобелев говорит — и к голосу его прислушиваются. В пылу, в огне он наблюдает, изучает и тотчас же пишет следующие замечательные строки в своем донесении князю Имеретинскому. Мы их приводим, потому что они уже тогда показали в Скобелеве не только храброго генерала, но и опытного вождя. Скобелев объясняет причины, почему он отсрочил атаку:

«Важным соображением при этом, — писал он, — являлась необходимость усилить занимаемую нами позицию в фортификационном отношении, что при прискорбном в эту кампанию отсутствии при войсках шанцевого инструмента в достаточном количестве представляло немало затруднений. Люди рыли себе ровики частью крышками от манерок, частью руками. Для очищения эспланады виноградные кусты вырывали руками. По поводу недостатка шанцевого инструмента ввиду чрезвычайной важности в настоящей борьбе фортификационной подготовки поля сражения позволяю себе высказать несколько замечаний. Пехотная часть, бывшая в горячем деле, большей частью лишается шанцевого инструмента. Наш солдат, наступая

по труднопроходимой, закрытой местности, особенно в жару, первое, чем облегчает себя, — это бросает свой инструмент, затем следует шинель и, наконец, мешок с сухарями. Поэтому часть, достигнув пункта, на котором ей надлежит остановиться, не имеет возможности прикрыть тебя от губительного огня неприятеля, что постоянно делалось пехотой: 1) в американскую войну, 2) в кровавую четырехлетнюю карлистскую бойню и 3) теперь принято за правило турками. Ввиду этого казалось бы более целесообразным: или провозить инструмент вслед за атакующими или иметь при полках особые команды, на обязанность которых и возлагать укрепление отбитых у неприятеля позиций. Нельзя не упомянуть также и о недостаточности средств для устройства полевых укреплений, имеющихся при отряде. При силе более 20 000 человек в отряде вашей светлости (адресовано кн. Имеретинскому) имеется, и то случайно только, одна команда саперов в 35 человек при унтер-офицере и ни одного инженера, несмотря на существование инженерной академии, ежегодно выпускающей в пашу армию десятки специалистов... Сомнению не подлежит для меня теперь, что если бы французская армия второго периода кампании 1870 г. при современном вооружении пехоты и относительной слабости в смысле решающем дальнобойной артиллерии строго бы держалась системы неожиданного стратегического наступления (преимущественно на пути сообщений, напр.), соединенного с безусловной тактической обороной, при помощи полевой фортификации, то кампания кончилась бы выгоднее для французов...»

Дни третьей Плевны — это целая поэма, полная блеска для одних, позора для других...

Я описал эту бойню в своем романе «Плевна и Шипка». Тут трем дням ее посвящены двадцать семь глав. Описывать ее здесь — нет надобности. Приведу только эпизоды,

касавшиеся Скобелева. Лучшее описание третьей Плевны сделано было официальным корреспондентом правительственного «Вестника» штабс-капитаном Всеволодом Крестовским в его книге «Двадцать месяцев в действующей армии» (т. 2-й, страницы 44–124). Это обвинительный акт, в эпиграф к которому можно было бы поставить следующие слова, сказанные, по свидетельству г. Крестовского, Скобелевым:

«Наполеон великий был признателен своим маршалам, если они в бою выигрывали ему полчаса времени для одержания победы; я вам выиграл целые сутки и вы меня не поддержали!..»

— До третьей Плевны, — говорил мне Скобелев, — я был молод, оттуда вышел стариком! Разумеется, не физически и не умственно... Точно десятки лет прошли за эти семь дней, начиная с Ловчи и кончая нашим поражением... Это кошмар, который может довести до самоубийства... Воспоминание об этой бойне — своего рода Немезида, только еще более мстительная, чем классическая.

Откровенно говорю вам — я искал тогда смерти и если не нашел ее — не моя вина!..

Раздел XIII

Из-за гребня пригорка выехал на белом коне кто-то; за ним на рысях несется несколько офицеров и два-три казака. В руках у одного голубой значок с красным восьмиконечным крестом... На белом коне оказывается Скобелев — в белом весь... красивый, веселый.

— Ай да молодцы!.. Ай да богатыри! Ловчинские! — кричит он издали возбужденным нервным голосом.

— Точно так, ваше-ство.

— Ну, ребята... Идите доканчивать. Там полк отбит от редута... Вы ведь не такие... А?.. Вы ведь у меня все на подбор... Ишь красавцы какие... Ты откуда, этакий молодчинище?.. — остановил он лошадь перед курносым парнем.

— С Вытепской губернии, ваше-ство.

— Да от тебя от одного разбегутся турки...

— Точно так, ваше-ство, разбегутся.

— Ты у меня смотри... чтобы послезавтра я тебя без Георгия не видел... Слышишь? Вы только глядите — не стрелять без толку. Иди вплоть до редута, не тратя пороху... В стрельбе ума нет. Стрелять хорошо, когда ты за валами сидишь и отбиваешься... Слышите?

— Слышим, ваше-ство!

— То-то. В кого ты будешь стрелять, когда они за бруствером? Им от твоих пуль не больно. До них надо штыками дорваться. Слышите?.. А ты, кавалер, не из севастопольцев? — обернулся он к Парфенову. — За что у тебя Георгий?..

— За Малахов, ваше-ство...

— Низко кланяюсь тебе! — и генерал снял шапку. — Покажи молодым, как дерется и умирает русский солдат. Капитан, после боя представьте мне старика. Я тебе именного Георгия дам, если жив будешь...

— Рад стараться, ваше-ство...

— Экие молодцы!.. Пошел бы я с вами, да нужно новичков поддержать... Вы-то уж у меня обстрелянные, боевые... Прощайте, ребята... увидимся в редуте. Вы меня дождетесь там?

— Дождемся, ваше-ство.

— Ну то-то, смотрите: дали слово, держать надо... Прощайте, капитан.

Доехал генерал до оврага — видит, лежит в нем офицер... Еще несколько шагов сделал — офицер смущенно поднялся и откозырял... Генерал чуть заметно улыбнулся.

— Что, поручик, отдохнуть прилегли?

— Сапоги... ноги... — забормотал поручик, весь красный, чувствуя теперь только стыд, один стыд и ни искры трусости.

— Вы от той роты?

— Да-с...

— Экий вы рослый да бравый какой... Солдатам будет любо, глядя на вас, в огонь идти. Вы их молодцом поведете. Догоните поскорей своих да скажите вашему командиру, что я ему приказываю послать вас вперед с охотниками, слышите?..

Генерал перешел на серьезный тон.

— Офицер не смеет трусить... Солдат может, ему еще простительно... Но офицеру нельзя... Идите сейчас... Ведите в бой свою часть... Ваша фамилия?

— Доронович[11].

— Ну, вот что... Я хочу услышать, что вы первым вошли в редут. Слышите — первым... Тогда и я забуду этот овраг и ваши сапоги... Слышите — забуду и никогда не вспомню... Помните — вы подадите пример... Прощайте! — и генерал, наклонясь, подал поручику руку. Тот с глубокой благодарностью пожал ее.

---

[11] Фамилия изменена.

— Обещаюсь вашему превосходительству...

— Верю, поручик... До свидания в редуте!

Еще одно мгновенье Доронович посмотрел вслед генералу и тотчас же бросился догонять своих.

* * *

По скату лепятся рассеянные солдаты какого-то полка. Они как-то вдруг, массами появились из лощины; точно муравьи поползли вверх. Видимо, перед решительным штурмом отдыхали там, собирались с силами. Густая внизу масса солдат редеет кверху, разбивается на кучки, быстро бегущие вперед. Кучки разбиваются на одиночных, опередивших своих товарищей... Эти одиночные зачастую вдруг останавливаются, как-то дико вскидывают руками и падают вниз. Вон она — эта подлая желтовато-серая насыпь; вон он — этот проклятый вал!.. Сколько еще жизней потребует он?.. Масса все ближе и ближе; расстояние сокращается между ее отделившимися кучками и этой серой насыпью. Быстро, быстро бегут люди. Из отставших отдельные солдаты вдруг, точно ни с того ни с сего, выносятся вперед, быстро перебегают расстояние, отделяющее их от тех, которые идут впереди, еще момент, и эти, только что казавшиеся отсталыми, уже смело цепляются вверх по скату. Вот обрывки какого-то «ура». «Ура» вспыхнуло направо, перекинулось налево, загремело в центре... Чу, кровожадная, зловещая дробь барабана. Еще быстрее двигается снизу вверх боевая колонна... Но уже никакого порядка в ней, врассыпную, как попало... Вот целые тучи дыма заслонили редут; гора точно дрогнула и рассеялась с громовым треском... За этим залпом перебегающие выстрелы, новое облако дыма, новый залп... Какой-то, должно быть, офицер на лошади выехал из лощины; за ним солдаты бегут. Смело он шпорит коня; добрый степняк

чуть не в карьер выносит его на крутизну ската... Еще одна минута, и всадник вместе с конем катятся обратно в эту же самую лощину, из которой только что выехали.

— Возьмут, капитан, возьмут наши! — бодро кричит Ивкову Доронович.

— Еще бы не взять!.. — Радостно отвечает тот, следя, как расстояние между наступающей черной массой солдат и серой насыпью вала все сокращается и сокращается. — Еще бы не взять! Один удар только, и копчено.

— Как кстати в барабан-то ударили...

Вон черные фигуры солдат все ближе и ближе; вон несколько копошится у самого вала, видимо, остановились и своих сзывают... А залпы оттуда следуют за залпами. Редут, точно живое чудовище, навстречу ободрившимся солдатам грохочет во все свои медные и стальные пасти, как дикобраз ощетинивается штыками... Близко, близко, у самого вала наши. Могучее «ура» еще шире, как пламя, взрываемое ветром, раскидывается по всему этому скату...

— Господи!.. Вот подлецы-то! — с ужасом вскрикивает Ивков.

— Что? Что такое?

Капитан молча показывает направо... Трусливая кучка солдат, отставшая от своих в то время, как эти почти уже добежали до валов, залегает и открывает по туркам огонь... К ним присоединяется все больше и больше солдат... Что-то недоброе предчувствуется в этом... «Ура» мрет, не разгоревшись вовсю; солдаты, бывшие у самых валов, тоже подхватывают огонь и давай подстреливать, тратя на это свою энергию... Ружейный огонь льется, не умолкая... Наконец, уже все остановились... Кучка трусов заразила всех паникой... Очевидно, вперед уже не подадутся. Нельзя идти стреляя, нельзя стрелять на ходу... Стрельба во время наступления — один из признаков трусости... Вот-вот пойдут назад — нельзя же лежать под огнем... Назад

еще хуже, чем вперед, больше потерь будет, а все-таки уже ни на шаг не подвинутся...

Полк разбился о редут...

Как будто волны, отхлынули оттуда солдаты и бегут вниз... Сначала задние поддались... Вскочили залегшие первыми трусы и — стремглав в лощину, за ними и остальные. Не все... то и дело кое-кто спотыкается, падает и остается на месте: устилается мало-помалу скат неподвижными телами. Сколько уже чернеет таких! Какая масса их... Толпа разбилась на единицы... Она уже чужда внутренней связи; это люди, почти не узнающие друг друга... Самые храбрые отступают молча, хмуро, в одиночку. Только кучка трусов слепо бежит назад, крича что-то идущим навстречу новым подкреплениям. Эти новые тоже поддаются панике и оборачивают тыл... А мертвых все больше и больше... Вон одно место ската совсем почернело. Должно быть, не один десяток там плотно улегся друг к другу... Не один десяток... Сжав зубы, Ивков подается вниз — быстро подается. Солдаты тоже понимают, в чем дело.

— Ах ты Господи! — шепчет Парфенов. — Только бы еще одним разом, и конец делу...

— Эка беда какая!.. Без всякого толку спужались...

— Стадо!.. Подлое стадо!.. — озлобленно бормочет Ивков, боясь, чтобы и с его ротой не случилось то же самое.

Вот передовые кучки бегущих навстречу.

— Куда вы? — заскрипел на них зубами Ивков. — Трусы! Подлецы! Негодяи!

Все приостановились было... Только один совсем уже перепуганный солдатик сослепу бежит прямо на капитана...

— Трусы!.. У редута были — ушли... Срам!..

Харабов молча идет вперед, сознавая всю бесполезность упреков. Нельзя за себя отвечать в такую минуту... Самый храбрый человек может струсить...

— Ваше высокоблагородие, — ни с того ни с сего набрасывается на него бегущий солдатик. — У самого турецкого редута был... У самого вала, ей-Богу... Только бы скакнуть — и конец... Я под валом первый стоял, — чуть не плачет он. — Только бы скакнуть, а тут кричат: «Назад, назад, назад!» Ну, все и побегли... Ах ты Господи!.. Все и побегли...

Солдатик, весь красный, весь разгоревшийся, отчаянно жестикулирует.

— Кабы дружно было... — подтверждает другой и не оканчивает: пуля догоняет беглеца и укладывает его на мягкую землю...

— Что ж вы осрамились, ребята? — корит их Парфенов.

Солдаты взглядывают только в лицо ему и быстро бегут мимо.

— Это еще что за стыд!.. — слышится чей-то громовой голос позади. — Это что за табор бежит? Смирно!.. Из-под редута бежать... Срам! Не хочу я командовать такой сволочью!.. Идите к туркам!.. Вы не солдаты!.. Ружья побросали, скоты!.. — продолжает тот же новый голос.

Ивков оглядывается — навстречу бегущим тот же Скобелев на своем белом коне.

— За мной! Я вам покажу, как бьют турок... Стройся!.. За мною, ребята, я сам вас поведу. Кто от меня отстанет, стыдно тому... Живо, барабанщики, наступление!..

Громкая дробь барабана покрыла и грохот залпов, и рев орудий, то и дело выбрасывавших снопы огня и клубы дыма из амбразур турецкой батареи...

* * *

Медленно цепь продвигалась вперед. Сухие, нахмуренные лица солдат уже поводило гневом... Стиснутые зубы, зловещий огонь, загоравшийся в их глазах, мало

предвещали хорошего защитникам редута. Шли в одиночку, молча... Звено от звена сохраняло правильные интервалы. Руки крепче стискивали холодные дула ружей; после недавнего возбуждения сердце билось спокойно, в голове, казалось, не было и мысли об опасности. На падавших товарищей уже не обращали внимания, — ни о чем не думалось... Свинцовые пчелы, густыми и шумными роями наполнявшие воздух, мало производили впечатления, совсем мало. Не потому чтобы инстинкты жизни замерли — нет, просто закостенели все... Чему быть, того не миновать. «Дорваться бы скорей!» — только одно и шевелилось в мозгу этих обстрелявшихся уже людей, жадно смотревших на серую профиль редута, который опять окутывало туманом. «Дорваться бы скорей!..» И когда шальная пчела жалила товарища рядом, когда он, как подкошенный, падал на мокрую землю, не сожаление шевелилось у уцелевших — нет, сказывалась только жажда расплаты, дикая злоба поднималась в груди, дикая, холодная, от которой сердце не билось ни скорее, ни медленнее, от которой и правильный шаг цепи не прибавлялся. Пред нею была лощина. Ивков озабоченно поглядывал на нее; цепь его шла отлично, лучше не один бы тактик и не пожелал, но в темном овраге придется дать отдых минут пять-десять, не больше. Как бы все это настроение не изменилось, как бы все эти сухие, озлившиеся лица не подернулись колебанием, нерешительностью, как бы из цепи одни не выбежали вперед, это подало бы повод остальным сохранить свое положение позади, а потом совсем отстать.

— Братцы! Посмотрите, что они делают с нашими! — обернулся генерал, не сходивший с лошади.

Гул прошел по цепи, перебросился назад в следовавшие за нею звенья, сообщился колонне, которая уже,

выставив нескольких солдат на гребень пройденной Ивковым горы, сама осталась позади за гребнем в прикрытии.

— Посмотрите, как эта сволочь наших раненых мучит!

Гул все рос и рос... Холодный пот выступал на лицах солдат. Парфенов, глядя на то, что совершалось около валов зловещего редута, заплакал навзрыд.

Из-за этой серой насыпи выбежали турки, поодиночке рассыпались на скате... Вон они наклоняются к нашим раненым. Какие-то крики застыли, всколебав на минуту холодный воздух. Крики эти растут... мольба в них, бешенство... Раненые, видимо, старались уползти, торжествующий враг позволял им это, чтобы смеясь тотчас же настигнуть ослабевших, исходивших кровью людей. Вон один из наших раненых приподнялся, неверной рукой выстрелил в подбиравшегося к нему низама. Тот пригнулся на минуту, потом выпрямился, кинулся к стрелявшему, и в одно мгновение такой дикий вопль, вырванный невозможной болью, донесся к нашим, что генерал решил тотчас же воспользоваться этой минутой озлобления.

— Ребята, без отдыха, вперед!.. Бегом на этих скотов... Спасем уцелевших и накажем негодяев... Я сам поведу вас... Слышите!.. Поручик Доронович, ведите охотников!.. Займите вон ту траншею...

Быстро пробежали лощину — ни одного отсталого не было. Как был тих и безлюден этот овраг до того, таким и остался.

Скобелев уже далеко впереди. Пригнувшись, охотники взбегают по скату вверх... Гора вздрагивает от бешеных залпов... Точно валы эти трещат, расседаясь на своих песчаных насыпях, точно лопаются и крошатся довременные граниты. Не доходя до редута — узенькая траншейка; оттуда гремит перебегающая дробь выстрелов, кайма серого дыма от них, поднимаясь вверх, заслоняет собой редут... Скоро не она одна заслонила его, заслонил и туман, опять

сгустившийся кругом. Редута не видно... Его только слышно... Гроза бушует в этой серой туче. Точно злые духи сорвались с адских цепей и торжествуют в глубине этой мглы, смешанной с пороховым дымом, свое близкое торжество, точно сам царь тьмы в гневе и грохоте бури сходит сюда на кровавую тризну... Возбужденному мозгу могло бы показаться, что планеты сталкиваются и, охваченные огнем, разлетаются на тысячи кусков, когда сквозь оглушительный треск перебегающей перестрелки гремят навстречу нашим цепям дружные залпы, сливая свой бешеный гром с яростным ревом стальных орудий... Целые тучи пуль несутся навстречу храброй горсти охотников, снопы картечи сметают с черного ската все, что встречается на пути; гранаты из дальних редутов, впиваясь в сырую землю, рвутся в ней на осколки, острые края которых точно высохли и разгорелись от жажды. Наверху тоже не ладно: там лопаются шрапнели, точно чудовищные струны трескаются в воздухе под чьей-то могучей рукой. Лужами стоит кровь... В этих черных лужах барахтаются умирающие; предсмертные вопли тонут в грозовом реве бури... Навстречу идущим солдатам бегут, точно сослепу, раненые. Бегут, наталкиваются на них, хватаются за товарищей, цепляются, точно в этом вся их надежда...

Доронович ничего уже не видит... туман кругом, в тумане бесятся остервеневшие духи ада. Он только и помнит одно — обет, данный им генералу... Да и нельзя забыть... В один из самых страшных моментов, когда, казалось, нельзя было вздохнуть, чтобы не подавиться картечью, в вихре этой бешеной бури пролетел мимо него Скобелев... Только на одно мгновение он увидел эту характерную фигуру с разбросанными русыми бакенами, с раздувающимися ноздрями, с мягкими в обычное время, но теперь точно хотевшими оставить свои орбиты разгоревшимися глазами, смело глядевшими туда, в самую темень, откуда

рвалась гроза навстречу. Вихрем налетел, успев кинуть в цепь охотникам: «За мною, дети! Не отставать! Вспомните замученных товарищей!» Точно обожгло солдат. «Ура» вспыхнуло, но не то нерешительное, которое с час назад слышалось из рядов отступивших потом солдат... Нет, это совсем иное... зловещее, бешеное, точно хриплые глотки хотели перекричать этот треск ружейного огня, этот рев стальных пастей...

— Помните, ребята, назад дороги нет... За мной!.. — кидает в свою очередь Доронович, не замечая, что по левому плечу его уже просочилась и бежит алая струйка.

«Не забывайте замученных» вовремя брошено. Точно искра в порох упала... такой злобой вспыхнуло оно в солдатской душе... Помните замученных... Урра!.. — все бешеней и бешеней разбегается кругом. Цепь позади, спотыкаясь, падая, хочет нагнать охотников; резервы сами двигаются, не ожидая команды... Раненые не остаются позади; они тут же в рядах — разве кость перебита, идти нельзя... Один худой, весь зеленый солдат, у которого в груди засела уже пуля, хрипло орет «ура», давится кровью, выплевывает ее и опять еще громче, еще более остервенело кидает свой вызов туче тумана и порохового дыма, окутавших зловещий редут.

Вихрем налетел генерал на другую окраину боя, под самой турецкой траншеей скользнул на добром арабском коне, бросил флангам грозовой привет и вынесся вперед, сам обезумевший от гнева, от злобы, от жажды крови... Шпоры впиваются в белую кожу коня, рвут ее, нервно подергиваются губы; под глазами легли черные полосы... Воздуху! Воздуху! — дышать нечем... Вперед! Бей их, друзья!.. Никому не будет пощады. Мсти за своих!.. Запевайте громче свою бранную песню, кровожадные барабаны, — громче, чтобы заглушить в немногих робких душах последний шепот жалости, последнюю жажду жизни...

Громче направляйте барабаны эту злобой охваченную толпу... Гуще падай туман на облитые кровью скаты, — гуще, темнее, чтобы никому не был виден ужас, творящийся здесь... Чтобы жало штыка встречало вражью грудь, а очи врагов не видели друг друга...

— Не останавливаться! Вперед! — хрипло кричит Доронович уже в занятой им траншее... — На плечах у беглецов ворвись в редут, ребята... За мной, друзья! — И почти тут же тяжелый приклад солдата опускается на голый череп обезумевшего от ужаса турка... Точно арбуз треснул, мозгом забрызгало окружающих...

— Вперед, охотники!.. Вперед! — выбегает Доронович из траншеи... — Вперед — редут недалеко...

— Сюда, охотники!.. — в вихре бури слышен голос Скобелева. — Сюда... Здесь они, проклятые, здесь... Сюда, друзья!.. За мной, дети... Одним ударом возьмем...

Но последние слова его тонут в свисте картечи, в разъяренных залпах оттуда, от которых самый воздух, кажется, сможет оттолкнуть нападающих.

Ивков, Харабов — все тут... Какие-то офицеры из других частей... Все перемешалось, все одной бешеной толпой несется к редуту... Тысячи побежали на скат — сотни уже упали... Сотни упадут сейчас, до вала добегут десятки... Что нужды? — лишь бы дорваться... Скорей, скорей в этот туман, откуда несется громкое «ура», откуда слышен одобряющий голос генерала... Скорей, скорей! Что нужды!.. Из лощины выбегают новые тысячи... Опять они тают на скате, и снова десятки добегают к валу... Тут уж все перепуталось, ничего не разберешь — стихия беснуется на просторе: пламя рвется вверх, вода затапливает землю, прорвав и размыв жалкие плотины...

— Сюда, охотники! Сюда, друзья! — точно ловчий в рог созывает Скобелев на травлю озлившуюся стаю собак...

Покорные зову, все они уже тут, добежали к серой насыпи, и ливень свинца оттуда. Кажется, что редут этот дышит картечью.

На минуту разбросило туман, ветром повеяло с севера; но его холодный воздух не освежил эти разгоревшиеся лица, — не пахнул свежестью в эти разгорячившиеся груди... Скорей, скорей! Рвутся отсталые... В свирепой злобе своей, царапая землю, на место боя ползут раненые... Умирающие, приподнимаясь на руках, орут «ура», выбрасывая в этот предсмертный крик последние отблески угасающей жизни... Уже на штыках красные полосы... кровь бежит по дулам ружей, кровь на руках, на лицах... Не разберешь — где своя, где чужая... Тщедушный, робкий Харабов неузнаваем: вырос, голова закинута назад, голос звучит металлическими нотами; рука так схватилась за шпагу, что, почти ломаясь, впивается вся рукоять; он бодро, смело и стройно ведет своих; Парфенов не отстает от него. Старику почудилась Балаклава... Малахов курган, как живой, вырос перед глазами. Вспомнил он тогдашнюю тоску сдачи после рокового боя — и хрипло бросает свое «ура» прямо в лица врагам, уже стоящим на валах, уже ощетинившимся штыками. В сгустившуюся массу врывается картечь, расчищая улицы... И в эти промежутки вбегают новые бойцы... А из лощины поднимаются новые и новые тучи... Молодой парень тоже вспомнил старое, взял ружье за дуло и чистит себе путь прикладом.

— Алла, алла! — также бешено несется с валов... Какой-то мулла в зеленой чалме и зеленом халате вскочил на самый бруствер и выкрикивает оттуда свои проклятья... В упор кладет его Парфенов, и замирающее «алла» опять подхватывается обреченными на смерть таборами.

— Еще усилие, ребята, — за мной!..

Скобелев врывается на насыпь редута, скатывается оттуда вниз, подымается опять весь покрытый грязью,

облепленный ею, и хрипло зовет за собой солдат... На нем лица нет — что-то черное, кровавое, бешеное... Харабов, Доронович и Ивков уже на валах. Вскипает последний акт этой трагедии — последний и самый ужасный... Штыковой бой уже начался по окраинам... В амбразуру, откуда орудие, напоследок, прямо в живое мясо густой толпы, выбросило картечь, вскочил генерал... штык ему навстречу, — уже коснулся груди... Но парень со своим ружьем тут как тут. Тяжелый приклад с глухим звуком встречает висок низама, и генерал уже впереди, не видя, кому он обязан своим спасением, не зная даже, какая опасность ему грозила... Зверь сказывался в нем, зверь и в этих врывающихся сюда толпах... Зверь, попробовавший крови; зверь, не дающий никому пощады... Никакой правильности в этом бое. В одном месте мы насели на турок — они подались; в другом — обратно... Здесь мы бьем, там бьют нас. Боевая линия изломана таким образом, что часто мы с тылу бьем турок, часто турки выбегают нам в затылок...

* * *

Редут взят.

Земляные насыпи, стальные орудия, серые шинели солдат, лица их и руки забрызганы кровью... Кровь стоит лужами внутри редута, лужи и вне его. Кровь испаряется в туман, точно делая его еще тяжелей. Сапоги победителей уходят в кровь. Жаждущие отдыха после устали беспощадной бойни садятся, ложатся в кровь... Кажется, что и сверху падает она с дождевыми каплями... Кажется, что эта мгла насквозь пропитана ею...

Защитники редута почти все остались здесь...

Кому удалось выбраться из-за этой земляной насыпи, тот улегся на скатах холма... Вон весь склон его покрыт этими разбросанными, исковерканными телами.

Внутри повернуться негде.

Точно нарочно набили этот редут мертвецами. По углам их груды... Из-под них порою прорывается болезненный стон... На одну из этих груд с ужасом уже смотрит Парфенов; старику помнится, что сюда, словно испуганное стадо, сбились бросившие оружие турки... На коленях стояли, кричали «амань»... Перед стариком до сих пор эти умоляющие лица, эти руки, простертые к победителям, эти покорно склонявшиеся под солдатские приклады головы... И он в жару вместе с другими колол, и он убивал просивших пощады... Парфенов недоуменно оглядывался — неужели никто не уцелел? Нет, все синие куртки лежат... вон размозженные черепа, груди, насквозь пробитые штыками... Истребление бушевало здесь, не зная предела... Милости не было никому... Страшно становится Парфенову... он оглядывается на своих: видимо, и другие чувствуют то же самое.

Нет ни в ком этого торжества победы, радостного ликования уцелевшей толпы. Молча сидят на брустверах... Дымки закуренных трубок курятся кое-где. Не слышно говора... Вон паренек — новичок в ратном деле — остановился над громадным турком, раскинувшимся в кровавой луже, и вглядывается в его лицо, пристально вглядывается, точно хочет допроситься чего-то. И на него пристально смотрит турок — только неподвижным, полным ужаса взглядом... Разбросил руки и смотрит; и оба они — мертвый и живой — не могут отвести глаз один от другого.

Тихо едет генерал к редуту... Мрачно оглядывается он по сторонам, оценивая потери сегодняшнего дня... Вот он остановил коня над одним из офицеров... Тень скользнула по молодому лицу...

— Это, кажется, Неводин? — оборачивается он к адъютанту.

— Точно так, ваше-ство!..

— Хороший офицер был. Георгиевский кавалер... Жаль... Скорей санитаров сюда!.. Собрать раненых!..

Молча выехал он в редут... Сошел с коня, вошел на бруствер.

Пытливо оглядывает окрестности...

— Спасибо, ребята, за службу, — тихо благодарит солдат. — Потрудились честно сегодня... Орлами налетели... Видел я, как дрались вы... Львы!.. Я счастлив, что командую такими молодцами... Устали?..

— Устали, ваше-ство...

— Отдохните... Полдела сделали... Теперь удержаться надо... Поручик Доронович!.. Сидите, сидите!.. Поздравляю вас с Георгиевским крестом.

— Не заслуживаю, генерал...

— Это как?

— В овраге...

— Ну, душенька, вы двадцать оврагов заставили позабыть... Спасибо, ребята, еще раз!.. Вот и солнце, кажется... Знамена на валы! — громко скомандовал он.

Мертвый редут словно разом оживился...

Два батальонных знамени взвились над бруствером... Первый сегодня солнечный луч загорелся на их крестах, легкий ветер колыхнул и, словно паруса, развернул их полотнища... Один этот редут с своими знаменами был освещен солнцем. Кругом все еще тонуло в тумане. Точно корабль в океане, несся куда-то этот клочок земли...

Умирающие, подымая взгляды среди мучительной агонии, встречали свои знамена... Развеваясь над серыми валами, они точно призывали благословение небес на этот мир несчастия и муки...

— Майор Горталов, вы остаетесь комендантом редута! — обернулся генерал к небольшого роста офицеру. — Могу я рассчитывать на вас? Тут нужно удержаться во что бы то ни стало...

— Или умереть, ваше-ство!..

— Подкреплений, может быть, не будет... Дайте мне слово, что вы не оставите редут. Это сердце неприятельской позиции... Там, — и генерал кинул горькую улыбку, — назади еще не понимают этого... Я поеду убеждать их... Дайте мне слово, что вы не оставите редута!..

— Моя честь порукой!.. Живой не уйду отсюда...

И Горталов поднял руку, как бы присягая.

Генерал обнял и поцеловал Горталова.

— Спаси вас Бог!.. Помните, ребята, подкреплений не будет — еще раз! Рассчитывайте только на себя!.. Прощайте, герои!..

Отъехав на версту, генерал оглянулся на редут. Весь он казался на высоте. Два знамени его в солнечных лучах гордо веяли над серыми насыпями.

Клубившийся кругом туман еще не окутал их своим однообразным маревом. Корабль, казалось, величаво нес в этом волнующемся океане свои паруса и мачты...

— На смерть обреченные! — И еще печальнее стал генерал, прощаясь взглядом с лучшими из своих сподвижников.

* * *

— Нас, значит, оставили совсем... Никого и ничего на помощь?.. После того, как все уже почти сделано?..[12]

— Никого и ничего, ваше превосходительство, — козырял щеголеватый штабной.

— Значит, третья Плевна?..

И генерал не окончил.

---

[12] Отрывок этот имеет целью описание отступления из занятого Горталовым редута. Сцена защиты его изложена в моем романе «Плевна и Шипка».

Нервно стало подергиваться лицо, голос дрогнул, оборвался, и вдруг этот железный человек, спокойно тридцать часов выносивший все: и гибель лучших своих полков, и смерть друзей, и трагические переходы боя от поражения к победе и от победы к поражению, — зарыдал, наклонясь над лукой седла... Окружающие отъехали на несколько шагов...

— Что это с ним? — удивленно шепнул штабной одному из ординарцев.

Тот только смерил взглядом эту чистенькую фигуру на чистеньком седле и отвернулся.

— Никого!.. Ни одной бригады... Ведь здесь все. Устоим. Осман уйдет...

— Ни одного полка свободного нет...

— А там? — взмахнул он на северо-восток.

— Берегут дорогу на Систово...

— Академические стратеги! — упавшим голосом проговорил ординарец.

— Только один Крылов... честная душа. Если бы не его шуйский полк, я бы не выручал тех, что один против ста отбиваются теперь на *моих* редутах... Один против ста — львами!.. Сколько героев — и все это на смерть!..

Он выпрямился в седле и снял шапку.

— Слышите?.. — махнул он ею по направлению к редутам.

Огонь разгорался там с такой бешеной силой, что, казалось, в треске ружейных выстрелов и в реве орудий, не смолкавшем ни на одно мгновение, рушились в прах все эти твердыни, вставшие на страже Плевны... Силуэты редутов, еще недавно выделявшихся на сером небе, окутало густыми тучами порохового дыма... В этих тучах умирали львы; в этом дыму десятки таборов обрушивались на остатки героических рот, изверившихся в победе и не желавших спасения... Но грохот бойни, неистовые крики

нападающих, ответные вызовы защищавшихся — вот все, чем сказывалась битва... Глаз не видел ничего... Казалось, само грозное божество смерти и потребления задыхалось в этом стихийном дыму приносимых ему жертв...

— Слышите?.. Люди дрались и будут еще драться, но таких — не будет... Они лягут там... Они дали слово и умрут... Слышите? Их горсть, а вон какое «ура»... Прямо в лицо врагам... Окруженные со всех сторон. Раздавленные!.. Ну что ж!.. Они сделали все... Невозможное оказалось возможным... Больше нельзя... Господа!..

Голос его дрогнул — опять... Пауза... Все притаили дыхание...

— Господа, мы отступаем... Мы отдадим туркам взятое... Сегодня — день торжества для наших врагов. Но и нам он славен... Не покраснеют мои солдаты, когда им напомнят тридцатое августа... Господа, мы уходим... Шуйцы прикроют отступающих... Вперед и скорее!..

Шпоры до крови разодрали белую кожу великолепного коня, который стремглав бросился по неровной и влажной почве... Ветер свистал мимо ушей вместе с пулями, уносившимися вдаль... Бешено мчались всадники, точно от каждого мгновения зависела жизнь дорогих и милых людей... Молоденький ординарец сорвался с коня и покатился вниз, но ждать его было некому и некогда, и спустя минуту одни он опять догнал генерала... У этого из-под закушенной губы проступила кровь, глаза безнадежно смотрели вперед и ничего не видели, фуражка осталась в руках и слипшиеся волосы космами легли на лоб... Конь совсем обезумел под нетерпеливым всадником, мундштук рвал рот, и заалевшая пена разбрасывалась по сторонам от окровавленной морды... Штабной, спеша за генералом, вежливо, почтительно кланялся каждой пролетавшей мимо пуле, причем, если бы окружающим был досуг, они, разумеется, могли бы оценить, до какой степени удивительной

гибкости и эластичности дошла шея этого доблестного и щеголеватого офицера...

— Вон они, вон они! — протянул руку генерал.

В тумане порохового марева уже можно было различить неопределенную массу редута... Неопределенную потому, что вся она была загромождена людьми... Извне лезли озлобленные турецкие таборы, на валах стояли отбивавшиеся штыками наши. Видно было смутно движение новых масс неприятеля, стягивавшихся сюда, но ненадолго... Скоро новые клубы дыма совсем затянули эту зловещую картину упорного боя, и всадники опять только слышали, но не видели его...

— Идут ли шуйцы?.. — обернулся генерал...

— Они уже выдвинулись, готовы...

И снова бешеная скачка вперед, и снова остервеневший конь хочет точно перегнать самый ветер...

В редуте уже совершался последний акт этой кровавой трагедии.

Отбивались штыками... Приподымаясь над бруствером, видели и впереди, и позади только массы врагов... Они же густились и налево... Казалось, этот одинокий корабль-редут вот-вот пойдет ко дну, утонет с жалкими остатками когда-то многочисленного и сильного экипажа... Склоны холмов кругом, лощины были наполнены турецкими таборами. Турки озлобленно лезли отовсюду... Победа была несомненна... Умирающие львы уже не думали об обороне... Они знали, что позиция уходит в ненавистные руки, и думали только о том, как бы пасть с честью, как бы в последние минуты свои нанести удары посильнее, как бы подороже продать свою уже обреченную жизнь... В одном из редутов турки, уже ворвавшиеся, бешено дрались с нашими солдатами, задавливая их массой, умирая для того, чтобы на свежий труп встала тотчас же нога нового бойца, за которым ждали очереди остальные. Под ливнем

свинца гибли и свои, и чужие... Сломав штыки, враги схватывались и, хрипя, душили один другого, перехватывали горла, выдавливали глаза, раздирали рты... Часто умирающий, свалив в смертельном, последнем усилии угасающей жизни своего врага, вгрызался в его тело судорожно сжимавшимися зубами и только под тяжелым прикладом, разбивающим ему череп, освобождал остервеневшего бойца... Парфенов, во весь рост стоя у самого вала, отбивался штыком от нескольких рослых низамов, наступавших отсюда. Курносый парень уже со шрамом во все лицо, изодранный, бессознательно вправо и влево отмахивался прикладом, зажмурив глаза и не видя, кого он бьет, чьи головы, чьи шеи встречает его приклад... Горталов, сумрачный и безмолвный, сложа руки, сидел пока посреди редута. Он был готов, он — этот капитан утопающего корабля — он был готов к смерти, но час его не пришел, и он спокойно ожидал последнего напора роковых волн. В живой массе солдат рвались гранаты... Соединительная траншея кое-где уже была захвачена турками, и там, в узком рве этом шел свирепый бой один на один... Враги схватывались и гибли, утучняя почву своей кровью... Схватывались в туче порохового дыма — умирая, не могли различить над собой даже серого просвета неприветливого, совсем осеннего сегодня неба.

Ординарцы, посланные с приказанием отступать, не могли доехать до редутов, окруженных таборами... Сигналы слышались, но им не верили эти мужественные, решившиеся умереть люди... Из левого редута, впрочем (Абдул-бей-табие), кучка солдат двинулась навстречу своим, но все, на первых порах врезавшись в смежную гущу врагов, погибли там под штыками... Раненые, падая, уже не могли надеяться на спасение... И здоровые не могли уйти, а этих и подавно уносить было некому. Да и дождаться турок не пришлось наиболее счастливым... Свои затоптали...

Туда, куда направлялись наиболее сильные удары турок, туда, где громче гремели их торжествующие крики, кидались кучки защитников. Им некогда было разбирать, кого они топчут — своего или чужого. «Ох, Господи! Спасите!.. Куда-нибудь в угол меня!.. Ой!.. Голубчики!.. Своего!..» — слышались хриплые, с натугой вырывавшиеся из-под ног крики раненых и умирающих, но они бесследно пропадали среди этого царства смерти, торжества ужаса... Не одна рука и нога были в крови; сапоги солдат тоже покрылись ею. На земле, где не было мертвых и раненых, где не корчились умирающие, стояли те же черные лужи крови... Падали лицом в них, спотыкаясь, опускали руки в эту кровь... Часто, потерявши от муки сознание, несчастный хватался за полу шинели, за ноги пробегавших мимо, но те, даже не оглядываясь, вырывались: помогать не было рук... Те, которые еще уцелели, знали, что через минуту и им придется также лечь на землю и в острых болях мучительной смерти царапать землю судорожно сводившимися пальцами.

Харабов заметил налево свободную полосу ската. Тут турки разредились, направляясь в атаку с фронта и с тыла.

— Не прикажете ли унести солдат туда?.. — обратился он к Горталову...

— Что? — спокойно поднял на него глаза, казалось, задумавшийся о чем-то майор.

Харабов повторил.

— Погодите... Нужно и знамена спасти... Они во всяком случае не должны достаться врагу... Что это... Откуда это выстрелы?..

На минуту было вспыхнула надежда...

Горталов встал...

— Неужели подкрепления?.. Можете вы рассмотреть, что там?..

— Нет... Впрочем, видно. Это Скобелев... Только с ним не более батальона...

— А пушки, пушки оттуда слышите?..

— Слышу... Вот они открыли огонь опять... Одна батарея... Я думаю, он хочет прикрыть отступление!.. С такими силами отбить турок нечего и думать...

Горталов зорко всмотрелся туда и потом, не говоря ни слова, сошел вниз...

Надежды не было... Атака турок опять приостановилась, но надежды не было.

Момент, которого он ждал, наступил...

Этим моментом нужно было воспользоваться во что бы то ни стало... Турки отхлынули, очистив тыл... Теперь гарнизон редута может выйти... Теперь удобно начать отступление... В последний раз он собрал вокруг себя своих солдат, зорко, внимательно стал всматриваться им в лица... В эти дорогие, близкие лица... которых он более уже не увидит... Вот они перед ним... Ждут его голоса... Смотрят прямо в глаза ему... Вот и знамя колышется над ними...

— Братцы!.. Идите, пробейте себе путь штыками... Здесь защищаться нельзя... Штабс-капитан Абазеев, вы поведете их... Благослови вас Бог, ребята!.. Прощайте!..

И сняв шапку, Горталов перекрестил солдат.

— Ну, с Богом! — громко, уже овладев собой, скомандовал он.

— А вы?.. — И все глаза обратились к нему с выражением тоски и боли.

— Я... Я остаюсь... Остаюсь с этими, — указал он на груды мертвых... — Скажите генералу, что я сдержал слово... Я не ушел из редута... Скажите, что я здесь... мертвый! Прощайте, ребята!

Вот они направляются к горке. Вот они выходят... Вон эти серые фигуры, их уже нет в редуте... Сейчас корабль пойдет ко дну... Экипаж сел в лодки, отчалил. Один капитан

на палубе, он не уплывет с ними... Он должен погибнуть вместе со своим судном... Ветер сбивает прочь мачты. Волна за волной разбивает кузов, сейчас он рассядется... Сейчас!.. Ниже и ниже опускаются борта... Весь в белой пене вал уже поднялся над ним...

Вот они за бруствером... В последний раз Горталов посылает им свое благословение:

«Спаси вас Бог!.. Спаси вас Бог!..»

И слезы на глазах... Он видит, как последние солдаты, оборачиваясь, крестят его... Он уже не может сдержать рыданий... Раненые корчатся кругом... Они тоже остались здесь... Вот знамя мелькает... Прощайте, братья, прощайте!.. Прощайте!.. Пора... Пора!.. Турки не должны увидеть этих слез... Вон они уже бегут... Почуяли, что редут оставлен... Торжествующий рев освирепелой толпы... Рев ему навстречу... Стадо звериное мчится... Ураган несется... Пора!..

Спокойный и величавый, скрестив руки на груди, он медленно взошел на наружный край бруствера... Горталов, он один теперь на страже редута... Один, и никакого волнения уже не видать на лице этого капитана, погибающего со своим кораблем... Сколько их! Вот они у самых ног... Штыки... Взбегают на вал...

Вспененные гребни высоко-высоко поднялись над палубой...

Буря осилила... Корабля уже не видать под ними...

Горталов бьется на штыках... Последний вздох к небу... И разорванное на части тело героя безобразными кусками валяется на окровавленной земле...

Огонь рассыпанных по гребню следующего пригорка шуйцев заставил отхлынуть турок...

* * *

Путь к отступлению пока был открыт... Штыкам еще не было дела. Густясь по сторонам, враги довольствовались

тем, что расстреливали солдат, выходивших из редута... Расстреливаемые тем не менее шли, сохраняя строгий порядок. Рассыпаться не хотели... Локоть к локтю, стройными рядами. Если бы не кровь на руках и на лицах, если бы в этой медленно движущейся массе не попадались раненые, которых товарищи несли на скрещенных ружьях, и раненые, которые сами шли, прихрамывая и опираясь на штыки, — можно было бы подумать, что это свежая часть, совершенно спокойно идущая среди мирной обстановки обыкновенного похода... Даже равнение хранили эти доблестные остатки героических полков, выдержавших тридцатичасовой беспощадный бой... Только озлобленно-сведенные лица, глаза, горящие воспаленным блеском, выдавали волнение этих последних защитников редута... Изорванные знамена тихо колыхались над молчаливыми рядами. Несколько турецких значков с золотыми полумесяцами шелестели тут же, развертывая по ветру начертанное на их полотнищах имя Аллаха... Казалось, эти последние свидетельствовали, что солдаты, уносившие их, потерпели поражение, которое тем не менее было выше всякой победы. Отступающие уносили с собой трофеи, они не только своего не оставили туркам, напротив, и ихнего им не отдали... Впрочем, нет — бросили то, чего нельзя было взять... Наше орудие стояло в редуте... Замок с него был снят. Его тащило несколько солдат...

— Эх, жаль!.. — слышалось в рядах. — Орудию оставили!..

— Ничего... Что оно без замка!.. Неужели на руках тащить!.. Не утащишь. Пусть свиному уху достается... Ничего с ним не поделает...

— Наша пушечка гордо стоит, ишь она нос-то как задрала!.. Что твой енерал... Ее оттеда и на буйлах[13] таперчи не увести, — говорили солдаты.

[13] Буйвол.

Оглядываясь, они видели спокойно стоявшего на валу Горталова... Они видели эту открытую голову, смело обращенную туда, откуда на него шла неизбежная смерть... Они видели, как вокруг него разом выросла какая-то толпа... как этого, не защищавшегося человека, опустившего свою саблю вниз, спокойно скрестившего руки, подняли на штыки... Они видели, как он бился на этих холодных и острых жалах... как его сбросили вниз... Они видели, как вслед за этим последним защитником оставленного редута темные волны турецких таборов стали перекатываться через валы со всех сторон. В гвалте их торжества не пропали бесследно отчаянные крики наших раненых, попавших в руки этим победителям. Отчаянные крики — крики, пронимавшие до самого сердца... Великодушные враги не хотели оставить умирающих умирать спокойно... Вся их ненависть, вся их изобретательность направились к тому, чтобы придумать такие муки, каким нет имени на языке человеческом. Еще сумрачнее становились лица солдат, слышавших вопли своих товарищей. Они слали варварам проклятья. Забывали боль собственных ран... Некоторые рыдали, и казалось, что эти измученные, сна не знавшие очи точили кровавые слезы по почерневшим лицам... Порывались назад, хотели отбить своих, но что могли бы сделать жалкие сотни людей из расстрелянных полков с десятками таборов, отовсюду наваливавших на оставленные редуты... Что могли бы сделать эти перераненные, утомленные львы — разве только одно: отдать и себя на жертву бесчисленному стаду гиен, тешившихся страданиями, упивавшихся воплями мучеников, у которых не хватало силы даже для того, чтобы заслонить глаза свои рукой от подлых ятаганов, заносившихся над ними... Они не могли повернуться, когда торжествующие победители раскладывали огонь на их окровавленных грудях; они только и могли вопить к этому холодному, равнодушному

небу, когда на их телах вырезались кресты, когда медленно, с наслаждением регулярные войска, присяжные солдаты Турции, отрубали им по частям ноги и руки... И счастливы были те, кто исходил кровью, кто умирал скоро...

Под жестоким, перекрестным огнем стояли шуйцы, прикрывавшие отступление наших... Но они все-таки были счастливее. Падая, знали, что до них не дойдет враг; знали, что смерть их не будет вызвана лютыми муками... Тут умирали сравнительно спокойно... Виля, как остатки еще вчера сильных и здоровых полков уходят из редутов, наши безмолвно стояли под непрекращавшимся ливнем свинца... Никому не могло и в голову прийти — схорониться за лощины... Скобелев зорко смотрел на отступающих. Жадно считал он их ряды издали... Казалось, в нем еще жила надежда, что потери будут не столь велики, что смешавшиеся в одни ряды солдаты разных полков еще выйдут оттуда, что это — не все... Но увы!.. Черные массы наших медленно двигались там — и позади за ними не было уже здоровых... Только раненые лежали на скатах — раненые и мертвые... Одни ползли за своими, еще находя силы в порывах ужаса и отчаяния, другие оставались неподвижными, перевернувшись лицом вниз... Они, казалось, не хотели видеть, что ждет их, когда наши уйдут совсем...

— Как мало!.. Как мало!.. — нервно срывалось у Скобелева... — Какой ужасный день!.. И как уходят эти... Посмотрите — ни суматохи, ни беспорядка. Вот люди!.. Пошлите сюда казака...

Весь точно высохший, донец на отощавшем степнячке трусцой подъехал к генералу.

— Ты знаешь, где генерал Крылов? Тебя я уже посылал? Сейчас поедешь опять...

Донец, два раза сломавший путь туда и обратно, только вздохнул. «Доля казачья — служба собачья!» — подумал он про себя.

Нервно набросал Скобелев несколько слов на лоскутке бумаги...

«Из редутов выбит... Отступаю в порядке, прикрываясь вашим шуйским полком... Merci, général!..[14]»

— Отдать этот листок генералу... Слышишь?.. Да живо!..

Нагайка стала поглаживать втянутые бока утомленного коня, затрусившего вниз в лощину по скату...

— Да... Если бы Крылов исполнил в точности приказ и не послал бы шуйцев, никому не пришлось бы выйти живым из этих редутов... Академическим стратегам не мешало бы подумать об этом... — вырвалось у адъютанта...

Скобелев только нервно отбросил по сторонам баки и еще зорче стал смотреть на отступающих...

— Сколько потерь, сколько потерь!..

— Шуйцам тоже солоно пришлось... К нам их прислали после боя... У них не осталось и половины, а теперь и остальные лягут!..

— Ужасный день!.. И к чему было держаться! Чего ждать...

Все, что окружало здесь начальника отряда, точно ослабло и понурилось... Мысль не работала, ощущения точно притупились... Кругом валились мертвые, падали раненые — никому и в голову не приходило отъехать назад... Разве не все равно?.. Казалось, для того, чтобы отойти, нужно было больше мужества и энергии, больше усилий, чем для того, чтобы оставаться здесь, не трогаясь с места, словно окостенев на нем.

* * *

Спит Гривица, спит Тученица, спит Радишево... Вот и турецкий редут, занятый нами, — единственный трофей двух дней упорного боя... Там костры; за кострами сидят

---

[14] Благодарю, генерал!..

свежие румынские доробанцы; да и те молча глядят в огонь, потому что кругом трупов навалены горы; кровь везде — и под ногами, и на валах, острый запах ее бьет в нос... Сучья костра, попадая в эти черные лужи, шипят и тухнут, обвиваясь противным, кислым паром... Только на аванпостах бодрятся еще часовые... Выдвинулись вперед... зорко глядят, не покажется ли где враг. Прислушиваются, не долетит ли что оттуда... Но нет... Ночь точно мертвая, и только одно воронье оглашает ее своими радостными победными криками... Впрочем, нет... Чудится ли это возбужденному мозгу?.. В болезненно-расстроенном слухе рождаются ли эти звуки?.. Ловит их часовой и скоро догадывается, в чем дело... Да и как не догадаться? Столько ужаса в отголосках этих, столько муки в замирающих воплях... Холодный пот выступает на лбу; сердце точно смолкает и медленнее бьется; ноги подкашиваются... Это оставшиеся там, позади... Это те, что валяются теперь, как падаль, между нашими и турецкими позициями... Это подает голос живой корм для воронья... Он чует свою участь и, не находя силы двинуться, оглашает поле недавней бойни мольбами и стонами...

Но горе побежденным!.. Горе!.. «Нет им пощады!» — слышится в торжествующих криках хищников, в довольном клекоте тех, которые уже долетели до боевых полей и опустились на свои жертвы...

И еще сумрачнее, еще печальнее кажется молчание на наших позициях...

На скате за кряжем Зеленых гор — костер... Он уже потух; красные угли из-под золы только мигают порой, как умирающий из-под опущенных век... Молча, глядя в огонь, сидит Скобелев... Ему не спится... Припоминается весь этот день... Вся эта бойня. В военном энтузиасте шевелится проклятье войне... Отчего он не убит?.. Зачем он остался жить, похоронив свои лучшие полки, и горькое сознание

ненужности бесплодно принесенных жертв шевелится в душе, и холодно ему становится, когда вспоминает он, каких именно людей он потерял сегодня... Как они дрались под Ловчей!.. С какой верой в него сегодня шли на смерть... Пошли и не вернутся более... Не было ли ошибки в его расчетах? — шевелилось в душе острое жало сомнения... Не он ли виноват в их страданиях? Не он ли виноват в их смерти?.. И опять он проверяет миг за мигом все эти тридцать часов безостановочного боя, и опять шевелится в душе горькое проклятье бездарности, сделавшей жертвы бесплодными, отнявшей у сегодняшнего дня тот именно венец победы, который один мог бы сделать весь этот бой не столь отвратительным, заставил бы забыть его ужас!.. Да где они, где эти еще вчера веселые, здоровые и бодрые люди? Где генерал Тебякин? Где Добровольский? Убит... Где смелый командир тринадцатого стрелкового батальона Салингре? Убит. Где Горталов? Умер на штыках... Тысячи убиты и ранены... Зачем? Кому нужна была их смерть?.. И он все больше и больше кутался в солдатскую шинель, точно ему холодно становилось от этих воспоминаний именно теперь, наедине с этой ночью, с ее робкими, печальными, кроткими звездами, будто укорявшими его с высоты темного, равнодушного ко всему, и к победе, и к поражению, неба... Подымался ли в этом железном человеке обличающий голос: «Какому делу ты служишь?» Становились ли и ему понятны и близки томления Каина?.. Он закрывал глаза, стараясь не видеть даже лиц спящих... Но так еще слышнее звучал в его душе голос невидимого обличителя. Точно в его грудь проникла холодная мертвая рука и беспощадно сжимала живое сердце... «Ты никогда не забудешь этого дня... Никогда!.. Погаснут громы войны, и всякий раз, когда ты будешь оставаться один на один, я буду приходить к тебе, я буду тебе напоминать о том, что случилось сегодня...» И он сам

чувствовал, что эти поля никогда не изгладятся из его воспоминаний... Сам чувствовал, что в самые счастливые минуты торжества эти кроткие, робкие звезды будут смотреть на него с таким же печальным укором, эта холодная мертвая рука также будет сжимать его живое, горячей кровью обливающееся сердце.

Шел мимо раненый... Холодно ему казалось... Мигнул и на него умирающий огонек костра... Мигнул и замер... Побрел на него раненый солдат... Видит, начальство какое-то... Что ж ему! После такого боя разве оно страшно?

— Расступись, братцы, дай отогреться!.. — И думать не хочет, какое тут офицерство собралось... Привалился к огню, разгреб его... Что ему, может быть, умереть сейчас. Упало все внутри — тоска!

— И огня-то мало! — угрюмо звучит его голос... — Не умели разложить... Эх!.. Доля ты, доля солдатская!..

Смотрит на него генерал... Красным шрамом исполосован лоб... Плечо в крови... На ноге кровь.

— Где ранен? — тихо спрашивает... — В редуте?

— Ранен?.. Тебе не все равно, где?.. Не в резервах же... — И невдомек ему, что генерал свой, — не различает воспаленный взгляд...

Молча смотрит генерал в красные угли точно проснувшегося костра... Он и не слышал ответа солдата, так, машинально, спросил.

— Ранен!.. Все ранены... Не сочтешь!.. — угрюмо говорит солдат, разгребая их... — Понавалено... Тыщи лежаг.

«Да, не сочтешь!.. Ты их вел на смерть... Где они?.. Зачем, за что... Что им за дело, им, расплатившимся за тебя, до идей, которым ты служишь... Необходимые жертвы!.. Да кому же они необходимы... Тебе... Таким, как ты... Солдату необходимы?..»

И опять та же холодная мертвая рука!..

Забылся было, к костру привалился... Что это... Кто-то шинель с него тянет...

— Что? — машинально отзывается генерал.

— Ты здоров... Мне надо... — еще угрюмее отзывается солдат, снимает шинель с него, завертывается и идет далее...

Генерал следит за фигурой раненого, все больше и больше сливающейся с темнотой, и опять молча продолжает вглядываться в красные угли, вновь покрывающиеся серым налетом золы... Умирающий огонек слабее и слабее вздрагивает под ней, точно ему холодно, точно он также спешит завернуться в эту золу...

И опять безотвязные думы... Ах, как кричит это воронье... Ноет внутри, в душе еще громче грозится ему кто-то... безотвязно!..

Далеко-далеко откуда-то слышится музыка... Что это, кому вздумалось праздновать? Должно быть, ужинают там веселые люди... Странное дело, как эти мотивы под стать крикам вороньих стай... Что-то жадное, как и в первых, что-то неумолимо насмешливое... Звон бокалов в них чудится, довольный, веселый говор... Везде воронье!..

А огонек уже совсем завернулся в серую золу и заснул... Ах, если бы и *ему*, с его безотвязными думами, можно было заснуть... Если бы и его оставила эта холодная, мертвая рука... Не щемила бы сердце... Помолчи хоть на минуту, укоряющий голос!.. Закройте свои кроткие печальные очи, небесные звезды... О, тучи, тучи! Где вы? Зачем теперь открыли вы этих безмолвных свидетелей!..

Раздел XV[15]

После третьей Плевны я встретил Скобелева в Бухаресте.

Он отправился туда отдохнуть, собраться с силами, привести в порядок разбитые нервы... Впрочем, этот отдых был очень своеобразен. Он и тут не переставал работать и учиться. Румыны, видевшие его в ресторане Брофта и у Гюга за стаканом вина, в шумном кружке молодежи, скоро очень полюбили Скобелева, румынки еще больше. От этих — не было отбоя. То и дело он получал записки от той или другой бухарестской львицы, с назначением встреч там или здесь, но записки эти сжигались без всяких дальнейших результатов... Ему иногда положительно приходилось запираться от этих дам. Хотя он вовсе не был целомудренным Иосифом... «Это какая-то Капуя!» — повторял он.

— Нужно бежать от порядочных женщин! — говорил Скобелев... — Именно от порядочных.

— Вот-те и на!

— Военному непременно. Иначе привяжешься, а двум богам нет места в сердце... Война и семья — понятия несовместные!

Я не могу забыть весьма комического недоразумения, случившегося тогда же. Какая-то валашка из Крайовы, весьма молодая, красивая и еще более эксцентричная особа, наслушавшись разных чудес о Скобелеве и узнав, что он в Бухаресте, разлетелась туда... Скобелев получает от нее восторженное письмо, в котором его поклонница сообщает, что завтра она сама явится к нему лично выразить свое удивление... Послание сожгли, а об ней забыли. На другой день Скобелев сидит у себя со старым и дряхлым генералом С***. Этот последний уже надоел ему

---

[15] Раздел XIV у автора отсутствует.

бесконечными рассказами о всевозможных кампаниях, в которых он участвовал, начиная чуть не со времен очаковских и покорения Крыма и кончая Севастополем. Вдруг входит к Скобелеву лакей.

— Вас спрашивает дама...

— Какая?

— Она передала свою карточку...

На карточке фамилия той же, которая вчера прислала письмо. Генерал поморщился. Слишком уж однообразно и скучно выходило это, но тут же ему пришла блистательная мысль — одним ударом избавиться и от старого генерала и от румынской красавицы. Он, зная слабость первого к хорошеньким личикам, обращается к нему...

— Ваше-ство, выручите меня!

— В чем?

— Да вот, ко мне обратилась одна женщина... Мне некогда... Совсем некогда... Выйдите к ней вы... Она меня никогда не видала... Скажите ей что-нибудь, ну, хоть скажите, что вы Скобелев... Или просто извинитесь за меня.

С*** улыбается... Ему нравится эта мысль...

— Я уж лучше скажу, что я — вы?.. А?

Он выходит к румынке, а Скобелев в это время запирается и садится за работу.

Генерал, явившийся Скобелевым, потом рассказывал свои впечатления.

— Помилуйте, дура какая-то... Набитая!.. Я ведь не таких, как она, в Венгрии видывал... В 48-м. Что она думает себе, на диво мне все это?.. Мне только захотеть... У меня в Сегедине такая была!..

— Что же эта-то сделала?

— Посмотрела на меня, да как расхохочется... С тем и ушла!.. Болтает что-то по-своему, сорока!..

Румынка встретила на другой день генерала, командовавшего калафатскими каларашами.

— У русских понятие о молодости очень оригинальное.

— А что?

— Помилуйте... Скобелев по-ихнему — молодой генерал... Я его видела — просто старая обезьяна, да и к тому же еще с облезшей шерстью. Хороша молодость... Что же у них называется старостью?

Несмотря на эти комические эпизоды, Скобелев был точно раздавлен впечатлением 30 августа.

— Оно все время стоит передо мной... Не могу забыть... Кажется, пьешь, пьешь — захмелеешь даже... А тут опять вырастет в глазах этот бруствер, сложенный из трупов... Горталов, поднятый на штыки... Ужасно!..

— ...Я ведь, знаете, совсем не сентиментален... Я сознавал необходимость и возможность 30 августа... А все-таки! Ведь и вина не моя, а спать не могу... Так все и чудится передо мной картина отступления от редутов... Крики в ушах эти...

Он пожелтел в это время, похудел...

— Нет, тут плохой отдых.

— Почему?

— На деле скорей забудется... А тут все впечатления этого проклятого дня донимают...

В Бухарест приехал Тотлебен. По пути за Дунай он останавливался тут на несколько дней... На первых порах он сошелся очень коротко со Скобелевым. Они даже казались неразлучны. Вместе обедали, вместе ужинали. У обоих было одно общее — отвага и привычка к боевой жизни. Оба одинаково недоверчиво относились к штатским генералам и тем героям мирного режима, которые, нося военный мундир, явились на боевые нивы с невинностью младенцев и кротостью голубей. К сожалению, две эти боевые силы — Тотлебен и Скобелев — не долго шли рядом. Слишком не схожи были их натуры, слишком разны взгляды на войну, на солдата... Один — весь осторожность,

даже медлительность, спокойствие, заранее обдуманный план. Другой — орел, жадно накидывающийся на врага, находчивый, гениальный, даже способный в самом бою создать новую диспозицию, нервный, алчущий сильных впечатлений... Любимцем войск, разумеется, был второй, хотя роль первого под Плевной была несомненно полезнее... Потом под Геок-Тепе и Скобелев стал иным. С годами пришла рассудительность, поэт войны стал и ее математиком... В конце концов он показал себя только в последнее время, и настоящего Скобелева мы бы увидели потом, в первую большую войну... До 1880 года он только развивался, складывался, рос... Все блестящие его качества до этого времени были лишь вспышками гения, отдельными лучами этой военной звезды, столь яркой, столь быстро взошедшей, чтобы тотчас же потухнуть.

Нужно было видеть, как в Бухаресте его встречали раненые 30 августа, чтобы понять, до какой степени солдат верно умеет ценить своих друзей и врагов... Впрочем, и не один солдат. У Брофта за обедом какой-то из штабных героев с громадными протекциями и потому блестящей карьерой вздумал было заговорить о молодом генерале в том пошловатом тоне, который почему-то считается у нас признаком самостоятельности мнений и даже принадлежностью хорошего общества... Говорил, говорил да и разоврался... Без удержу!..

Вдруг перед ним вырастает армейский офицер с подвязанной рукой...

— Молчать!.. Гниль!.. Когда вы надеваете на себя кресты, принадлежащие нам, когда вы снимаете пенки со всего кругом, когда вы пользуетесь всеми выгодами дела — где мы знаем только одни тяжкие обязанности, мы представляем вам полную свободу действий. Мы не завидуем вашим лаврам... Но Скобелева — не трогать!.. Слышите ли — не трогать!..

Тот растерялся, сконфузился и извинился...

— Помилуйте, это фанатизм какой-то... Они не позволяют говорить...

Увы!.. Несчастный не понял, что ему не позволяли только клеветать!..

— У кого больше перебили солдат, как не у Скобелева... — заявлял другой. Это было еще до замораживания 24-й дивизии на Шипке, до Горного Дубняка, до перехода гвардии через Балканы.

— Да, но ведь никому другому и таких задач не полагалось, трудно исполнимых и стоящих стольких жертв...

Любовь солдат к нему была беспримерна.

Раз шел транспорт раненых. Навстречу ехал Скобелев с одним ординарцем. Желая пропустить телеги с искалеченными и умирающими солдатами, он остановился на краю дороги...

— Скобелев... Скобелев! — послышалось между ранеными.

И вдруг из одной телеги, куда они, как телята, свалены были, где они бились в нечеловеческих муках, вспыхнуло «ура»... Перекинулось в другие... И какое «ура» это было! Кричали его простреленные груди, губы, сведенные предсмертными судорогами, покрытые запекшейся кровью!..

После одной из рекогносцировок едва-едва идет солдат, раненный в голову и грудь. Пуля прошла у него под кожей черепа, другая засела ниже левого плеча. Увидев генерала, раненый выпрямляется и делает «на плечо» и «на караул!». Совершенно своеобразное выражение солдатского энтузиазма.

Офицера, смертельно раненного, приносят на перевязочный пункт.

Доктор осматривает его — ничего не поделаешь... Конец должен наступить скоро.

— Послушайте, — обращается несчастный к врачу... — Сколько времени мне жить?

— Пустяшная рана, — начал было тот по обыкновению.

— Ну... довольно... Я не мальчик, меня утешать нечего. Сам понимаю... Я один — жалеть некому... Скажите правду, сколько часов проживу я?

— Часа два-три... Не нужно ли вам чего?

— Нужно.

— Я с удовольствием исполню...

— Скобелев далеко?..

— Шагах в двухстах...

— Скажите ему, что умирающий хочет его видеть... Генерал дал шпоры коню, подъехал. Сошел с седла... В глазах у раненого уже затуманилось...

— Как застилает... Генерал где?.. Не вижу.

— Я здесь... Чего вы хотите?

— В последний раз... Пожмите мне руку, генерал. Вот так... Спасибо!..

Под Плевной — умирающий офицер приподымается...

— Ну, что наши?..

— Отступают...

— Не осилили?

— Да... Турков тьма-тьмущая со всех сторон...

— А Скобелев — цел?

— Жив...

— Слава Богу... Не все еще потеряно... Дай ему... Опрокинулся и умер с этой молитвой на губах за своего вождя...

В бою под Плевной, когда генерал уже в пятый раз бросился вперед в огонь, его обступили солдаты.

— Ваше-ство...

— Чего вам, молодцы?

— Невозможно на коне... Все с коней посходили...

— Ладно...

И пробирается вперед верхом. Турки целят в близкого к ним всадника. Целый рой свинцовых шмелей летает у его головы.

— Чего на него смотреть, — глухо заговорили солдаты...

— Эй, ребята... Ссади-ко генерала с коня... Этак и убьют его.

Не успел Скобелев и опомниться, как его сняли с седла...

— Виноваты, ваше-ство!.. Иначе никак невозможно... — оправдывались они.

Потом в траншеях станет Скобелев на банкет бруствера... А турецкие позиции шагах в трехстах. Начинается огонь по нему...

Солдаты смотрят, смотрят.

— Этак не ладно будет.

И становятся рядом с генералом... Туда же... Тот, чтобы не подвергать их напрасной смерти, — сходит и сам вниз...

Раненному в обе ноги нужно было отрезать их; одну выше колена, другую — ниже. Ампутируемый решительно отказался от хлороформа, потребовал трубку; доктор дал ему громадную. Страдальцу отрезали одну ногу — он и не простонал. Начинают резать другую. Солдат только затягивается табаком. Были при этом и сестры милосердия. Молоденькая не выдержала, уж слишком подействовало на нервы. Начинает рыдать, ее останавливают.

— Ведь это на раненого скверно подействует... Молчите.

— Не замай! — солдат вынимает трубку изо рта. — Известно, ее бабье дело — пущай голосит!..

До того это было неожиданно, что все, несмотря на тяжелую обстановку всего окружающего, улыбнулись.

— Отчего это ты отказался от хлороформа?.. Ведь легче было бы.

— Нам нельзя этого.

— Почему же?.. Ведь все так делают...

— То все... А мы на особом положении, мы скобелевские!

Раз отряд снимался с караула, чтобы идти в рекогносцировку, донец останавливается и раскрывает подушку своего седла. (У донцов в этих подушках все их боевое имущество.)

— Чего ты?.. — недоумевает сотник.

— Да вот, новый мундир выну, все лучше умереть в новом-то.

— Зачем новое-то портить?

— Да как же, ваш-сбродие... Вон генерал говорит: каждый в бой, как к причастию должен идти... И сам он всегда в новое одевается... Невозможно...

В скобелевском отряде заботились не только быть храбрыми, но и красивыми в бою. «Надо везде и показом брать!» — говаривал он. На показную сторону даже солдаты обращали внимание. Тот же самый донец, одевавшийся во все новое перед боем, не успел еще договорить своего ответа сотнику, как вдруг ему — шальная пуля в живот. Раны такого рода смертельны и мучительны. Везут на перевязочный пункт. В это время главнокомандующий объезжает позиции.

— Ваше высокоблагородие! — обращается он к офицеру, тоже раненому.

— Чего тебе?

— Чего бы мне ответить получше великому князю, когда он спросит меня? — заботится раненый...

За своих Скобелев всегда стоял горой... Их участь положительно была больна ему. Эта армейская молодежь, беззаветно верующая в дело, беззаветно смелая, стала для генерала семьей, даже ближе семьи, если хотите.

— Я их не брошу и не оставлю никогда, — говорил он... — Они все на моей душе теперь... Так работать, как они, — почти невозможно.

— Ну, им и отличий больше!.. — замечали другие при этом... — Будет с чем домой вернуться.

— Ну, что ж. Кто из них и останется целым, вернется домой, что толку? Какая у них будущность? Папенек, маменек, титулованных родственников нет. Самые счастливые выйдут из службы с пансионом в 350 рублей или попадут в становые пристава... А ведь какая это честная и даровитая молодежь!

И действительно, близ Скобелева и типы вырабатывались совсем особые.

Вот, например, хорошо образованный солдат. Он не хочет держать офицерского экзамена. Почему бы, думали вы?

— Разве позорно быть солдатом? По-моему — это великая честь, я и остаюсь им.

Штаб, канцелярия скобелевской дивизии — в ста шагах от неприятеля, дни и ночи жили в траншеях. Писаря под огнем!.. Я уже в «Годе войны» рассказывал много об этом, теперь поневоле приходится повторять многие из этих эпизодов.

Вот, например, вольноопределяющийся рядовой Иванченко. До войны за год он был воспитанником классической гимназии в Москве. Ему только что наступило 15 лет, когда, увлеченный сербским делом и зная, что его так не отпустят, он бежал от греков и латинян, без паспорта пробрался через австрийскую границу для того, чтоб в Лемберге узнать об окончании войны. Что ему было делать? Назад возврата нет, да и семья примет крайне не ласково. Мальчик еще, он принимается за сельские работы, поступает к какому-то русину и в поте лица зарабатывает хлеб свой. Потом он попадает в Румынию к нашим старообрядцам. Они его делают у себя учителем русского языка. Дают ему избу, кормят, дело идет так хорошо, что у Иванченки оказывается уже тележка и лошадь. В это время начинается война с турками. Иванченко продает все, продает телегу, лошадь

и определяется добровольцем-солдатом в румынскую армию. Вместе с румынами он участвует в гривицких делах, ходит в секреты, наконец, там ему становится невтерпеж. Румынские офицеры так грубы со своими солдатами, что наши армейцы — идеал вежливости сравнительно с ними. Притом же Иванченке, как добровольцу, отпускается не пища, а по франку в день, и притом отпускается на бумаге, а не в действительности. Не умирать же с голоду. Явился в 16-ю дивизию к Скобелеву.

— Я есть хочу! — обращается он к генералу. — Возьмите меня к себе в дивизию.

— Ну, вот что, я вам дам денег, отправляйтесь к родным домой.

— Значит, тогда прощайте.

— А что так?

— Потому что я драться хочу более, чем есть... Останусь в таком случае с румынами.

— Что же мне делать с вами?

— Возьмите к себе.

— Да как же взять-то? Ведь вы числитесь в румынских войсках.

— Вашему-ству стоит только захотеть.

Тот его и определил в Углицкий полк. С полком мальчик неразлучен и в траншеях, и на турок ходит, и с солдатами недавний классик чувствует себя как нельзя лучше... Его очень любили и берегли. Встречается опять со Скобелевым.

— Ну, послушайте, миленький... Я вас хочу домой отправить. К родным.

— Они меня не примут.

— Я вам дам средство кончить курс. Назначу вам стипендию.

— А я сбегу все-таки и опять сюда... Ведь из классической гимназии Скобелевым не выйдешь.

Так его Скобелев и оставил в походе...

Еду я раз со Скобелевым по Брестовцу — навстречу офицер. Истомленный, усталый...

— Ваше-ство... Послан к вам.

— Обедали?..

— Нет... Послан к вам...

— Ну, едем обедать сначала...

— Помилуйте, я весь оборван!..

— У меня дам не будет.

После третьей Плевны идет Скобелев по Бухаресту. Поравнялся с офицером... Худой, в пыли весь, все старо на нем, отрепано...

— Какого полка?

Тот сказал.

— Что же вы здесь делаете?..

— Обедать приехал... Наголодались мы на позиции-то...

— Где же вы обедать будете?

— Да... не знаю... Совался я... Дорого, помилуйте... Невозможно даже... Да и как войдешь-то... в хороший ресторан стыдно и показаться...

— Вот еще. Чего же это стыдиться? Трудов да боевых, лишений?.. Пойдем со мною.

Берет того под руку, ведет к Брофту, угощает... Рекомендует знакомым.

Сытый и довольный выходит офицер... Придя домой, в жалкий отелишко, где остановился, — застает пакет от Скобелева.

«Обедая, вы позабыли около своей тарелки восемь полуимпериалов... Денег терять не следует. Посылаю их к вам!.. М. Скобелев».

Понятно, какое впечатление все это производило на молодежь.

Очевидно, что за любовь и Скобелев отвечал заботливостью. Кстати, один характерный факт: в скобелевских

траншеях, когда генерал проходил мимо, солдатам было приказано не вставать. Это возмутило скалозубов. Скобелев же объяснил просто:

— Солдату отдых нужен. Коли он будет вскакивать, так или генерал не показывайся на позицию, не живи с ними, или солдат вечно будет в устали...

Раздел XVI

В октябре 1877 года, побывав на левом фланге нашей Дунайской армии и объехав затем позиции Гурко вокруг Плевно, я встретил в главной квартире М. Д. Скобелева. Штаб его был расположен в Брестовце.

— Вы меня совсем позабыли... А Мак-Гахан приехал уже в Брестовец...

— И я буду на днях.

— Отлично... Я вот к «генералу» приехал, — указал он на отца...

Я сообразил, что отношения между ними колеблются требованием денег с одной и скупостью с другой стороны.

— Приехал и жалею... Его превосходительство сегодня не в духе...

— Ладно...

— А вы бы к старшим, генерал, относились попочтительнее... Вы знаете, что воинская дисциплина не допускает неуместных замечаний...

И оба расхохотались.

В Брестовец я выехал на другой же день...

— Где генерал? — спрашиваю я на улицах этого села, сплошь осыпавшихся гранатами с ближайших турецких позиций... Иной раз нельзя было выйти из болгарской землянки, чтобы у самых ног не шлепнулась пуля или не просвистел мимо ушей осколок разорвавшегося где-то артиллерийского снаряда.

— Где генерал?

— А вишь, перестрелка с левого хлангу идет!.. — заметил солдат.

— Ну?

— Значит, это он объезжает позицию.

Я поехал на огонь. Наши громили Крышино, из ближайших турецких траншей, действительно, били по Скобелеву... Били залпами. Указание довольно ясное,

где искать Михаила Дмитриевича. Действительно, смотрю, и оказывается, что с левого фланга нашего на белой лошади своей несется Скобелев, осматривая позиции. Мчится он не за цепью, а перед ней, не обращая внимания на град осыпающих его пуль... Издали уже я вижу фигуру генерала... Вот он остановился как вкопанный шагов за двести от ложемента турок. Лошадь не шевельнет ушами. Сам он высматривает турецкую позицию, а выстрелы неистово так и гремят оттуда...

— Что вы это напрасно подвергаете себя опасности! — заметил ему кто-то.

— Нужно же показать своим, что турки не умеют стрелять!

В сущности, он высматривает таким образом неприятельские позиции и потому всегда хорошо ориентирован и знает расположение турок столько же, сколько и свое...

В четыре часа мы отправились к нему.

Ак-паша, как называли его турки, белый генерал, занимал в Брестовце землянку. Там он спал и работал. Во дворе большой шатер, куда ежедневно сходятся обедать по сорока, по пятидесяти офицеров. Гостеприимство Скобелева не знало границ в этом отношении.

— А я жду теперь неприятностей из главной квартиры! — сообщал он.

— За что?

— Поддался личному впечатлению. Отдано приказание никого не выпускать из Плевно — ни турок, ни болгар...

— Зачем?

— А затем, чтобы еще тяжелее сделать положение осажденных... А тут из Крышина подъехало сорок подвод с ранеными христианскими женщинами и окровавленными детьми. Голодное все, жалкое... Они ревут, просят их выпустить из этого железного кольца, которым мы охватили город...

— Вы их, разумеется, и выпустили?

— На все четыре стороны... А теперь за это влетит.

— Почему же узнают?

— Вот! Я сам донес об этом.

И кстати, я вспомнил сцену, виденную несколько дней назад. Несчастную старуху, вышедшую из Плевно и попавшую на позицию другого генерала, по его приказанию гнали казаки назад в осажденный город нагайками.

Не успел я здесь пробыть и трех дней, как 27 октября вечером было получено из главной квартиры приказание занять первый кряж Зеленых гор и укрепиться на нем. Подробности и значение этого дела рассказаны в моем «Годе войны». Здесь же я заимствую из него только эпизоды, относящиеся непосредственно к Скобелеву.

Приготовления к делу начались с утра. Чистили ружья, перевозили поближе к батареям снаряды, собирали как можно больше шанцевых инструментов, солдаты переменяли, по стародавнему обычаю, белье, надевали на себя все, что имели лучшего. Начальники обходили свои части, приготовляя их к не совсем обычному ночному бою. Большинство солдат были новички. За них боялись особенно. В офицерах тоже оказывался большой недочет, потому что убыль между ними еще не пополнена была, да и пополнить ее не из чего. Это особенно смущало. «Ах, где те, с которыми мы брали Ловец и плевненские редуты!» — поминутно повторял Скобелев... Большинство их лежало уже в чужой земле, другие томились в лазаретах — назад редко кто возвратился: или раны еще не залечены, или после ампутаций пришлось уйти на родину калекой. Многие из нынешних офицеров были еще внове, их не знали вовсе, на оставшихся старых боевых товарищей смотрели с сожалением. Первыми пойдут в бой, показывая пример, первыми, разумеется, и лягут. Со стороны в Брестовце и лагерях не было заметно ничего особенного.

Также целый день играла музыка, а в Углицком полку с утра заливался хор песенников... День начался холодный, сырой и мрачный...

В четыре часа Скобелев выехал из Брестовца, по своему обыкновению одетый с иголочки, свежий, даже раздушенный. Тонкая фигура его на белой лошади, действительно, производила сильное впечатление в этот серый день, когда кругом до такой степени густился туман, что в полуверсте деревья казались какими-то смутными пятнами, точно там еще гуще лежала мгла. Скобелев тогда составлял для меня загадку. Неужели в этой железной груди нет места страху, опасениям, тоске, охватывающим каждого перед боем? Я обратился к нему с прямым вопросом.

— Жутко, разумеется. Не верьте, кто скажет вам иначе...

— Знаете, — продолжал он потом, припоминая разговор за обедом с английским полковником Гавелоком, — теперь не время рассуждать, критиковать, отчаиваться... Вы говорите — талантливым людям беречь себя следует... Умирать надо — и мы умрем с радостью, лишь бы не срамили России, лишь бы высоко держали ее знамя! Хорошо умереть за свою родину... Нет смерти лучше этой...

В серой мгле какие-то темные массы... Подъезжаем ближе — бараки-землянки, стоги сена... Перед ними стоят в боевом порядке роты и батальоны... Видишь только передних, позади все уходит в туман. Лишь бы не заблудиться, а то погода самая благоприятная. Можно подойти на сто шагов к неприятелю незамеченными, броситься «на ура» и еще двадцать шагов пробежать до первого залпа оторопевших турок. А в восьмидесяти их пули уже менее грозны, все полетят над головами. От них больше вреда будет дальним резервам, чем атакующим частям. Прямо перед нами взвод охотников. Эти вызвались первыми броситься в турецкие шанцы и при поддержке стрелковой цепи переколоть неприятеля. Всматриваюсь в лица

охотников, этих заведомо отчаянных людей — и ничего в них сурового, грозного, воинственного. Простые, серые, солдатские лица, некоторые с наивной улыбкой, все — доверчивые... Охотники вытянулись, провожают глазами генерала. Один старается особенно — а на смерть идет... Видимо, хочется ему, чтобы на выправку его внимание обратили. Скобелев гладит его по лицу — солдатик вполне доволен. Генерал проезжает по рядам, разговаривает с ротами, именно не речи произносит, не ораторствует, а разговаривает.

— Ну, что, братцы... Как пойдем сегодня?..

— Постараемся, ваше превосходительство!

— Не осрамитесь?..

— Зачем же... Мы рады, ваше превосходительство...

— Помните, братцы, одно — не зарываться. Мы не Плевно брать идем, а только выбить турок из их траншеи и занять ее... Поняли?.. Следовательно, дорветесь вы до траншеи и садитесь туда...

— Постараемся...

— Ну, то-то... Помните, что тут не в храбрости, а в послушании дело. Сказал тебе начальник: «стой» — так хоть и желалось бы погнать неприятели дальше — ни с места... А турок бояться нечего...

— Мы их не боимся.

— Ну, то-то... Помните Ловец, как мы их били?

— Помним, ваше-ство! — бодро звучит из рядов.

— Помните, как погнали их, а?..

— Они от нас тогда всей ордой побежали, — отзывается улыбающийся солдат.

— Ты был тогда со мной... Из старых, должно быть?

— Я с вашим превосходительством и редуты эти самые под Плевно брал.

Тот только тяжело вздохнул в ответ.

— Ну вот, братцы, видите. Дело не трудное. Раз уже мы эту Зеленую гору брали... Наша была...

— И опять будет, ваше-ство!

Беседа, похожая на эту, повторялась в каждом батальоне. Скобелев узнавал своих старых боевых товарищей, припоминал с ними прежние атаки, просил солдат не забывать, что сегодняшнее дело не нападение на Плевно, а только занятие ближайших турецких позиций.

— Знаете, я ужасно боюсь за молодых солдат, — обращается к своим Скобелев. — Очень уж рискованное дело... Ночное, в тумане. Тут и старому, если он не привык, можно растеряться. Я не останусь, как хотел, в резерве, а сам поведу их... Ах, если бы здесь были туркестанские войска!.. Помните Андижан, Махрам?.. — спросил он у Куропаткина.

Старые боевые товарищи только переглянулись молча, но видно было по лицам, что при одних названиях этих мест целый рой воспоминаний возник у обоих... «Помните, как при начале кампании думали у нас о туркестанцах. Про меня говорили, что мне и батальона поручить нельзя. На офицеров наших свысока смотрели, а они первыми легли здесь. Где все эти Калитины, Федоровы. Поликарповы, Поповы? Кто в Эски-Загре, кто в Балканах зарыт!..»

— А все-таки хорошее время было! — закончил Скобелев.

Владимирский полк мы встретили, уже проехав с полверсты вперед. Он выстроился боевыми колоннами на скатах лощины, там, где должен был оставаться резерв. В тумане очень красивы были эти сомкнутые черные массы, молчаливые, ни одним громким звуком не выдающие своей близости неприятелю. Турецкие позиции не более как в шестистах шагах впереди. Мы тревожно вглядываемся в непроницаемую мглистую даль, с бьющимся сердцем ждем — вот-вот грянет оттуда первый выстрел чуткого часового, вся линия неприятельских траншей и ложементов

оденется негаснущими молниями залпов, и под градом пуль, с глухими стонами направо и налево, впереди и позади станут падать в этих неподвижных еще толпах безответные солдаты. На нас мог наткнуться разъезд или секрет неприятельский. Еще несколько минут — и присутствие нашего отряда уже не будет тайной... Красивое зрелище перейдет в настоящую драму и уж не до любования будет, когда длинной вереницей потянутся вниз носилки с ранеными, и в хриплых криках атаки, в кровожадном рокоте барабанов замрут предсмертные вопли умирающих.

Скобелев останавливается перед полками, снимает фуражку и крестится... Точно шелест пронесся в воздухе — крестятся офицеры и солдаты. Каждый читает про себя молитву... каждый уходит в самого себя... кто знает, может быть, некоторым не останется даже мгновения, чтобы, падая, обратить взгляд свой к этому серому небу, по которому теперь тяжело ползут низко нависшие тучи... Даже иностранцы поддаются торжественности этой минуты. Снимают шапки вместе с другими... В памяти почему-то неотступно встают картины далекого теперь прошлого. Родной дом, близкие и дорогие люди... Но это только минута.

— Стройся!.. — тихо звучит команда, и длинная цепь стрелков веером разбрасывается впереди... На лицах уже нет грусти, нет раздумья. В глазах у некоторых офицеров энтузиазм, команда звучит металлическими тонами, Скобелев уже впереди, красивая фигура его мелькает далеко перед цепью...

Высмотрел — вернулся... Что-то объясняет охотникам.

Я в этот решительный час опять внимательно всматриваюсь в лица охотников, этих людей, сознательно обрекающих себя смерти. Ищу в них одушевления — ничего не бывало! Такие же серые, заурядные, казенные лица. Некоторые смотрят растерянно, озабоченно, другие только

ждут команды и по обыкновению готовы ее исполнить, как и на ученьи. Ни одного выдающегося. Точно на часы в караул идут, а ведь, так сказать, «добровольцы»... Невольно думается, что же их тянет туда — первыми в огонь, в силу чего они вызвались принять на себя залпы и грудью встретить турецкие штыки?..

Цепь тихо двинулась вперед. Фигура генерала все больше и больше уходила в туман... Скоро мгла окутала и черные черточки рассыпанных стрелков. Стало смеркаться, по ночь еще боролась с серым маревом...

— Слава Богу! Турки не замечают нашего отряда... Я начинаю верить, что дело обойдется без больших потерь — шепчет кто-то около... Но как раз в эту минуту будит окрестность неуверенный, одиночный выстрел турецкого часового. Мгновение полного безмолвия... Сердце щемит... Другой выстрел — с другой стороны... Третий... Но все вразброд... Вот завязывается трескотня направо... но только с одной стороны... Наши не отвечают... По звуку выстрелов, по интервалам, по одиночности их видно, что турки еще не знают, в чем дело, а только насторожились, почуяли что-то такое... Точно люди стреляют не сгоряча, не желая предупредить противника огнем, а прислушиваясь и еще не отдавая себе отчета, куда и зачем они посылают свои молнии...

— Наши подошли, должно быть, уже близко.

— Не видать... Впереди серый неясный туман...

— О, Господи! — раздается чей-то вздох позади.

Выстрелы все еще вперемежку.

— Ребята, за мной!.. — с одного конца до другого металлически звучит где-то в тумане громкий голос Скобелева, покрываемый общим «ура» атаки, оглушающим грохотом словно разом вспыхнувших залпов неприятеля и раскатом барабанов. Значит, опять он там повел их, обрекая себя на первую пулю, на первую смерть... Мы ничего

не видим, но первые выстрелы уже обдали резервы горячим градом пуль... Несколько стонов замерло в общем стихийном шуме незримой атаки... Отдаем коней казакам и двигаемся вперед. Ничего на пути. Свищут пули, доносится отголосок битвы... Вон что-то выделилось от тумана. Ближе и ближе... Раненный в ногу солдат идет назад, опираясь на ружье... Кто-то около корчится на земле...

— Батюшки, не оставьте... Не бросьте, голубчики...

— Где Скобелев?

— Где? Лезом-лезет вперед... Что ему!.. Ен не боится.

Иной раз сквозь грохот битвы мы слышим одушевляющий голос Скобелева. Точно орлиный клекот носится где-то в высоте.

— Куда проехать на батареи? — раздается в тумане. — О, черт вас возьми... Да откликайтесь же, наконец, кто-нибудь... Как к батарее проехать?! — кричит кто-то. Фигура всадника на минуту вырезывается из тумана и пропадает уже позади... Посылают приказание батареям залпами начать артиллерийский огонь против турок.

Стрелковая цепь сделала свое дело. Она выбила турецкие аванпосты из нескольких ложементов, которые едва можно было различить в густом тумане и сумраке осенней ночи. Можно сказать, что на них наталкивались ощупью, так, что, например, когда весь ряд их был уже захвачен нами, посередине оказался один, незамеченный. Турки, разумеется, оттуда убрались назад. Промедли теперь маленький отряд охотников со своим резервным взводом, и дело обошлось бы нам очень дорого. К счастью, как только маленькие ложементы были захвачены цепью, из-за них выдвинулась партия охотников со Скобелевым и поодаль от нее взвод резерва. Всего их было по пятидесяти человек в каждом. Трудно представить себе, как часто у Скобелева большие дела совершаются ничтожными силами. Из ста человек, двинувшихся вперед на турецкую

траншею, по пятам за отступавшими турецкими аванпостами шло не более двадцати. Это — самые решительные; поодаль двигалось человек тридцать, считавших постыдным отстать от своих. А половина осталась в пространстве между аванпостными ложементами и турецкой траншеей. Залегла на землю и притаилась. Человек в этом случае делается очень глупым. Лежать тут гораздо опаснее, чем идти вперед. Практика настоящей войны вполне убедила нас, что главная опасность для атакующих частей является в трехстах шагах от неприятеля и далее. Ближе начинается мертвое пространство. Пули снопами летят над головой, вы слышите только их свист, жужжание, шипение, но можете даже не наклоняться. Разве случайная ранит вас. Все это знают, все это видели, но трусы все-таки ложатся там, где пули падают, и не решаются идти туда, где они менее вредят. Это просто паника, когда человек теряет голову. Охотники бросились на неприятельскую траншею и в первый момент одним криком «ура» выгнали оттуда турок. Оставшихся прикололи, потому что при сравнительной слабости партии очень опасно было брать в плен. Выбежав из своего закрытия, турки бросились врассыпную. В это время отставшие части стали одиночками подходить сюда, и по бегущим открыли сначала пальбу залпами, а потом непрекращавшуюся пальбу рядами. Охотники быстро вошли во вкус. Известно, что как скоро возникает паника, так же скоро она и исчезает; между людьми, лежавшими еще недавно позади своих товарищей, нашлись такие, которые теперь бросались из траншеи в погоню за беглецами, настигали их у следующего ряда турецких укреплений и там уже били в упор, мало заботясь, что, опомнившись, турки могут забрать их живьем. Позади атаковывавших частей, т. е. стрелковой цепи, партии охотников и взвода резерва, двигалось десять рот Владимирского пехотного полка. Они не должны были принимать участия

в наступлении, но тем не менее роль их была в высшей степени серьезна. Снабженные каждый шанцевым инструментом, они должны были как можно скорее вырыть траншею на том месте, которое еще ранее боя было определено на плане как крайний пункт наших будущих позиций. Траншея должна была вырасти на глазах.

Десять рот Владимирского полка привели сюда, расставили их в одну шеренгу по всей линии будущей траншеи, и в то время, как охотники со своим резервом, бывшие впереди, из наступления перешли в оборону и уже в свою очередь залпами отбивались от атакующих таборов турок, неистово стремившихся отнять назад важную позицию первого кряжа Зеленых гор, владимирцы нервно, быстро работали лопатами, с каждой минутой все выше и выше воздвигая перед собой серый окоп бруствера. Турки их в это время буквально осыпали свинцовым дождем... По яркой линии огня, в эту мглистую тьму прорезывавшегося вперед, они видели, что в наступление перешли значительные силы врагов. Пули поражали людей, со злобным шипением уходили в рыхлую массу свежего окопа, жужжа точно пчелы, носились у самых ушей, сливая свои разнообразные звуки с глухими стонами раненых и пронзительными воплями неприятельской атаки — а работа все-таки шла не переставая.

Скобелев все это время находился впереди работающих.

— Он дерется как прапорщик! — говорили о нем в тот день.

— Зато не прячется как генерал, — замечали другие.

Никто не отдыхал, никто ни на минуту не оставлял лопаты. Многие работавшие шеренги не прерывались ни на одном месте. Только откуда-нибудь раздавался стон, и солдат, только что захвативши лопатой ком земли, падал в вырытую им яму — на его место сейчас же выдвигался новый; жертву боя санитары уносили назад, и работа опять

шла упорно, безотходно... Через час турецкая атака была так сильна, что, казалось, воздух мог бы раскалиться от этого сплошного дождя горячего свинца; направо и налево, впереди и позади падали такие густые массы, что на этом пространстве трудно было держаться чему-нибудь живому, но героизм и сила сделали свое дело. Пока проходил этот час, окоп рос, а в момент самого ожесточенного огня бруствер новой траншеи поднялся уже так высоко, что затомившиеся владимирцы могли, сложив свои лопаты, прислониться к нему и отдохнуть *в полной безопасности*. Дело было сделано, позиция для нас спасена... Уже в этот час, хотя все еще было в начале, мы могли торжествовать победу...

Между тем наш артиллерийский огонь тоже делал свое дело. С батарей правого и левого флангов у Брестовца, с радишевских и тученицких позиций, с Дернина и Медвена — громили турок.

Уже через час, когда насыпь была почти готова, от охотников прибежали назад сказать, что у них мало осталось патронов. На месте была организована доставка их; все время остального боя десять, пятнадцать человек проползали во тьме от строившейся траншеи на огни турецких залпов, отыскивали впереди наших охотников, снабжали их патронами и также ползком возвращались назад за новыми запасами. Благодаря этому почти всю ночь продолжалась перестрелка, не ослабевая, огонь поддерживался неустанно, и туркам ни разу не дали подойти слишком близко к отнятой у них высоте.

В два часа ночи турецкая атака особенно усилилась. К неприятелю подошли значительные подкрепления. Но наши были уже прикрыты бруствером новой траншеи. Стрелков вернули назад, и начался второй период боя, уже более правильный в смысле обороны.

Во втором периоде дела бой вела уже новая траншея. Против турецкой атаки, направившей теперь главные свои силы против нашего левого фланга, на строящуюся соединительную траншею, действовали сплошным огнем из-за бруствера десять рот Владимирского пехотного полка, остальные пять рот его были в резерве. Солдаты, стоя за валом, били выдержанными залпами. Волнение уже улеглось, горячки первых минут не было, ждали команды, и по ней верхний гребень бруствера точно разом вспыхивал снопами огня, озаряя на одно мгновение непроницаемую тьму.

Спросят, где же все это время был Скобелев? Там же, где и всегда. Сначала с охотниками, потом в траншее, лично командуя ее обороной. Во время самых жестоких атак неприятеля молодой генерал вскочил на бруствер и, весь в пороховом дыму, в перебегающем огне выстрелов, ободрял солдат. В минуты сравнительной тишины он проходил за траншеей, беседовал с владимирцами, следил за тем, как рос грозный профиль бруствера, посещал резервы... В один из таких обходов он заметил, что в центре новых траншей у Нечаева люди стоят слишком жидко. Лично распорядился послать ему еще роту. Пройдя направо, он обращается к солдатам:

— Смотрите, братцы... Сейчас опять станет наступать неприятель. Я буду на левом фланге. У меня стоять молодцами. Умирать на своих местах, но не уступать позиции. Слышите...

— Слышим, ваше-ство... Не беспокойтесь... Мы с Маневским! — раздаются в ответ голоса солдат.

Скобелев жмет руку Маневскому и идет дальше.

В это-то самое время наступил сравнительно момент тишины.

Скобелев, пользуясь им, скачет в Брестовец, чтобы послать оттуда донесение в главную квартиру главнокомандующему и в Тученицу — Тотлебену. Не успели еще

написать двух слов, как на Зеленых горах опять разгорелась перестрелка. Вскочив на первого коня, Скобелев перегоняет своих ординарцев, мчится назад, боясь за судьбу новой позиции. Весь путь осыпают пули. Ночью турки стреляют и в Брестовец, и в лощины за Зелеными горами. Пули ложатся налево и направо, шрапнели рвутся в высоте, но спустя несколько минут целыми и невредимыми они домчались до подъема на занятый сегодня кряж.

Вот что случилось в отсутствие генерала на Зеленых горах.

Турки стали бить анфиладными выстрелами по солдатам, которые только что начали рыть соединительные траншеи от главной к резервным. Две роты из новичков вследствие этого дрогнули, бросили ружья и давай Бог ноги. Это было не из передовых позиций — там в траншее отлично выдержали турецкую атаку солдаты Маневского и Нечаева, а, так сказать, из среднего промежутка между траншеями и резервами. Таким образом, когда впереди горел бой, вторая линия наша его не выдержала.

Только что начальство стало взбираться на скат Зеленой горы, как навстречу — расстроенная масса. Бегут врассыпную, во все стороны.

— Посмотрите, они бегут! — крикнул Скобелев.

И тут-то я удивился от души боевому психологу... Объятую паникой толпу не остановишь угрозами, еще пуще напугаешь, пожалуй.

— Здорово, молодцы! — крикнул им навстречу Скобелев.

Крикнул весело, радостно даже.

Те приостановились... Даже послышалось «здравия желаем», только вразброд... Не смело...

— Спасибо вам, орлы, за службу!.. Героями поработали сегодня.

Еще минуту назад растерявшаяся толпа стала подбираться, показалось что-то наподобие строя.

— Горжусь я, братцы, что командую вами. Таких молодцов еще и не было.

Беглецы совсем оправились уже. Строй — правильный... Видимо, очнулись.

Тут генерал делает вид, что только сейчас заметил у них отсутствие ружей.

— Это что ж такое? Где же ваши ружья, ребята?

Молчание... Солдаты стоят, потупившись.

— Где же ружья, вас спрашиваю!..

Тоже томительное безмолвие. Полная перемена декораций и у Скобелева.

— Вы это что же?.. Ружья кинули — трусы... Бежать — от турок... Позор, стыд! Сволочь вы этакая... Не хочу я командовать этакою дрянью... Вон от меня...

Солдаты совсем уничтожены. Стоят как приговоренные к смерти.

— Марш за мной!

Рота без ружей стройно идет за генералом, не перестающим честить их... Пришли на позицию, взяли ружья.

— За мной!

Вывел их Скобелев в промежуток между турецкой и нашей траншеей, в самое опасное место, выстроил и давай производить им ученье. Сам стал в наиболее подлом пункте — между ними и турками.

— На плечо!..

Команда исполнена, но неуверенно... Не стройно...

— Еще раз к ноге... На плечо!

Исполнено лучше.

— Еще раз... Вы у меня как на параде будете... На плечо!

Исполнено превосходно.

— На-краул!

То же самое.

Таким образом, он добился, что они под самым убийственным огнем исполнили все ученье как следует, с отчетливостью парада, и тогда уже он пустил их обратно в траншею.

Валы были уже готовы, но внутри могли помещаться только одни солдаты, работавшие их. Еще слишком узок был ров. Так что генерал, офицеры, начальник его штаба проходили перед траншеей, рискуя получить пулю в голову или верхнюю часть груди. В это время капитан Куропаткин замечает, что впереди, несмотря на приказание отступать, есть еще несколько стрелков, не решающихся идти назад. Он выходит перед траншеей.

— Капитан Домбровский! — зовет он к себе их командира. — Потрудитесь отвести остальных оттуда.

— Сделаю, что могу, — отвечает тот и поднимает руку к козырьку. В это мгновение точно что-то щелкнуло около Куропаткина, и Домбровский падает вниз без стона.

Подбегают к нему — пуля, ударив в висок, убила Домбровского наповал.

Через полчаса наш отряд мог заснуть спокойно. Соединительная траншея от траншеи Маневского к резервам была уже готова. Турки, повторив атаку в значительно больших силах, могли бы отнять левофланговую, нечаевскую траншею — это было бы уже неважно. Маневского и соединительная остались бы в наших руках. Опираясь на радишевский овраг, куда уже шли шуйцы, мы заснули спокойно... Бой на сегодняшнюю ночь был кончен. Турки, потеряв веру в возможность сбить нас с Зеленых гор, стали сновать со своими атакующими частями на другие наши позиции. Сунулись было на брестовецкий левый фланг — отбили их; массами, точно тучи, надвинулись на правый фланг и тоже бежали, оставив своих убитых и раненых. В обоих этих пунктах они были отброшены сидевшими в своих траншеях суздальцами. Кинулись было

на правофланговую батарею, но тоже из передовых траншей их встретили таким убийственным огнем, что турки не дошли даже и на пятьсот шагов.

Возвращаясь назад в тумане, мы чуть не заблудились. В нескольких шагах от себя ничего видно не было. Благодаря этому обстоятельству в руки наших солдат попалась турецкая кухня, которую везли с запасами вареной фасоли на позицию. Турок-возница спокойно приехал в наш отряд и давай кричать на солдат, чтобы они посторонились. Заметив ошибку, он было задергал вожжами, чтобы повернуть лошадей, но его уже обступили со всех сторон и с громким хохотом приступили к исследованию турецких котлов.

Раздел XVII

Сыро и туманно было утро после этой памятной ночи, в которую защитники только что взятых позиций не знали отдыха. Кончился бой — опять за лопаты. Работа продолжалась и днем. Нужно было уширить и углубить траншею, утолщить ее брустверы, особенно наверху, где турецкие пули пронизывали гребень, прорезать банкеты, на которые бы могли становиться часовые, а в случае тревоги и все дежурные части отряда. Приводились в известность наши потери, причем оказывалось, что из строя выбыло около 430 человек. Кто не работал, тот чистил ружья. Только немногие счастливцы могли заснуть на сырой и холодной земле, кое-как завертываясь в серые шинели. В семь часов еще было темно, а солдатам уже доставили горячую пищу. Сверх того, владимирцы в бруствере проделали маленькие ниши — печурки. Там раскладывались дрова, которые приходилось собирать под выстрелами, позади траншеи. Оттуда курились дымки и около огонька грелись зябнущие группы солдат, пока в манерках поспевал им чай. Для генерала в центре траншеи было выбито точно вроде скамьи небольшое пространство земли, в нарочно прорытой ямке. Сюда положили соломы и здесь именно, завернувшись в бурку, отдыхал Скобелев.

Ему, впрочем, спать не пришлось. Поминутно он вставал и обходил позицию.

Раз даже сам взялся за лопату и показал, как нужно обминать верх бруствера.

— Вот видите, — обернулся он ко мне. — Изучение саперного дела и пригодилось.

К полудню уже нельзя было узнать траншею. Внутри широкий ход. Трое могут идти рядом. Бруствер высок и толст настолько, что в середине его не пробьет граната. Ружья лежат не на гребне бруствера, а в нарочно для того

проделанных в нем отверстиях. Банкеты по брустверу всюду. На них под ружьем может стать целый полк. Самая траншея продолжена на версту и загнулась на правом и на левом флангах. Это египетская работа, сравнительно с малым временем, потраченным на нее. Тем не менее не довольствуются этим.

— Вдвиньте мне сюда батарею... Ради Бога, устройте поскорее для нее амбразуры и брустверы, чтобы завтра ночью мы могли уже приветствовать турок и отсюда гранатами... — торопит Скобелев Мельницкого, хотя солдаты сильно утомлены.

Мельницкий тоже устал до последней возможности, но сейчас же принялся за дело.

— Во сколько часов будет готово?..

— К полуночи.

— Нельзя ли поскорей... Я знаю, что, как только стемнеет, турки попробуют отнять у нас траншею... Встретить бы их картечной гранатой...

— Часам к десяти завтра постараемся...

— Какой унтер-офицер у вас будет заведывать работой?

— Митрофан Колокольцев.

— Покажите мне его.

Красивый саперный унтер-офицер был приведен к генералу.

— Это ты, голубчик, вчера под огнем рыл траншею?

— Я, ваше превосходительство.

— Ну, вот что, молодец. Если ты мне к завтрашней ночи кончишь батарею, а ночью перед нашим левым флангом выроешь небольшой ложементик, послезавтра я поздравлю тебя георгиевским кавалером!

— Постараюсь...

— Ну, помни же...

— Коли не убьют — сделаю.

— А убьют — так умрешь честно, за свою родину...

— Слушаю-с...

— Уж если Колокольцев взялся — так все будет сделано, — успокаивает волнующегося генерала Мельницкий.

Местность между нашей новоявленной зеленогорской траншеей и турецкими позициями представляет унылую полосу поблекших кустов, мелкого дубняка, сухой лист на котором падает при малейшем прикосновении. В нескольких пунктах высятся грушевые деревья, тоже совершенно голые. Этими деревьями стали пользоваться турецкие стрелки. Они забирались туда и сверху вниз прямо уже в траншее били людей, мнивших себя в полной безопасности. Наконец, это надоело нашим солдатам — они отправились на охоту «за дичью». Перепрыгнут за бруствер и подползают сквозь кусты к дереву. Только что турецкий стрелок наметит новую жертву в траншее и наводит на нее дуло своего «Пибоди», как из-за кустов гремит выстрел, и «дичь», ломая сучья, с глухим стоном падает вниз...

Вдоль траншеи вообще выросло уже много могил. Убитых зарывали тут же; читали над ними молитву, солдаты крестили свежевыкопанную яму — и затем от человека уже не оставалось ничего на божьем свете, ничего, кроме воспоминания да слез в далекой деревушке, где напрасно будет ждать семья своего радельца и кормильца...

Чем ближе подходил вечер, тем все становились беспокойнее. Офицеры постоянно выходили на бруствер, всматривались в сумерки, уже сливавшие дали в одну непроглядную мглистую полосу. Часовым было велено глаз не спускать с пространства перед траншеей. Унтер-офицерам приказано не спать и постоянно проверять часовых.

Скобелев несколько раз обошел траншею.

— Отнюдь не стрелять, — приказывал он. — Лучше скажи... Подходят турки — только приготовьтесь. Чем они

ближе, тем лучше. Дула держите ниже, чтобы по команде не бить ворон через голову, а прямо в неприятеля попадать. Без команды отнюдь не смей курка спустить никто. Вскочут турки на бруствер — тут-то и праздник, прямо на штыки их принимай... Не первый раз нам их бить, ребята!.. Ну, как ты станешь целить, если турки наступать начнут? — обращается он к часовому.

Тот взял прицел.

— Ну, в ворону и попадешь. Вот как нужно!

И он показал ему.

— Пожалуйста, гг. офицеры, объясните солдатам, как делать это, — добивался Скобелев.

Стрельба со стороны турок все усиливается и учащается. Солдатам иной раз и хотелось бы открыть перестрелку, да начальство строго следит за этим. Нервы у отряда напряжены. Несколько беспорядочных выстрелов со стороны наших часовых, и все вскочат на бруствер для бестолковой трескотни, воображая, что турки вот-вот близко и готовится нападение. Турки тоже подхватывают — и пошла писать. В результате — лишняя тысяча зарядов, усталь и — раненые.

Когда совершенно стемнело, Скобелеву доставили обед в траншею, тут же согрели самовар. Туман все густел и густел; шум шагов в траншее, говор замирали; зарево костров, разложенных тут, высоко отражалось во мгле осенней ночи. По этому отсвету преимущественно целили турецкие часовые...

Скоро стало очень холодно. Сидя на банкетах и опираясь спиной о бруствер, спали солдаты, точно на серой массе торчали серые выступы земляных горбин.

Впереди, по направлению к турецким позициям, в пятидесяти шагах еще можно различить кусты и деревья, — дальше только огоньки выстрелов в расстоянии двухсот или трехсот шагов обнаруживают присутствие неприятеля.

Когда в кустах слышится шорох, часовой настораживается. Минуту спустя оказывается, что это наш секрет перебирается или какой-нибудь зверек ползет подальше от этих беспокойных мест.

Темнее и темнее становилось... тише турецкая стрельба. Точно и им надоело... До меня доносится бред офицеров... Видно и у них расходились нервы после всех пережитых ощущений... «Стойко держись...» — шепчет кто-то... и опять тишина, точно все притаилось здесь, точно в этой траншее стоял я один в царстве мертвых... Потухли и костры, не шелохнется и сухой лист на дереве... Только часовые все пристальнее и пристальнее вглядываются в темную даль... Чу! Что-то словно шарахнулось за бруствером — и замерло опять... Нет, вот опять шорох... положительно слышны чьи-то крадущиеся шаги... Часовой встрепенулся и пониже, по направлению шороха, передвинул дуло ружья... Прислушиваешься с бьющимся сердцем, широко раскрытые глаза пристально всматриваются в туман и тьму.

— Не стреляй... — доносится шепот из-за бруствера, — свой... из секрета.

— Чего там?..

— Не стреляй... разбуди генерала... Турки выходят из своей траншеи, строются...

— К ружью! — грянуло позади.

Оборачиваюсь — Скобелев уже у бруствера.

— К ружью, ребята!.. На бруствер... Снять секреты!..

Генерал сквозь сон расслышал шепот, проснулся, вовремя подхватив последнюю фразу солдата, передававшего сведения о движении турок.

Суматоха на минуту — проснувшиеся солдаты стали на банкет и взялись за ружья. Головы их над гребнем бруствера. Точно в заколдованном царстве, все проснулось в одну минуту.

Раздел XVIII

Я знал, что сегодня будет атака, — шепчет Скобелев. — Смотрите же, братцы, молодцами стоять! Выдерживай его на близком расстоянии, стреляй по команде. Господа офицеры — к своим частям...

— ...Сунется враг на бруствер, в штыки принимай! Ну, как ты его встретишь? — обращается генерал к новичку.

— А вот! — и тот показал снизу вверх штыком.

— Молодец... Однако я боюсь, что турки могут прорваться где-нибудь, — говорит генерал Куропаткину. — Мы их, разумеется, выгоним, но на полчаса они наделают суматоху. Приблизить резервы...

Несколько минут еще — и точно ожили дали... Все, что впереди было погружено в мертвое молчание, загремело выстрелами. Турки обнаружили себя. По свойственной им манере, они и теперь подходят — стреляя.

— Сколько их?..

— По линии огня нужно определить, — и Скобелев высматривает таборы, стоя на бруствере.

Впереди во тьме дымится линия зловещих ружейных огней. На версту по крайней мере они растянуты... По густоте огня видно, что и в глубину наступающие части значительны, что это не развернутый строй, а сомкнутые массы подходят. Огни все ближе и ближе. Над головами у нас свистят, жужжат и стонут тысячи пуль.

Пули ударяются в валы и с шипением уходят в них, другие о деревья бьются... Будто кто-нибудь расплавленный свинец в воду льет, — точно такой же звук...

Чем тише наша траншея, тем неистовее трескотня у турок. Мы молчим и выдерживаем их ближе...

Турки уже видны близко. Линии их — шагах в семидесяти... При красном блеске выстрелов видны дула ружей и какие-то массы позади. С трескотней ружейного огня

сливаются ожесточенные крики «алла!»... Где-то на правом фланге у турок даже «ура» наше гремит...

— Батальон — пли!

Момент оглушительного залпа. Черный гребень траншеи на мгновение весь одевается в золотую кайму...

Залпы также слышатся и направо, и налево...

— Не давайте им успокаиваться. Пальба рядами! — командует Скобелев.

Вот заговорили картечницы. Вот грянули наши брестовецкие батареи... Турки из Кришина тоже отвечать стали... Несколько шрапнелей разорвало далеко впереди. Одна турецкая граната прямо в массы своих попала.

— Еще залп!

Опять треск, точно земля рушится под вами. Но сегодня турки удивительно настойчивы. Они уже в сорока шагах. В рядах их смерть, а они все идут вперед... Положение становится серьезным. Скобелев вскакивает уже на бруствер и командует обороной траншеи. Точно ореол для него — эти огни залпов и их отсветы, защитники траншеи в дыму, озаренном красным блеском огня. Мимо них несутся тысячи пуль, некоторые у самой головы впиваются в бруствер, извлекая искры из его землистой массы... Голос Скобелева не смолкает ни на одну минуту. Он слышен и на правом, и на левом фланге траншеи. Он прямо в лицо врагу кидает свои бешеные звуки. Залпы становятся чаще. Какой-то хаос царит кругом, теряешь голову — и сознание отказывается служить тебе.

— Слава Богу! Отбили... — слышится около...

Всю ночь за бруствером по пространству, где шла атака турок, двигаются огоньки. Сначала было наши часовые встревожились и раздалось несколько выстрелов.

— Не сметь стрелять, разве вы турки! Они своих убитых и раненых убирают...

В семь часов в траншее, после утомительной ночи, солдаты приуныли. Во всем усталь и томление... Сыро, холодно. Пахнет кровью...

— Вот я их подбодрю! — говорит Скобелев.

И через час является оркестр Владимирского пехотного полка. Музыка в окопах, в ста шагах от неприятеля! Но если бы вы видели, как ободряюще подействовало это на утомленных солдат. Народный гимн аккомпанировался залпами наших батарей, перестрелкой часовых и громкими аплодисментами картечниц[16]. Только что он кончился, с конца в конец грянуло оглушительное «ура», в котором, точно в море, утонули и выстрелы ружей, и рев наших орудий... Потом — знакомые уже этому отряду звуки плевненского марша. Музыка сегодня играла до вечера, и с тех пор каждый полк является в траншею со своим оркестром. Сами солдаты стали просить музыки.

— Мы забыли войну, — говорит Скобелев. — Наши отцы были лучшими боевыми психологами и понимали влияние музыки на солдата. Она поднимает дух войск. Наполеон — бог войны — хорошо сознавал это и водил атаки под громкие звуки марша...

Немного спустя Скобелев отправился на другие позиции. Как только он показался у ложементов — турки сейчас же по Ак-паше открыли трескотню беспорядочных выстрелов. Генерал поблагодарил солдат за отбитые ими атаки, построил их и приказал выбрать двух наиболее выдающихся молодцов в георгиевские кавалеры. Когда в ложементе солдаты построились и указанные ими двое кавалеров вышли вперед, скомандовали «на-краул» и приказали горнистам играть «честь». Под аккомпанемент турецких выстрелов на солдат были навешены кресты, причем генерал заявил, что он начал с этого полка именно

[16] Выстрелы из картечницы похожи на аплодисменты.

потому, что он не принадлежит к его дивизии. «Своим он раздаст потом». Назад в траншею Зеленой горы было два пути: сравнительно безопасный, через Брестовец, мимо правофланговой батареи, и очень опасный, напрямик, как раз посредине между нашими и турецкими траншеями. Нечего было и сомневаться в том, что Скобелев выберет второй путь, воспользовавшись случаем осмотреть: не изменили ли и турки своих позиций. Когда мы вернулись в траншею, батарея была уже почти готова. «Сегодня ночью мы им покажем свои пушки», — радовался Скобелев.

В два часа ночи решили «показать неприятелю пушки». Из четырех орудий дали залп. Огнем его на минуту выхватило из тьмы и грозный профиль нашей траншей, и полосу поблекших кустов позади него... Зарево разрыва обнаружило также черные гребни турецкого бруствера. Картечь, по-видимому, причинила неприятелю некоторый вред, ибо залпы оттуда стихли и было заметно, что в центре турки отодвигаются назад.

Батарея, таким образом, была готова, и Митрофану Колокольцеву — саперному унтер-офицеру — следовал Георгий. Колокольцев честно под огнем сделал свое дело и уцелел только чудом. Генерал с утра спрашивал его — оказалось, что он послан в Брестовец. Скобелев вложил Георгия в пакет, на котором написал:

«В траншеях, 31 октября 1877 года.

Унтер-офицеру Колокольцеву, согласно обещанию, за распорядительность, мужество и храбрость, оказанную в деле с 29 на 30 октября. За Богом молитва, за царем служба не пропадет. От души поздравляю тебя, уважающий *Михаил Скобелев*».

Когда дописывался этот конверт, Колокольцев явился сам. Сейчас же были построены солдаты в траншее и под звуки «военной чести» полкового оркестра Колокольцеву надели Георгия.

— Ну, теперь позволь пожать твою руку! — обратился к нему генерал.

И Скобелев дружески протянул ее Колокольцеву. Когда уже с крестом на груди Колокольцев шел назад, сами солдаты в траншеях вставали и делали ему честь. На глазах у него были слезы.

Раздел XIX

На обоих флангах своих турки роются в земле. По направлению и характеру работ видно, что здесь собираются поставить батареи, чтобы приветствовать нас продольными выстрелами. Докладывают Скобелеву.

— Пускай ставят орудия. Все равно наши будут. Пойдем ночью и отнимем.

К вечеру началась опять гибельная работа наших батарей; брестовецкие и радишевские били по зеленогорским позициям турок. Пристрелялись отлично: почти не было бесполезных выстрелов. Вечером в нашей траншее слышалось торжественное «Отче наш» и «Коль славен Бог».

Пел весь полк, стоявший сегодня здесь. С его пением сливалось пение резервов на Зеленой горе и суздальцев в Брестовце. Ночь была тиха, и звуки разносились далеко в ее величавом безмолвии. Луна светила ярко, тумана не было. Ночью Скобелев пробовал свои орудия и картечницы, обстреливая турецкую траншею продольными выстрелами. Только что все было успокоились, неприятель ни с того ни с сего стал нас угощать залпами. Гребень их траншеи осветился весь красным заревом несмолкающего ружейного огня. Наш бруствер тоже оделся в золотую кайму. Ветром относило назад серые клубы дыма. Постреляли с полчаса — а толку никакого. Наши уже давно не отвечают, а турки все не могут успокоиться. Наконец и у них стала замирать перестрелка. Только несколько часовых со стороны неприятеля забрались на деревья и оттуда бьют прямо в траншею. Сначала в гребень стали попадать, потом ухитрились прорезывать тонкие люнеты гребня пулями, зарывавшимися в глину рядом с безмятежно спавшими солдатами.

— Должно быть, секреты плохо поставлены у нас, — слышен голос Скобелева.

— Почему?

— Одного убило... Их могут видеть турки. Нужно сейчас же найти другие места для секрета.

— Я сейчас пойду, — говорит Гренквист.

— Нет, этим уже я распоряжусь...

— Турки по вас начнут бить прицельно. Ведь тут расстояние до них самое малое.

— Пускай бьют.

И Скобелев со своими ординарцами перепрыгнул через бруствер. Сердце щемило за него. Вот-вот шальная пуля, которых так много носится теперь по всему этому пространству, положит конец этой блестящей жизни. И досада брала на молодого генерала. Точно без него некому развести секретов и выбрать им места. Нельзя же в самом деле все делать самому. Эти полчаса, которые Скобелев пробыл за бруствером под огнем, весь отряд провел в крайнем беспокойстве. Нечего и говорить, что мы сейчас же по всей линии прекратили огонь. Иначе и свои пули могли бы задеть генерала и его спутников.

— Ах ты, Господи! — мутило солдат. — Ну, как они уложут его, сердешного...

— Никто, как Бог... Бережет его — ну и цел...

— Заговоренный. Что ему!

— В Хиве, сказывают, заговорили.

По солдатской легенде «хивинец» девять дней и девять ночей возил Скобелева по «Хиве неверной» и заговаривал. Потом девять дней и девять ночей Скобелеву есть и пить не давали и все заговаривали, пока совсем не заговорили, так что пули проходят насквозь, не причиняя Скобелеву ни малейшего вреда.

Пока генерал разводит секреты, опишем его оригинальное жилье в траншеях.

Сегодня оно уже улучшено. Вырыта яма, в которой можно вытянуться во весь рост. Земля в ней убита очень

плотно. Из Брестовца перевезли кровать. Поставили стол и несколько табуретов. Крышу настлали из плетня, добытого в соседней деревне. На плетень навалили соломы, на солому — землю. Передняя часть крыши открыта, и через отверстие в землянку залетают пули. Кто-то доставил сюда железную печку, к которой мы ночью приходили греться, когда уж слишком пронимало холодом. На столе карты, планы и бумаги. Скобелев почти не отдыхал. Он во время, свободное от турецкой атаки и наших работ, или читает, или пишет. Как не похож он на тех воинственных генералов, которые обыкновенно устраиваются с полным комфортом, верстах в десяти за линией огня, и если приезжают в свои дивизии, то в нарочито спокойное время. Перед землянкой, в более широком месте траншеи, на холоде ежились все мы: ординарцы Скобелева, штабные из главной квартиры, начальник штаба Куропаткин, полковник Мельницкий. Сегодня на этой высоте семь градусов. На мое счастье мне уступили бурку, а то пришлось бы мерзнуть. Да и в бурке коробит от холода. Солдаты сидят у огней и греют руки.

— Знаете что, господа? — слышится в темноте чей-то голос.

— Кто это говорит?

— Давайте отучим генерала рисковать собой.

— Как его отучишь?

— А вот заметили вы, что он терпеть не может, если рядом с ним в опасных пунктах выставляются и другие.

У Скобелева действительно есть эта черта. Рискуя собой, он всегда заботится о безопасности других.

— Всякий раз, как он выставится на банкете, либо за бруствер уйдет — сейчас же давайте и мы с ним гурьбой.

— Чудесно!

Скобелев не заставил себя ждать. Он вернулся оттуда, из-за бруствера, расставив наши секреты. В эту минуту

разгорелась перестрелка, и генерал выставился над бруствером, как раз против неприятельского огня. Вокруг сейчас же образовалась целая толпа: ординарцы, штабные, офицерство все тут было.

— Что вы, господа, стоите тут... Пули дожидаетесь, что ли? — обращается к ним Скобелев.

— Мы имеем честь находиться при вашем превосходительстве, — отвечает один из ординарцев, прикладывая руку к козырьку.

Понял и расхохотался.

Повторили другой и третий раз — и Скобелев, пожимая плечами, должен был сходить с бруствера.

Скажут, что человек бравирует. Это, разумеется, так, но все-таки делается не без толку: началась стрельба у неприятеля, и он хочет по линии огня узнать, какими силами тот располагает. Доносят ему о работах у турок — лично убеждается, что они предпринимают. Другой бы положился на донесения своих подчиненных, он полагается только на себя и на свой глаз.

Раздел XX

На сегодняшний день была назначена раздача Георгиевских крестов. Больше всех получили саперы, потому что при занятии и укреплении Зеленых гор они оказали самые важные услуги. Потом следуют артиллеристы скорострельной батареи картечниц.

Вслед за тем разыгрался совсем неожиданный эпизод, который произвел на солдат сильное впечатление. Надевая кресты Владимирскому полку, Скобелев дошел до унтер-офицера одной из рот, дрогнувших в памятную ночь 28 октября.

— Извини меня, но я не могу дать тебе Георгия!..

Того ошеломило... Потемнел весь, бедняга.

— Ты, может быть, и заслуживаешь его, пусть тебя ротный командир представит к именному кресту. Но пойми, что теперь я раздаю ордена людям, выбранным самими солдатами. А имеет ли право выбирать твоя рота, которая хотя потом и поправилась, но вначале осрамила себя отступлением? Как ты думаешь, можно позволить трусам присуждать Георгиевские кресты?

— Никак нет... Нельзя, ваше превосходительство...

— Так ты уж извини меня, а креста я тебе не дам.

Потом наступил черед тех рот, которые в ночь 28 октября бежали, бросив работу на соединительных траншеях.

— Я их не хочу знать, передайте им это. Слышите?

— Слышим, ваше-ство.

— Я не считаю их своими... Я не буду здороваться с ними. Я не хочу замечать их... Они опозорили ваш славный полк, который так доблестно дрался под Ловцем... Помните эту битву?

— Помним! — грянуло со всех сторон.

— Передайте же им... Господин полковник, — обратился Скобелев к полковому командиру, — я вас прошу

раз навсегда сообщить офицерам: кто из них в деле будет оставаться позади — тому не место в моей дивизии... Пусть у меня отберут ее, а иначе я не хочу командовать, как таким образом...

Я забегу несколько вперед.

Скобелев после этого действительно не замечал опальных рот. Здороваясь с остальными, мимо этих он проходил молча и не глядя на них. На солдат это действовало.

— Долго ли это продлится?

— Когда мне нужно будет сделать что-нибудь смелое, где потребуются надежные люди, я возьму именно эти роты и убежден, что они пойдут за мной всюду. Ну, потом расцелуемся и всему конец... Это хорошая наука. После неудач наших я замечаю, что войска, особенно же пополненные резервами, совсем не те, что прежде. Их нужно опять воспитать...

В защиту этих рот нельзя было не привести того обстоятельства, что дело было ночное, в тумане, что резервами пополнены эти роты более других. Все обстоятельства были тут для неуспеха дела.

— Ведь именные Георгии выше голосовых?

— Да.

— Отчего же вы лучшим солдатам даете именно менее важные — голосовые кресты? — спрашиваю я у одного офицера.

— А вот отчего. Голосовой он получит сейчас и счастлив, а к именному представишь — ранее трех месяцев не утвердят, а в это время беднягу двадцать раз убить могут.

Сегодня Скобелев придумал, как обеспечить от неожиданного штурма свой отряд, именно: перед траншеей разбросать телеграфные проволоки. Турецкий телеграф кстати же остался тут. Пусть хоть эту службу сослужит.

— В франко-прусскую войну, — говорит Скобелев, — германские войска делали то же самое и результаты были

удовлетворительные. В самые темные ночи французы, подходя, путались в проволоке и шум ее предупреждал часовых об опасности.

Через час, когда я проходил по траншее, несколько связок проволоки лежало наготове.

На сегодняшнюю ночь, наконец, было получено разрешение произвести эспланаду.

Ночь скверная. Сырая, дождливая... Грязь — в грязи люди. На банкетах мокро — на этой мокроте сидим... Сверху брызжет крупными каплями. Бурку хоть выжми... Виноградные сучья в печурках, проделанных в массе бруствера, только дымят, не давая тепла и света. Чад так и стелется — дышать трудно... Часовые ежатся — солдаты привалились один к другому...

Часов в десять вызвали цепь, которая должна будет прикрывать наши работы перед бруствером.

В полном безмолвии темные фигуры поднялись на темную насыпь, в сером тумане ночи на одно мгновение мелькнули над бруствером с прямыми лилиями ружей, торчком черневшими в воздухе, и не успели мы еще вглядеться, как гребень был пуст... Минуту за бруствером слышался шорох, крадущийся, подбиравшийся точно к чему-то... Наша траншея погрузилась в мертвую тишину. Приказано было не отвечать туркам. Сегодня вообще не желательно вызывать их. Позади, шагах в двухстах от нашей траншеи, роется и возводится редут. Если начнутся бестолковые залпы неприятелей — в траншею попадет немного, а в работающих позади — все. Я слышу звуки лопат и шуршанье взбрасываемой земли, только подойдя к самому редуту. Роют чрезвычайно тихо, так что послезавтра это укрепление будет не совсем приятным сюрпризом для турок, хотя оно и предпринимается с исключительно оборонительною целью. В темноте слышится нервный, недовольный голос Скобелева, он опять не спит всю ночь.

Рабочих для эспланады сосредоточили на том же левом фланге. Им следовало производить работу как можно тише. Так же тихо перевалили через бруствер. Сейчас же за бруствером начинались перепутавшиеся между собой кусты виноградников, чрезвычайно затруднявших движение из траншеи вперед, если бы мы предприняли его. Сверх того, этими кустами мог бы воспользоваться неприятель и подобраться к нам незамеченный. Тихий шорох работы скоро разгорелся. Мы отличали за бруствером и шелест осыпающейся листвы, и треск обламываемых сучьев, и стук лопат в перепутанную корнями почву, и скрип стволов под пересекавшими их ножами... Чем громче становилась работа в унылом молчании этой сырой и холодной ночи, тем тревожнее мы. Санитары были уже наготове со своими носилками. Тревога сообщилась всей траншее. Солдаты, в начале ночи спавшие, встали и, прислонясь к брустверу, следят за работой. Они сдержаннее нас... Разве только вырвется у кого-нибудь: «И чего они шумят, дьяволы!»

Шум работы, производимой эспланадой, точно все удаляется и удаляется от нас, ближе к туркам... Это еще страшнее. Тише у нас — громче туда, по направлению к этим, вероятно не спящим уже, таборам.

— Ну, теперь борони Боже!.. — вздыхает часовой... — Совсем, должно быть, подошли... Чуть ошибка — сейчас будет тамаша!

— Кто это сказал «тамаша»? — спрашивает в темноте голос Скобелева. Я не понимаю, как это он ухитряется оказываться везде.

— Я, — оборачивается часовой.

— Верно, из Туркестана?

— Точно так...

— Что же ты без Георгия... оттуда?..

— Два есть... — обиженно возражает часовой...

Скобелев не выдержал. Еще минута — и он перелезает за бруствер и присоединяется на той стороне к солдатам, уже подсекающим кусты в ста шагах от нас.

— Слава Богу, сегодня, кажется, все удастся... — слышится опять его нервный голос. Вернулся...

Но как нарочно, в эту самую минуту у турок, на их правом фланге, соответствующем нашему левому, участились выстрелы. Видимо, уже не один человек стреляет... видимо, тревога растет и расползается по всей их траншее... Вот залп... Другой...

— Ах, скверно... — слышится около.

На нашем бруствере показываются несколько фигур.

— Вы что? — встречает их Скобелев.

— С работы, ваше благородие... — не различают они его.

— Кончили?

— Нет... турки стреляют... нельзя... — говорят порывисто, задыхаясь. «Видимо-невидимо» турок... слышится стереотипная в таких случаях фраза начинающейся паники... Солдаты грузно опускаются в траншею.

— Вам страшно... Товарищи работают, а вам страшно... — злится Скобелев. — Стройся!

Перевалившие к нам солдатики строятся,

— Марш опять на работу, да живо, а то, вот вам Бог, пойду и перед турецкой траншеей произведу вам ученье... Вы меня ведь знаете...

Четверо или пять фигур идут опять через бруствер.

— Господа офицеры, следите за тем, чтобы люди делали свое дело как следует...

Немного спустя послышался стук топоров. На звуки их направились выстрелы турок. Еще немного — и на нашем бруствере опять целый ряд черных фигур.

— Ну, что?

— Все кончили отлично...

— Раненых нет?

— Ни одного. Перекличку сделали по пути. Эспланаду кончили, место очистили... Деревья порублены.

— Слава Богу. Спасибо вам, братцы! — благодарит их Скобелев.

Солдаты после удавшегося предприятия очень оживлены. Говорят, смеются. Но это только на минуту... Усталь берет свое, и траншея опять погружается в мертвое молчание... Рабочие как есть ложатся в грязь, дождик все чаще крупнее, плотнее завертываются в шинели, и без того намокшие... Стрелки, защищавшие рабочих, остались в ложементах за бруствером. Нам еще хуже теперь...

Оказывается, мы как раз вовремя вздумали строить землянки. Еще несколько таких ночей, и в отряде бы появились больные.

Солдаты после работы возвращались назад ползком, так что выстрелы турок все пронеслись у них над головами.

Раздел XXI

Туманное серое утро 2 ноября... Кажется еще холоднее, чем ночью. Все стало сегодня сумрачным. Солдаты принялись варить чай в манерках. Дым стелется по траншее и ест глаза — начали топить печурки.

Турки приготовили нам сюрприз. Шагах в ста от нас, в сером тумане выдвигается грозный профиль неприятельской траншеи. Земляной вал виден довольно хорошо весь, со своим зубчатым гребнем, с отверстиями для ружей. Вон у них часовой выставился весь. На сером фоне — серая фигура в шинели. Капюшон опущен на голову. Как близко...

Смело они приблизились своими земляными укреплениями к нашим траншеям. Скобелев волнуется. «Нужно наказать их за эту дерзость, — говорит он. — Да еще кстати и обезопасить себя на будущее время от подобных работ с неприятельской стороны. Став в такой близости от нашей траншеи, турки легко могли начать обстрел нашего отряда продольно. Фронтальный огонь их за бруствером безопасен, анфиладный мог бы вырывать у нас из строя ежедневно пятьдесят — шестьдесят человек».

Задумали опять ночную атаку. Но войска состоят преимущественно из молодых солдат. Ночное дело может их спутать. Генерал нашел средство сделать каждому солдату вполне понятным план атаки и все подробности предприятия.

Всем унтер-офицерам и фельдфебелям той части, которая должна будет идти ночью, приказано собраться на правом фланге близ митральез.

— Садитесь, ребята, вокруг, — приказал он им.

Я первый раз присутствовал при военном совете, составленном из дивизионного командира и его солдат!.. Судя по непринужденности последних, видно было, что это повторяется уже не первый раз, что они к этому

привыкли. И действительно, мне потом рассказывали, что перед всеми своими предприятиями этот генерал делает то же самое.

Вокруг Скобелева сели фельдфебель и унтер-офицеры Суздальского полка. Солдаты расселись потом кучками за ними. Все это вперило взгляды на генерала, все это жадно ловило его слова.

— Вот что, братцы. Ночью сегодня будет дело, и мне надо потолковать с вами, чтобы все вышло толком...

— Мы рады... — послышалось кругом.

— Я не доволен своей дивизией. Совсем она не та, что была прежде...

— Новых много! Пришли из России... Небывалые еще.

— Ваше дело, дело старых солдат, учить их...

— Приобвыкнут, ваше-ство.

— Ну, вот видите. Турки подошли к нашему левому флангу на сто шагов. Видели вы их траншею?

— Видели... Нет, не видели...

— Кто не видел, тому полковой командир покажет. Траншея их может сильно мешать нам, и потому надо их наказать, во-первых, за дерзость, а во-вторых, отвадить их от этого напредки.

— Как не надо... надо! Он нонче оттуда прямо к нам стреляет, ваше-ство...

— Ну, вот видите. Для этого я задумал вот что. Отряд, в котором и вы, унтер-офицеры, будете, ночью сегодня с барабанами позади должен пробраться к туркам. Дойти до траншеи как можно тише. За двадцать шагов крикнуть «ура», барабанщики забьют тревогу. Броситься в траншею, переколоть, кто попадется под руки, выгнать оттуда турок. Захватить их ружья... За каждое ружье я даю по три рубля сам, слышите?

— Слышим, ваше-ство!

— Вся сила турок в ружье. Они не солдаты. Отнял у него ружье — вред; убил ты его, а ружье им оставил — они и не почешутся. Сейчас же нового найдут... Как только заметите, что турки переходят в наступление и идут на вас большими силами — сейчас же за траншею и залечь за их бруствером с этой стороны. Отнюдь не стрелять — слышите? Когда начальник скомандует, тогда только бить залпами. Наступит их много — отступайте, но толково, медленно, отстреливаясь. Если же долго не будет атаки турок, то траншею их и зарыть можно... Если увидите, что идет табора два на вас, — подавайтесь назад, но тихо, стройно, отстреливаясь по команде, помните, что залпов да еще дружных он страсть не любит.

— Ему залпы за первую неприятность... — отзывается молодой солдат.

— Ну, то-то... Отступая, забрать не только всех раненых, но и убитых тоже, если будут. Помните, что если вы хотя одного там оставите, лучше мне и на глаза не показывайтесь. И видеть я вас не хочу...

— Зачем оставлять, ваше-ство.

— То-то, христианами[17] будьте... Поняли вы теперь мою мысль?

— Поняли.

— А ну-ка ты, повтори, что нужно делать? — обратился он к рыжему громадному унтеру, все время точно в рот вскочить к Скобелеву собиравшемуся. Тот повторил; оказывается, понял толково.

— Ну, а ты, что станешь делать, если турки наступать начнут?

И на это последовал удовлетворительный ответ.

---

[17] Очень оригинальное сопоставление христианства с только что отданным приказанием переколоть турок...

— Смотрите же, ребята... Вы должны быть молодцами; докажите, что вы те же молодцы, с которыми я Ловец брал и плевненские редуты.

— Докажем!

— Ну, братцы, может, кто-нибудь что сказать хочет?

— Я, ваше-ство! — выдвинулся молодой унтер-офицер.

— В чем дело?

— Выходить из траншеи через бруствер прямо нельзя. Турецкие секреты близко, они сейчас и заметят... Лучше мы с флангов выйдем и прокрадемся...

— Молодец! Спасибо за совет... — поблагодарил его Скобелев... — Не всегда только так делать можно!

— ...Ну, теперь, г. полковник, покажите пм турецкую траншею и всю местность от нашего бруствера до них. Только осторожно, из амбразуры. А унтер-офицеры потом объяснит солдатам.

— Я в первый раз в жизни вижу такой военный совет, — обратился я к Скобелеву.

— Иначе нельзя с толком делать дело. Я и тридцатого августа точно так же, перед взятием турецких редутов, поступил.

Когда мы шли назад, попался фельдфебель.

— Ну, смотри же... Чтобы все у тебя вышло чисто. Выбери надежных. Дряни с собой не бери.

— Татар позвольте оставить здесь.

Скобелев поморщился. Видимо, это предложение было ему крайне неприятно.

— Да разве ты на них не надеешься?

— Не надеюсь.

— Твое дело, только мне это куда как не нравится.

И действительно — его коробило ужасно...

— Да много их у тебя?

— Человек восемь...

— Ну оставь их... Экая гадость какая, с первого же раза недоверие показывать; а нельзя — дело рискованное, слишком рискованное...

Сегодня в нашей траншее музыка Суздальского полка. Она вместе с полком ходила еще недавно в атаки. Некоторые трубы прострелены — и Скобелев настоял, чтобы они остались такими же; как и пробитые знамена, они не должны меняться на новые...

Совсем темно уже... Мы замечаем, что туман, стоявший несколько дней и столь желательный для дела нынешней ночи, начинает рассеиваться. На небе мелькает несколько робких звезд, месяц прорезывается сквозь серебристый пар.

— Скверно...

— В десять часов нельзя начать... Нужно около двенадцати. Тогда стемнеет наверное.

Кашин, полковой командир, суетится больше всех.

Обходят траншею. Солдаты, которые должны идти, уже собраны в трех пунктах. Но еще одиннадцать часов, и очень светло. Туман, как нарочно, рассеялся...

Траншея погружалась в мертвое молчание. В лицах что-то тоскливое, приуныли люди...

И не поверю я, чтобы на душе у кого бы то ни было не было жутко. Скобелеву жутко, всем жутко. «Нужно» — потому и идут.

— Ну, ребята, пора... Смотрите же — молодцами... — слышится шепот Скобелева. — Теперь я посмотрю, как выходить лучше, через бруствер или с флангов.

И Скобелев перебирается через бруствер. Все тихо у турок, только обычные рассеянные выстрелы... Скобелев прошел через всю линию и вошел в траншею с левого фланга ее.

— Нет, через бруствер лучше. Ну, с Богом!..

Двадцать пять человек авангарда перебираются туда.

Часть отряда переходит бруствер в другом месте, остальные справа присоединяются к ним.

— Смотрите же, — дает последнее приказание Скобелев. — За бруствером выстроиться, идти в одну линию так, чтобы локоть к локтю был, чтобы солдат чувствовал своего товарища. (Как военный психолог, он понимает все ободряющее значение этого приема.)

Тихо все там за бруствером. Притаились они что ли. Становимся на банкет, вперяем взгляды в даль... нет, вот они — движутся вперед смутной линией... Минуты, мгновения или часы проходят?.. Вся душа перешла в глаза и в ухо... Только видишь и слышишь, чувствуя, что внутри все замерло.

— Урра! — неистово гремит в торжественном молчании ночи; «ура» — подхватываемое зловещим рокотом барабанов и моментально вспыхивающими там ружейными залпами, выстрелами...

— Урра! — И тут же обрывком, диссонансом доносится чей-то громкий, отчаянный стон.

Как и во всяком бое, часть отряда поддалась панике, отстала и назад лезет на бруствер со стонами и восклицаниями: «Батюшки, убили, голубчики, смерть!»

— Кого убили?

— Всех убили, всех, мы только вышли...

Другие просто молча пробираются назад и прячутся в траншею.

— Назад! — кричат им.

Но стоны делаются еще громче. Паника, как круг на воде, разливается по траншее. Солдаты соскакивают с банкета и кучатся внизу... В это же время более мужественные действительно дерутся и умирают там впереди.

Судя по этим вернувшимся людям, нам в первую минуту кажется, что дело не удалось. Сейчас нужно ожидать атаку неприятеля.

— На бруствер, молодцы! — бодро звучит команда Скобелева. — Встретим их, как следует русским. На бруствер, ребята! Ружья на прицел, стрелять по команде. Дула ниже!

Несколько выстрелов слышится из нашей траншеи, выстрелов без команды, со страху, панических.

— Кто там стреляет? В своих попадет. Наши там.

— Братцы, что же вы в своих-то? — слышится отчаянный крик за бруствером. Смятение в траншее на левом фланге сильное. На правом люди стоят молодцами.

Минуты проходят как мгновенья. Хрипло раздается команда. По всей неприятельской линии залпы. Несколько гранат уже разорвались позади нас. Вот шрапнель яркой звездой вспыхивает над нами.

— Ах, это уж не те! — вздыхает Скобелев...

— Напрасно, — останавливает его Куропаткин. — Правый фланг и центр траншеи в полном порядке...

Через бруствер лезет целая кучка.

— Куда вы? Трусы... — наскакивают на них.

— Да мы раненого несем, — сурово, злобно звучит ответ.

Действительно, в суматохе слышны болезненные жалобы и в душу проникающие стоны.

Раненого сносят вниз, но в это время по траншее для подкрепления левого фланга идет рота. Ей навстречу беспорядочная кучка только что вернувшихся, объятых паническим страхом солдат, слепо, без толку пробирающихся на правый фланг. Раненый ускользает из рук носильщиков и падает на землю. Масса проходит во тьме через него. На нем суетятся, топчат его. Из-под ног всей этой массы слышатся болезненные стоны, отчаянный вопль, мольбы... Но кому какое дело! Всяк рвется скорее добраться до места.

— Господи, Господи... — замирает внизу все тише и тише голос раненого; под конец он только хрипит, видно, силы нет кричать от боли...

А испуганная толпа, как река, несется через несчастного.

— Да есть ли в вас душа, дьяволы! — орет кто-то. Люди приходят в себя.

Паники этой на левом фланге было несколько минут, но они выросли в целые часы... Так живо отпечатлелась в душе каждая подробность этого ужасного эпизода... Прошли эти минуты — и порядок водворился всюду...

Только теперь вернулись назад те, кто действительно побывал в неприятельской траншее и сделал свое дело. Кашин — какой-то растерянный, без шапки.

Вот как все было.

Наступающие две роты за сорок шагов дошли до траншеи незамеченными. Тут часовые дали по ним два залпа. Они крикнули «ура» и смело бросились на бруствер. Турки разбежались направо и налево, точно отхлынули от нашей атаки. Солдаты, вскочив в траншею, перекололи в ней оставшихся и, согласно программе, захватив ружья, перешли опять через бруствер и залегли за ним. В это время один из командиров рот (в деле были две), Цытович, падает и опять подымается. Пуля прошла ему в ногу. Он под влиянием жгучей боли теряет на минуту сознание и инстинктивно идет назад. Его догоняет фельдфебель.

— Ваше благородие! Вернитесь, за вами вся рота хлынула. Отступают!

Цытович ничего не слышит...

Другая рота лежит и выжидает неприятеля. Только что он двинулся — встретила его залпом. Но таборы турок растут и растут. Точно туча выплывает из-за горизонта... Приходится отступать и этой роте. Все пространство между нашей траншеей и турецкой покрывается возвращающимися назад солдатами. Раненых большей частью подбирают. Двух убитых несут. Неприятель захватывает опять свою траншею — торжествующее «алла» его разносится по окрестностям. Залпы оттуда... Оказывается

раненным и второй ротный командир. Солдаты отступают медленно — отстреливаясь, чтобы удержать неприятеля от атаки с его стороны — это удается пока...

— Все ли раненые здесь?

— Двое, кажется, там остались.

Санитаров посылают за ними. Те покорно перелезают за бруствер. Раненых собирают...

Вернувшихся из огня солдат, натерпевшихся страху, отсылают в соединительные траншеи. Турки, наверное, перейдут в наступление и очень энергичное, а раз уже побывавшие в огне и отступившие войска только распространяют панику между защитниками траншеи.

— Ну что? — набрасываются на Кашина, когда он показывается в траншее.

— А вот! — и он к самому носу вопрошающего поднес рукав своего мундира — простреленный.

— А рука сама цела?

— Рука цела... Ах, подлецы!

— Да кто подлецы?

— Нет, где моя шапка? — хватается он за голову.

— Напрасно вы думаете, что дело не удалось, — слышится в стороне чей-то хладнокровный голос. — Солдаты исполнили все, что им было приказано. Ворвались в траншею, перекололи, кого застали там, взяли несколько турецких ружей и вернулись назад. Ведь в этом и была суть Сегодняшнего предприятия.

— Я боюсь за левый фланг и иду туда! — слышится голос Скобелева.

Куропаткин принимает на себя правый, в центре распоряжается Мельницкий. Траншея уже в порядке. Солдаты оправились — ждут. Мы в одном ошиблись. Хотели наказать турок — и вызвали их решительную атаку... Видимо, они готовятся броситься на нас с превосходными силами. Таким образом, мы сегодня наказываем их своими

боками и, если они одолеют, то поплатимся вновь приобретенными позициями... Сейчас должен решиться вопрос — кому будет принадлежать первый кряж Зеленых гор.

Густой огонь турецких выстрелов все ближе и ближе.

Турки идут на нас в атаку со всех сторон.

Силы их громадны...

Стройных, красивых атак я не видал. Все это делается в величайшей суматохе. Кучка решительных людей идет вперед, остальные мечутся, снуют, бегут назад, поселяя в резервных частях панику. В безобразном хаосе все делается как бы стихийно, само собой. Иногда сами атакующие думают, что дело потеряно, когда оно выиграно. Часто в траншеях позади громко бранят наступающие роты, судя по рассказам бежавших назад трусов, а между тем, в конце концов, предприятие оказывается исполненным хорошо. Так точно и в ночь на 3 ноября. Где же тут изображения наших баталистов со стройными рядами солдат, красиво рвущихся вперед за картинно развевающимися в воздухе знаменами?

Не успели наши солдаты вскочить на бруствер — как на правом фланге, в сорока шагах, на левом — в шестидесяти — открылась линия неприятельского огня. С неистовыми криками, в количестве самое меньшее двенадцати таборов, турки ломились на нас. Ломились беспорядочной массой, осыпая нас тысячами пуль, точно рои пчел, жужжавших над головами. Огонь был так силен, что освещал не только дула, но лица и линии неприятельской атаки. Одновременно с этим показали себя и кришинские пушки. С пронзительным стоном перелетали гранаты и рвались далеко позади, там же лопались в высоте и шрапнели, вспыхивая красными огнями над погруженными в мрак лощинами... Только одна граната лопнула против нашей батареи, между ней и бруствером, выхватив из траншеи шесть жизней... Признаюсь, в тот самый момент, когда я

ждал беспорядочной защиты, суматохи, судя по недавней нашей атаке, солдаты в траншее поразили меня изумительной правильностью действий. Что значит разница между нападением и обороной. Те же самые, которые бежали тогда назад в паническом страхе, теперь хладнокровно стояли на банкетах бруствера, выдерживая *на себя* неприятеля.

— Ребята, не стрелять без команды... Возьми дула ниже... — слышались позади приказания офицеров.

Неприятель близится. Мертвое молчание нашей траншеи точно не наводит ужаса на таборы. Сам Осман-паша здесь. Слышатся приветственные клики низама и ободряющее властное слово. Огонь турецких выстрелов выдает эти таборы, освещая даже массу атакующих. Они вот-вот здесь у самой траншеи. И жутко стоять тут лицом к лицу, но ноги точно приросли, не хочется сойти назад за бруствер.

— Рота-а-а — пли!.. — так и село у меня в ушах. Оглушающий треск залпа...

— Рота-а-а — пли! — слышится правее, и такой же грохот там.

Команда точно удаляется от нас к флангам.

— Заряжай, ребята, скорее!

В сером пороховом дыму я вижу нервно, порывисто работающих солдат. В течение шести минут оттуда, где стою я, уже четыре залпа пустили прямо в лицо турецкой атаке — вдруг новые команды, но в ответ слышатся рассеянные, одиночные выстрелы.

— Это что?

— Да экстракторы не действуют, — жалуется один из солдат.

Ружья Крнка показали себя. После четвертого выстрела — щелкает, щелкает солдат экстрактором — патрон все

сидит себе в дуле. Нужно выбивать его шомполом. И теряется в самую горячую кипень масса дорогого времени.

Атака на правом фланге подошла к нам на двадцать шагов. Но тут уже не роте, а целому батальону скомандовал сам Скобелев:

— Батальон — пли!

И тысяча выстрелов слилась в один оглушающий хаос; тысяча пуль из хорошо положенных дул вырвала десятки и сотни жизней в неприятельских таборах. Момент молчания, затем только стук экстракторов... Громкие стоны и вопли впереди, во тьме перед траншеей, и точно вся местность всколыхалась там... Топот, крики, удаляющийся шум людной кассы... Атака отбита... Но не надолго... Не прошло еще и пяти минут, как мы слышим опять впереди движение лавины шагах в ста, останавливающейся перед нами.

— Их строят для нового наступления. Я боюсь одного, чтобы они не прорвали где-нибудь траншею. Положение серьезно, может быть, придется лично защищаться каждому. Советую вынуть револьверы, — говорит нам Скобелев шепотом.

Мы это и делаем. Нервное волнение растет, с лихорадочным нетерпением стараемся рассмотреть, что такое впереди за черной линией бруствера. Унылые рожки турок запели свои сигналы, и во тьме вспыхнула опять густая полоса ружейного огня... Полоса эта все ближе и ближе... Но она движется гораздо скорее, чем в первый раз, видимо, что турки хотят взять стремительностью натиска. У нас с глухими стонами падают люди вглубь траншеи с брустверов... Раненых окажется много. Прямо навстречу мне идет кто-то, шатаясь как пьяный... Уже лицом к лицу различаю я солдата, схватившегося рукой за грудь. Точно он хочет удержать в ней что-то... А сквозь прижатые к груди пальцы струится нечто, кажущееся ночью черным... Он даже не стонет...

Скобелев проходит мимо... Залпы наши идут стройно... Атака турецкая и на этот раз отбита. Я отправляюсь за генералом.

— Сегодня они, очевидно, задались целью выбить нас... Они еще никогда не нападали так настойчиво... Сейчас, верно, начнется третья атака... Ай!.. — схватывается генерал за бок. Я услышал перед этим только звук, точно что-то шлепнуло около.

— Что такое, что с вами?.. — заговорили все.

— Тише... Меня сильно задело... — Скобелев прижимает ладонь к боку... Мельницкий подхватывает его.

— Оставьте... Разве можно?.. Солдаты видят... — шепотом говорит он. — Здорово, молодцы! — особенно громко приветствует он солдат... — Поздравляю вас, славно отбили атаку!

— Рады стараться! — слышится с бруствера.

— Смотрите же, честно стоять!.. Послужите, братцы, России! И еще бросятся — и еще отобьем. Ведь турки — сволочь, ребята.

— Точно так, ваше-ство!

— Ну, то-то же... Чего их бояться...

— Вы ранены? — подбегает Гренквист...

— Ваше превосходительство!.. На свое место!.. Что бы ни случилось, ребята, — дружно стоять, держись один другого. Помните — умереть на местах и не отдать траншеи... Вся Россия смотрит теперь на нас...

— Ура! — вспыхивает около Скобелева и гулкими перекатами разносится по флангам.

— Ах, как больно, однако, — шепчет Скобелев под этот крик.

— Идите в землянку скорей.

— Нет. Весть, что я ранен, распространится по всей траншее. Нужно идти на левый фланг. — И он отправляется туда ободрять солдат: «Сохраним это место для наших

братьев... Мы его кровью добыли. Не дешево оно нам стоит...» Минута была действительно торжественная. В эту ночь, будь турки посмелей и понастойчивей, они могли бы броситься в самую траншею, и нам каждому пришлось бы самому защищать себя лично. Разумеется, мы бы опять отняли траншею. Но чего бы нам это стоило?

— Не отдадим, ваше-ство! — слышится отклик.

Траншея была пройдена, мы все, наконец, вошли в землянку. При огне лицо Скобелева казалось слегка побледневшим. Снимают полушубок, Скобелев раздевается и...

— Да где же она?..

— Что такое?.. Кто она?

— Раны нет! — радостным голосом замечает Куропаткин.

— Как нет? — Кровь кидается в лицо Скобелеву.

— Так... Поздравляю с контузией! — громко выкрикивает кто-то.

Тут только Скобелев опускается на кровать.

— Но как больно было, как далеко отдалась, а я думал, что она оцарапала глубоко. Скорее одеваться. Болит, да делать нечего, нужно идти.

Мы осматриваем полушубок: оказывается, что пуля ударилась в правый бок, там где клапан застежки, отодрала его и, пробив полушубок, сильно ушибла тело. Контужен был Скобелев внутри траншеи, где спят обыкновенно, где считалось пребывание самым безопасным.

— Здорово, молодцы! Спасибо за службу! — через несколько мгновений уже звучал опять в траншее голос Скобелева под гвалт и треск новой атаки турок. Она теперь гораздо неистовее, чем в первые два раза, и направлена главным образом на фланги. Скобелев, Мельницкий и Куропаткин берут подкрепление и кидаются туда усилить их. Неопытные ротные командиры делают ошибку, торопят стрелять — от этого опять много возни с экстракцией ружья Крнка и огонь не так густ. В эту минуту я наблюдаю

в первый раз залп у турок. До сих пор они стреляли сплошным огнем, часто, но не залпами. Впрочем, это был из очень неудачных и больше не повторялся... Фитильные гранаты из гладкоствольных турецких орудий, как ракеты, взвиваются над нами, оставляя огнистый след в высоте... Турки переняли наше «ура» и выкрикивают его на своем правом фланге.

Еще несколько минут — и атака отбита. Неприятель уходит, чтобы не возобновлять ее сегодня, но из своих траншей бьет нас ружейным огнем. Все с томлением ждут утра. Всех мучит одна мысль — о потерях этой ночи. Хорошо, если выбыло человек двести... Только что рассвело, произвели поверку, и оказалось, что эта ночь стоила нам ста тридцати человек убитыми и ранеными.

Еще одни сутки я провел здесь — и на следующую ночь Скобелев был вновь контужен в плечо. Эта контузия в первый момент сшибла его с ног...

Зеленогорская траншея уже теряет для меня, как для корреспондента, интерес. Дело в том, что окончательно решена блокада и штурмовать мы ничего не будем. Все жертвы, принесенные здесь, оказались напрасными...

8 ноября я уехал в Бухарест — отдохнуть дня три-четыре.

Раздел XXII

Скобелев обладал редкой справедливостью по отношению к своим подчиненным. Он никогда не приписывал себе успеха того или другого дела, никогда не упускал случая выдвинуть на первый план своих ближайших сотрудников. Всякий раз, когда его благодарили, он и в частном разговоре, и при официальных торжествах заявлял прямо:

— Я тут ни при чем... Все дело сделано таким-то...

Несколько раз он при подобных случаях прямо указывал на Куропаткина как на виновника данного успеха, и в самых сердечных выражениях, так что никому не приходило в голову, что это только скромность победителя...

— Я вам, братцы, обязан! Это вы все сделали... Мне за вас дали мои кресты! — говорил он солдатам, и не только для того, чтобы воодушевить их...

Он действительно верил в громадное значение солдата...

— Генерал может только подготовить свой отряд, дать ему боевое воспитание, затем выбрать позицию и наметить первые моменты боя... Потом вся его роль — в массировании войск, в сохранении резерва наготове. В каждом сражении ставят момент — стихийный. Тут уже никто ни при чем. Можно подавать пример личным мужеством, находчивостью, но это и каждый офицер тогда может и должен!.. Действует масса — она идет, она как-то бессознательно выбирает направление, она крушит неприятеля, она выигрывает победу... И зачастую генерал здесь уже ни при чем.

Все время после занятий Зеленых гор, вплоть до падения Плевно, Скобелев дружится и, как говорят, на короткую ногу сходится со своими солдатами. Да и не со своими, с чужими также. В этом не было заискивания популярности, нет. Его органическая потребность тянула его к солдату,

он хотел изучить его до самых последних изгибов его преданного сердца. Он не ограничивался биваками и траншеями. Сколько раз видели Скобелева, следующего пешком с партиями резервных солдат, идущих на пополнение таявших под Плевно полков. Бывало, едет он верхом... Слякоть внизу — снег сверху... Холодно... Небо в тучах... Впереди в белом мареве показываются серые фигуры солдат, совсем оловянных от голодовки, дурной погоды и устали.

— Здравствуйте, кормильцы!.. Ну-ка, казак, возьми коня!

Скобелев сходит с седла и присоединяется к «хребтам». Начинается беседа. Солдаты сначала мнутся и стесняются, потом генералу удается их расшевелить и, беседуя совершенно сердечно, они добираются до позиций. В конце концов, каждый такой солдат, попадая в свой батальон, несет вместе с тем и весть о доступности белого генерала, о любви его к этой серой, невидной, но упорной силе. Войска, таким образом, еще не зная Скобелева, уже начинают платить ему за любовь — любовью...

Или, бывало, едет он — навстречу партия «молодых солдат», по-прежнему — новобранцев.

— Здравствуйте, ребята!

— Здравия желаем, ваше-ство...

— Эко, молодцы какие!.. Совсем орлы... Только что из России?..

— Точно так, ваше-ство.

— Жаль, что не ко мне вы!.. Тебя как зовут? — останавливается он перед каким-нибудь курносым парнем. Тот отвечает.

— В первом деле, верно, Георгия получишь?.. А? Получишь Георгия?

— Получу, ваше-ство!..

— Ну, вот... Видимое дело, молодец... Хочешь ко мне?

— Хочу!..

— Запишите его фамилию... Я его к себе в отряд возьму...

И длится беседа... С каждым переговорит он, каждому скажет что-нибудь искреннее, приятное...

— Со Скобелевым и умирать весело! — говорили солдаты... — Он всякую нужду твою видит и знает...

И действительно, видел и знал. От интендантов он отделывался всеми мерами. Просто не пускал их к себе иной раз. Ротные и батальонные командиры были озабочены продовольствием своих солдат.

— Они наживаться ведь могут? — заметил ему как-то сторонник интендантского режима в армии.

— Кто — командиры? Да мне до этого дела нет.

— Как это дела нет?

— Разумеется — нет. Если солдат получает у меня хлеба и мяса вволю, чай и водку, если на моих офицеров нет жалоб ниоткуда, если население ими довольно — что же мне за дело до остального...

И действительно, его солдат кормили как нигде. Меньше всего болела его дивизия, и после балканского перехода и двухдневного боя под Шейновом среди истомленных, бледных и голодных других отрядов скобелевский предстал перед главнокомандующим в таком виде, что Великий князь изумился и воскликнул:

— Это что за краснорожие!.. Видимо, сытые совсем... Слава Богу, хоть одни на мертвецов не похожи.

За то же и солдаты понимали и ценили эту заботливость.

Если кто-нибудь из чужих генералов спрашивал их:

— Вы какой дивизии?.. (или:) Какие вы?..

Они не называли ни дивизии, ни полка, ни роты. На все был один ответ:

— Мы — скобелевские, ваше-ство!..

И в этих немногих словах звучала гордость, слышалось сознание своих заслуг, своего привилегированного, добытого кровью положения...

Скобелевцы-солдаты были совершенно отдельными типами армии. Эти и ходили козырями, и говорили молодцами, не стесняясь, и вообще ни при каких обстоятельствах не роняли своего достоинства... «Это что за петухи такие», «ну и ферты!» — вырывались восклицания у тех, кто еще не был знаком с ними. К солдатам других отрядов, даже к гвардии — они относились с некоторым превосходством... Они и одеты были чище, и больше следили за собой... Нравственность их не оставляла желать ничего лучшего. Когда был занят Адрианополь — в течение первой недели исключительно 16-й дивизией, ни в городе, ни в окрестностях не случилось ни одной кражи, ни одного грабежа. Уже потом, когда на смену пришли другие войска, началось другое хозяйничанье... С пленными скобелевцы обращались тоже гораздо лучше, чем другие... Те ели с ними из одного котла.

— Такие же солдаты, как и мы, только в несчастии, значит... Ему ласка нужна. — Не раз я сам слышал эти сердечные выражения их сочувствия к участи бедняков — аскеров.

— Бей врага без милости — пока он оружие в руках держит, — внушал им Скобелев. — Но как только сдался он, амину запросил, пленным стал — друг он и брат тебе. Сам не доешь — ему дай. Ему нужнее... И заботься о нем, как о самом себе!..

И заботливость эта сказалась после шейновского боя — когда пленные были распределены поротно и ели у солдатских котлов вместе с нашими... Я помню в этом отношении один весьма разительный пример.

Когда на Шейновском кургане был уже поднят белый флаг, Скобелев поскакал по направлению к круглому редуту. Навстречу — партия пленных. Один из сопровождавших ее солдат ударил турецкого аскера прикладом. Боже мой! Как разом освирепел Скобелев.

— Это что за нравы, г. офицер?..

Конвоировавший офицер подошел к Скобелеву.

— Я отниму у вас саблю вашу... Вы позор русской армии. За чем вы смотрите?.. Стыд!.. У вас солдаты бьют пленных... Это черт знает что такое...

Офицер что-то забормотал в свое оправдание.

— Молчать! — и он дал шпоры своему коню. Я думал, что он растопчет офицера.

— Еще оправдываться!.. Бывают случаи, когда в плен нельзя брать, когда силы малы и пленные могут быть опасны, тогда пленных по печальной необходимости расстреливают... Слышите? Но не бьют. Бить пленных может только мерзавец и негодяй. Офицер, спокойно глядящий на такую подлость, — не должен быть терпим... Палачи!.. Фамилия ваша?

Тот пробормотал ее.

— Не советую вам никогда попадать в мой отряд... А ты — как ты мог ударить пленного? — наскочил он на солдата... — Ты делал ему честь, дрался с ним одним оружием, он такой же солдат, как и ты, и только потому, что судьба против него, потому, что сила на твоей стороне — ты бьешь безоружного!..

После уже я говорю ему:

— Как согласить это противоречие? Вы сами говорите, что врага добить надо.

— Да, врага вооруженного, врага, который может еще вредить. Врага слабого, разбитого, беззащитного — нельзя тронуть. Пленный — раз вы его взяли в плен, а не убили — святой человек... Об нем надо заботиться, также как и о своих...

И действительно, пленные всегда были накормлены и укрыты от непогоды у Скобелева.

Только не под Плевной.

Там сразу на наших руках осталось 40 000 пленных и при таких обстоятельствах, когда продовольствие даже своей армии внушало серьезные опасения... Для пленных ничего не было приготовлено. Главнокомандующий поручил их отцу Скобелева, и между ним и сыном были постоянные препирательства из-за этого.

Скобелев-сын, назначенный военным губернатором Плевны, постоянно добивался у отца:

— Ну, чем, ваше превосходительство, вы сегодня накормите турок?

— А тебе что за дело?

— Одного барашка на 40 тысяч человек прислали?

— Ну, уж пожалуйста! К тебе не обратимся.

— Да мне и дать вам нечего... Я тебе, отец, знаешь что посоветую, в интересах военной дисциплины и нравственного воспитания вверенных тебе турок?

— Что?

— А ты им брось барана, они с голоду на него накинутся, ты за беспорядок барана назад... Таким образом, и бараны будут целы, и туркам жаловаться не на что — сами виноваты...

Он тогда же предложил поместить пленных в их редуты, где бы в землянках они могли быть укрыты от снега и холода, но это почему-то не было принято.

На его позицию не раз являлись турки-перебежчики, и этих кормили, прежде чем отправить дальше.

Когда четвертый акт плевненской трагедии окончился и Плевна пала — румыны бросились в город и начали грабить кого ни попало. Тотчас по назначении Скобелева военным губернатором он позвал румынских офицеров.

— Господа! Я должен вас предупредить, чтобы не ссориться больше с вами... Ваши солдаты грабят город.

— Мы победители, а победители имеют право на имущество побежденных.

— Ну, во-первых, вы с мирными жителями не воевали, следовательно, и не побеждали их, а во-вторых, подите и предупредите своих, что я таких победителей буду расстреливать... Всякий, пойманный на мародерстве, будет убит, как собака... Так и помните... Постойте... Ваши обижают женщин — предоставляю вам судить, насколько это гнусно... Знаете — ни одна жалоба не останется без последствий, ни одно насилие — не будет безнаказанно.

Турки его прозвали справедливым...

— Для него нет различия... Что свои, что чужие... Если мирные — он не даст в обиду... — говорили они об Ак-паше. — Одно только, зачем он болгарским дружинам приказал конвоировать пленных?

Когда Скобелеву передали это, он очень ясно объяснил свой взгляд на дело.

— Болгары до сих пор были рабами. Нужно, чтобы они поняли, что теперь они граждане и воины. Я приказываю именно им сопровождать прежних своих господ в плен не для того, чтобы последним дать почувствовать всю его тяжесть, а чтобы первые выросли до сознания своей независимости и равноправности с нами.

В Плевне мы нашли массы турецких раненых и больных... Частью они уже умирали, частью уже умерли, частью подавали надежды на выздоровление. Болгары забили окна и двери этих госпиталей, да и сам Осман, пока был еще в городе, не обращал на них особенного внимания.

— Когда нужно драться — лечить некогда, — говорил он. — Раненые и больные — лишняя тягость. Султану и Турции они не нужны. Лучше, если скорее умрут... И без них дела много.

Скобелев относился иначе. Он сейчас же принялся за устройство гигиенических пунктов и командировал целую тучу врачей и санитаров, занявшихся турками.

После его посещения мечети, где были сложены раненые турки, они говорили:

— У вас лучше, чем у нас, теперь мы видим это.

— Почему?

— Ваш Ак-паша и турок посещает, врагов своих, а наш Осман никогда не видал нас!

Раздел XXIII

В день боя под Плевно, последнего, закончившего эту страшную эпопею плевненского сидения, Скобелеву было приказано принять в командование гвардейскую бригаду. По первоначальной диспозиции она должна была составить резерв. Когда полковник Куропаткин доставил Михаилу Дмитриевичу приказание Ганецкого — вести ее за середину расположений гренадерского корпуса, вместе с 16-й пехотной дивизией, и они уже двинулись — тогда на месте боя залпы замерли, тишина сменила недавний стихийный грохот сражения и только опанецкие орудия изредка еще посылали свои гранаты за р. Вид... Скобелеву дали знать, что турецкая армия сдается. Гвардейская бригада и 16-я дивизия остановились.

Это потом поставили в упрек Скобелеву.

Командующий этой бригадой написал даже рапорт на Скобелева, обвиняя его в том, что он не хотел дать возможность отличиться его войскам, не ввел ее в бой сейчас же, желая будто бы выгодно выделить свою 16-ю дивизию...

Уже по пути на Балканы я спросил об этом у Скобелева.

Да, во-первых, и 16-я дивизия не принимала никакого участия в деле... — возразил Скобелев. — А во-вторых, я почитаю за величайший военный талант того, кто возможно меньше жертвует людьми. Достигать больших результатов с возможно меньшими потерями — вот моя задача, как я ее понимаю... Не так ли?..

— Я сам думаю, что солдаты этой гвардейской бригады далеко не разделяли воинственных претензий своего командира.

— Еще бы... Сверх того, знаете, удайся Осману прорваться — все ведь нужно было предвидеть, — важнее всего было бы иметь под руками свежие войска. Что тут рассказывать — вот вам пример: при Маренго Мелас везде

прорвал линии французов. Австрийцы считали уже сражение выигранным; поручив победоносно шествовавшую вперед армию и преследование французов Цаху, генерал Мелас сам уехал в Александрию писать реляцию о полном поражении французов... Наполеон тоже считал дело проигранным, но соперник его по военным талантам, Дезе, остановил первого консула. «Одно сражение мы проиграли — начнем сейчас же другое!» У Дезе оставалась нетронутой и не потерпевшей одна дивизия в 9000 человек... Останови он в тот же момент австрийцев — они бы его разом смяли... Но ведь никакой победоносный марш не выдерживает расстояний. Через несколько верст австрийцы запыхались... Дезе отступил и занял Маренго. Австрийцы, наконец, из развернутого боевого строя свернулись в походные колонны и когда поравнялись с Маренго — Дезе бросился на них с консульской гвардией и разбросал недавних победителей, так что реляцию о поражении врага нужно было писать уже Наполеону.

— Что ж из этого?

— А то, что в сражениях такого рода всегда надо иметь под руками сосредоточенный и свежий резерв, который и решит в случае чего победу. Если бы я ввел, т. е. если бы я имел время ввести в боевую линию свою дивизию и гвардейскую бригаду — у нас резервов бы уже не было вовсе!.. А впрочем, если бы я получил приказание как следует — я бы его исполнил... В таких случаях не дело подчиненного рассуждать...

Хотя, разумеется, есть таланты, которые не могут быть подчиненными... Слишком рано они обнаруживают орлиный взгляд и насквозь видят промахи своих начальников... Как при этих условиях беспрекословно исполнять их приказания?..

При первой встрече с Османом-пашой в Плевно Скобелев обратился к нему с искренним приветствием.

— Я рад видеть доблестного турецкого генерала, отваге и талантам которого так завидовал во время осады...

Осман тоже не остался в долгу.

— Русский генерал еще молод, но слава его уже велика... Скоро он будет фельдмаршалом своей армии и докажет, что другие могут ему завидовать, а не он другим...

В Плевно Скобелев занимал небольшой дом... В первые же дни государь Александр II выразил желание — по пути на смотр гренадерского корпуса позавтракать у Михаила Дмитриевича. Он приехал к нему в полдень. Самого генерала к завтраку не пригласили, он как хозяин только распоряжался им... Скобелев было принял это за немилость, как вдруг к нему обращается император.

— Покажи-ка мне свой дом! Вы, господа, оставайтесь.

Скобелев повел его в другие комнаты, затем государь порывисто обнял и поцеловал его...

— Спасибо тебе, Скобелев!.. За все... за всю твою службу — спасибо! — И он еще раз поцеловал его.

Михаил Дмитриевич глубоко ценил расположение его. В данном случае он и понял и душевно благодарен остался государю. Явно при всех обнаруженная милость наделала бы генералу еще более врагов, которых у него было и без того достаточно... Еще более потому достаточно, что в это время М. Д. был уже любимцем главнокомандующего Великого князя.

В Плевне Скобелеву не пришлось отдохнуть совсем. Готовился переход через Балканы, ему доставалась в этом блистательном деле прошлой войны одна из главных ролей. Он писал в главную квартиру, делал заготовки, исполнял вооружение и снабжение своего отряда целой массой необходимых вещей. В то же время ему приходилось заботиться о порядке в только что занятом городе, водворять на жительство возвращавшихся туда турок, мирить их с местными жителями... В последнем случае он,

впрочем, не церемонился. Тех, кто обижал возвращавшихся, подвергали строжайшей ответственности...

— Это, ребята, помните, — говорил он своим солдатам. — Это уже не враги... Это друзья... Пока это такие же подданные государя, как и вы... И обязаны вы поэтому защищать их, как своих родных... А кто их обидит — так будет иметь дело со мной. Чего я не советую вам...

Отдыхал он только за обедом, и тогда к столу его собиралась самая разношерстная публика. Тут были и генеральские погоны с вензелями, и полушубки случайно толкавшихся в Плевно армейских офицеров. Бархатный воротник генерального штаба рядом с оборванным кафтаном вольноопределяющегося солдата, черные сюртуки корреспондентов с бараньими куртками какого-нибудь болгарина, тоже приглашенного сюда. Но не одно это отличало общество, собиравшееся у Скобелева. Здесь всюду чувствовался дух боевого товарищества — различий не было, не было и исключительных вниманий... Шум стоял в столовой, говорил и возражал кто хотел. Полуграмотный казацкий хорунжий чувствовал себя дома, как дома чувствовал себя наезжавший сюда образованнейший из прусских военных Лигниц.

— У тебя кухмистерская какая-то! — шутил старик Скобелев, попадая в эту разношерстную толпу.

Сам Скобелев с каждого своего объезда Плевны возвращался к себе с целой толпой гостей. Случайно встреченный офицер, ординарец, молниеносный марс полевого казначейства — все это «привлекалось к законной ответственности», т. е. к обеду.

— У меня всем за столом есть место! — говорил он, и гости, потеснись немного, пропускали вновь приехавших.

Ввиду такого широкого гостеприимства не последним лицом был Жозеф, тип всесветного авантюриста, несколько месяцев назад тому на осле приехавшего к Скобелеву

и через месяц на осле же уехавшего от него. Это был полуфранцуз, полуитальянец, уроженец Каира, воспитавшийся в Бруссе, бывший поваром в Тунисе, открывший потом кафе в Варне. Не заплатив своим кредиторам, из Варны он бежал в Индию — там занимался какими-то темными промыслами и в конце концов попал в Румынию, оттуда явился поваром к Скобелеву. Это был какой-то шут гороховый, потешавший всех — от генерала до денщика... Когда Скобелев был в зеленогорской траншее, этот тип ни разу не решался посетить его, отсылая свой обед с казаками. Когда турки довольно старательно начали обстреливать Брестовец, Жозеф совсем потерял голову. Желая пошутить над ним, Скобелев потребовал личного его появления в траншее.

— Скажите генералу, что если он прикажет мне самому пойти в это «глупое место», то я возьму свой чемодан и осла и скажу адье.

Немного погодя он прислал другое заявление.

«Mon général!..[18] Мне надоели и турецкие пули, и русские солдаты, которые даже и под гранатами спят, “comme les ours”[19]. Это не входило в наши условия, почему я и прошу ваше превосходительство принять меры, чтобы турки отнюдь не обстреливали моей кухни, ибо я человек свободный и умирать вовсе не желаю...»

В следующий раз, когда Скобелев приехал в Брестовец сам, к нему явился мосье Жозеф.

— Ну, мосье Жозеф, что вам угодно?

— Я пришел узнать, mon général, вошли ли вы в сношение с турками, чтобы они не стреляли в мою кухню...

---

[18] Мой генерал!.. (Форма обращения к старшим по званию во французской армии.)

[19] «Как медведи».

— Входил... Но Осман-паша сказал, чтобы я лично послал вас к нему для объяснений... Будьте готовы. Завтра утром вам завяжут глаза и...

— Я не согласен... Я не могу быть парламентером, я не хочу, наконец.

— Завяжут глаза и отведут в Плевно...

— Я буду протестовать... Я обращусь ко всей Европе...

Кругом расхохотались. Жозеф понял, что над ним смеются.

— Вы трус, мосье Жозеф!

— Быть храбрым я не обязывался по условию...

Когда Плевно пало, мосье Жозеф опять подал повод к бесконечным насмешкам на свой счет. Как-то является он к Скобелеву.

— Что вам?..

— Я пришел требовать должного!.. — И Жозеф принял мрачный вид.

— Именно?

— Я месяц держался здесь под огнем... В мою кухню специально стреляли турки... Для них, вы знаете, mon général, для них нет ничего святого! Но я все-таки держался. Вы на Зеленых горах, а я здесь, в Брестовце... И потому мне следует крест!..

— Какой крест?

— Георгиевский... St. George! [20] Какой дается всем храбрым...

— Да, но ведь вы не обязались быть храбрым по условию...

— Если бы это входило в условие, то за храбрость мне бы полагалось жалованье... Так как это сверх условия, то я требую себе крест... Вы всем медведям-солдатам дали кресты, я тоже себе хочу...

---

[20] Святой Георгий.

— Вы с ума сошли, мосье Жозеф!..

— Mon général... У меня есть в Каире престарелая мама... Обрадуйте ее. Если она увидит меня с крестом, она простит мне увлечение моей юности!..

Увы, так его maman и осталась необрадованной...

— Денщик со мной не разлучался и не выходил из огня, а я и ему не дал креста, потому что он слуга, а не солдат. Этак мы до того дойдем, — намекал он на всем известные факты, — что и кучеров, и поварят, и всякую сволочь украсим военными орденами, а те, кто за нас умирает, никогда не дождутся знака отличий!

Раздел XXIV

В скобелевском отряде ни разу не практиковался обычай вешать кресты на прислугу. В других — крестами щеголяли денщики и кучера разных генералов, здесь — никогда. Круковский, денщик Скобелева, живший с ним в траншее, не смел и думать о таком отличии. Раз было он заикнулся...

— Ступай в строй и заслужи... За чистку сапог Георгиевские кресты не вешают...

Вообще, тут они доставались не даром.

Обыкновенно, когда присылают *голосовые* кресты на роту, то солдаты приговаривают их не наиболее храбрым, а наиболее влиятельным и богатым вольноопределяющимся. Скобелев никогда не допускал ничего подобного... Вот как это делалось... Подъезжает он к роте.

— Выбрали, ребята, кому кресты?

— Выбрали, ваше-ство...

— Кому же?

— Фельдфебелю — первый! — рапортует ротный командир. — Потом вольноопределяющемуся такому-то...

— Вот что, ребята, кресты должны доставаться не фельдфебелям, а тем, кто действительно стоит этого... Слышите? Самым храбрым... Поняли меня?

— Поняли, ваше-ство!..

— Ну вот... Так опять сделайте-ка выбор при мне. Господа офицеры, уйдите, пусть солдаты сами.

По второму выбору кресты достаются тем же.

— Смотрите, ребята, нечестно, если вы лучших оставите без крестов... Сделайте еще раз выбор.

И если по третьему все-таки кресты достаются влиятельным людям, тогда Скобелев и навешивал их.

Раз, в одном таком случае, на вопрос Скобелева:

— Кому, молодцы, кресты приговорили?

— Я назначил их такому-то и такому-то... — сунулся было ротный командир.

— А вы какое право имеете на это?.. Вы, капитан, чего суетесь не в свое дело?.. Отнюдь не сметь вперед! Назначать *голосовой* крест — священное право солдата, а не ваше...

Зачастую, если несмотря на переголосовку, кресты все-таки доставались вольноопределяющимся и фельдфебелям, Скобелев приказывал представить этих отличившихся к *именным*, а *голосовые* все-таки давали простой армейской кирилке.

— А то им ничего и никогда не достанется!

На Георгиевские кресты Скобелев смотрел в высшей степени серьезно...

— Главное, чтобы они не попадали шулерам!.. — говорил он. — Или осторожным игрокам.

— Как это?

— А так... Часто иной при генерале бросится вперед — ну и крест... А так он за другими прячется. Это и есть шулера. Осторожными игроками я называю тех офицеров, которые храбры до креста, получив же его, успокаиваются и начинают опочивать на лаврах, берегут свою драгоценную жизнь... Поняли вы меня? Это все равно, что игрок сорвет крупный куш и забастует... Георгиевский крест обязывает... Кто носит его на груди, должен быть во всем примером... Его место в бою — впереди...

И действительно, такой взгляд на кавалеров был и у скобелевских солдат. Во время сражений в смутные моменты, когда человеческому стаду нужны вожаки, солдаты сами кричали: егорьевцы, вперед!.. Кавалеры — показывай дорогу!..

Таким образом, серебряный крест был зачастую только вестником, предтечей креста деревянного. Во всяком бою первыми убитыми оказывались в свалке георгиевские кавалеры...

— Отчего вы не дадите такому-то Георгиевского креста? — часто просили Скобелева люди, власть имеющие.

— Почему... Да мой Круковский больше его заслуживает. Хоть в траншеях со мною был!

— Да ведь солдатский крест — что он стоит!

— Стоит, если мои солдаты за него жизнью жертвуют... Пускай в других дивизиях он достается даром — я у себя этого разврата не потерплю...

И тотчас же начинается потеха.

— Круковский, ты хочешь крест?

— Хочу, ваше-ство!..

— Ну, иди в строй... Заслуживай...

— В строй не хочу...

— А я тебя отправлю от себя.

— Как же вы-то сами без меня обойдетесь... Не может этого быть.

С близкими к нему лицами Скобелев был совсем юношей. Избыток жизни сказывался в этом. Он постоянно шутил, смеялся, школьничал. Если не с кем было — с денщиком.

— Обезьяна! (Круковский не отзывается — молчит.)

— Обезьяна, тебе говорят...

Тоже молчание.

— Круковский...

Тот мрачно подходит...

— Отчего же ты не являлся?

— Потому, ваше-ство, обезьяну кликали...

— Значит, ты обиделся?..

— Звестно, обиделся!..

— Ну так, поцелуй меня!.. — И Скобелев протягивает ему щеку.

Круковский целует.

— Ну, теперь не обижаешься?

— Никак нет.

— А все-таки обезьяна...

Особенное удовольствие доставляло Скобелеву выходить по утрам умываться в промежуток между нашей и турецкой траншеей... Круковский должен был следовать туда за ним. Турки, разумеется, тотчас же начинали обстреливать их.

— Ваше превосходительство... А, ваше превосходительство?

— Ну чего тебе?

— Что я вам сказать хочу...

— Что?

— Вы бы шли в траншею мыться...

— Мне и здесь хорошо... А хочешь, я тебя тут за трусость на часы поставлю...

Круковский мнется...

— Ну, чего же ты молчишь. Хочешь?

— Не хочу...

— А я все-таки поставлю...

— А тогда кто же вам служить будет... Кто?..

— Ну, пошел вон, трус!..

И осчастливленный позволением уйти с опасного места, Круковский живо убирался оттуда.

Раздел XXV

Приготовления к походу за Балканы[21] шли безостановочно. Со дня занятия Плевно до дня выступления дивизия не отдыхала. Приготовляли и чистили оружие, скупили все деревянное масло в городе для этого... Ружья Крнка никуда не годились, Скобелеву пришла в голову блестящая мысль вооружить хоть один батальон превосходными Пибоди — Мартини, во множестве находившимися в арсенале Плевны.

Я помню, какой гвалт подняло это в некоторых кружках.

— Это позор! — кричали там. — Русскую армию вооружать турецкими ружьями.

Скобелев слушал их и совершенно спокойно перевооружил стрелков Углицкого полка.

— Если бы было достаточно артиллерийских снарядов, так я и артиллерию свою снабдил бы турецкими орудиями. Я не считаю позором отнять у неприятеля то, что у него лучшее... Весь вопрос в том, чтобы сделать ему побольше вреда.

— Этак вы и под турецкими знаменами пойдете? — замечали ему.

— Нечего сказать, хорошо сравнение!.. Разве знаменами дерутся, разве знамена оружие?..

— В истории не было примера...

— Ну, это вы врете, — и он сейчас же выставил целый ряд доказательств того, что величайшие полководцы прибегали к этому средству... — У себя нет — возьмем у неприятеля. Если у нас, положим, не хватит своего хлеба — так постыдно пользоваться складами турецкими, потому что это не наше, а неприятельское?.. Я и ранцы уничтожу.

---

[21] Я не рассказываю здесь всех эпизодов этого достопамятного перехода — им посвящено двадцать пять глав второго тома «Года войны».

— Совсем по-турецки, значит.

— Да, хорошему учиться не мешает... Если бы я не с турками, а с китайцами воевал, да подметил бы у них что-нибудь порядочное, сейчас же перенял бы... Сделайте одолжение!

И действительно, страшно отягощающие солдата ранцы были уничтожены и заменены холщовыми мешками, что вышло и легче, и удобнее... Закупка сапог, полушубков, фуфаек шла повсюду. За три недели в Габрове были заказаны вьюки и вьючные седла, заготовлялся неприкосновенный запас сухарей, крупы, наливался в бочонки спирт... И главное, заслуга Скобелева была в том, что все это было сделано помимо интендантства... У интендантства требовали того, другого...

— У нас ничего нет! — откровенно ответили эти господа Скобелеву.

Предусмотрительность генерала дошла до того, что заранее было куплено на каждый полк по 60 голов рогатого скота. До гор они должны были везти запасы, а в горах служить пищей... Остальные дивизионные командиры, приходя в какую-нибудь местность, требовали продовольствия и подвод. Население, совсем реквизированное, уже оказывалось несостоятельным. Движение войск замедлялось, начиналось истребление неприкосновенного запаса сухарей... Здесь же подводы и корм являлись в одном и том же. Корм шел на ногах и вез войсковые грузы. Заботливость Скобелева о солдате дошла даже до того, что весь запас уксуса и кислоты, бывший у плевненских торговцев, все сапоги, всю кожу, все бараньи шкуры были куплены... По всему пути Скобелев сам лично наблюдал, чтобы солдаты отнюдь не оставались без горячей пищи. В метель, на вершинах Балкан, где у других вымораживались целые полки, у Скобелева солдаты имели похлебку и вдоволь мяса! Сделано было еще и другое распоряжение,

над которым на первых порах смеялись ужасно. Солдатам приказано было нести на себе по полену сухих дров.

— Чего он еще не придумает! — говорили о генерале.

— Уж если Скобелев приказал, значит у него есть что-нибудь ввиду! — заметил на это главнокомандующий.

И действительно! Когда дошли до балканских вершин, то из этих сухих поленьев солдаты сразу устроили великолепные костры. У других отрядов рубили росший на горах лес. Сырой, только чадивший и курившийся, не дававший углей. У нас сразу получались массы угля. Солдаты приваливались к нему и до утра засыпали в сравнительном тепле. *Замороженных* поэтому не было вовсе!

— Новые сапоги берите!.. — предупреждал солдат генерал, проезжая мимо них, когда они выступили уже из Плевно за Балканы.

Переход этот был настолько превосходно организован, что по всему пути, хотя отряд останавливался в маленьких деревушках, от их населения не поступило ни одной жалобы...

— Смотрите, братцы, не обижайте болгар и турок... Они — мирные жители... За первых вы деретесь, свободу им своей кровью завоевываете, следовательно, они вам друзья и братья; а вторые, если остались на своих местах, не ушли от вас, значит, они верят доброте и чести русского солдата... А обманывать такую веру и грешно, и стыдно...

Картины нашего перехода до Габрова я оставляю в стороне. О них было уже сказано мной, и я описал их достаточно во втором томе «Года войны». Расскажу только некоторые эпизоды, не вошедшие туда. В Сельви заболел тифом один из лучших скобелевцев — доктор Студитский, который потом был убит под Геок-Тепе.

— Что мне делать, как мне его оставить здесь... — волновался Скобелев, очень любивший покойного.

— Прикажите начальнику округа позаботиться о нем...

— Начальник округа здесь хам... Он ничего не сделает... Послушайте, это ваша обязанность, подумайте, как устроить это?.. Вы и он носите черный сюртук, вам ближе всего... Мне некогда: весь отряд на моих руках ведь...

Я отправляюсь к начальнику округа. Это был жандармский капитан, служивший по гражданскому управлению и зависевший от кн. Чернявского. Рассказываю ему о болезни Студитского.

— А мне что за дело? Поместите его, где хотите... У меня на руках свое дело.

Я начинаю красноречиво излагать ему заслуги больного, работавшего в Черногории, в Сербии, у нас на Зеленых горах, под Плевно.

— Он и заболел-то от любви к человечеству. Он заразился, подавая помощь туркам на плевненском боевом поле...

— Все это прекрасно... А только мне нет никакого дела... У меня нет времени на это... Я не брат милосердия!..

Ну, погоди же, думаю... Ты у меня зашевелишься.

— Жаль, очень жаль, капитан!.. Как будет огорчен князь Черкасский, когда узнает о болезни Студитского.

— А что?.. При чем тут князь... — навострил уши начальник округа.

— Да я не знаю, могу ли я... Это семейная тайна...

— О, мне можете... — заволновался тот... — Я умею хранить тайны...

— Знаете... Студитский ведь жених... У Черкасского есть племянница...

— Я сейчас... Сейчас... Велю его перенести к себе... Сим минуту... Назначу надежнейших болгарок ходить за ним... Бедный, бедный молодой человек!.. Как жаль... как жаль... Скажите генералу, чтобы он был спокоен... Я сделаю все... Все сделаю... Как родного сына!..

По ревностной энергии, вдруг охватившей моего капитана, я убедился, что все дело устроено и Студитского будут беречь как зеницу ока.

Вернулся к Скобелеву. За обедом, когда все собрались, рассказал это. Громкий хохот встретил великодушную готовность капитана...

После уже, под Константинополем, когда Студитский был совершенно здоров, Скобелев говорит мне.

— А вы знаете финал этой истории?

— Нет...

— Князь Черкасский встречается со мною и спрашивает меня: у вас есть доктор Студитский?.. — Есть, говорю. — Ну так поздравляю вас с таким подчиненным. — А что?.. — Да то, что он самозванец. — Я изумился: как же, помилуйте. — Приезжаю я в Сельви... Встречает меня капитан, начальник округа, и с первого слова: ваше сиятельство, здесь жених вашей племянницы доктор Студитский, долгое время болен у меня... Я со своей стороны... — И давай живописать свое усердие... Помилуйте, говорю, у меня никакой племянницы!.. Тот даже ошалел...

Разумеется, Скобелев объяснил князю в чем дело.

— Знаете, — говорил потом по этому поводу Скобелев, — надо всегда уметь пользоваться не только способностями, доблестями и достоинствами людей, но и их пороками... Разумеется, ради честного дела. Не для себя и не в свою пользу... Это в военном деле — необходимость...

— Следовательно, рыцарь Баярд был не на высоте требований боевых... — возразил кто-то.

— Рыцарь Баярд действовал за свой счет только, армией он не командовал. Я бы посмотрел теперь на рыцаря Баярда!

И сейчас же — целый арсенал исторических указаний, фактов, примеров.

Память у него была необычайная... Это позволяло ему при каждом случае обращаться к прошлому. История

была для него школой, исторические события — уроками. Он находил в них подтверждения своих предприятий... Ошибки прежних полководцев являлись для него предупреждениями...

— Послушайте, да это какой-то профессор! — изумился Лигниц после первого знакомства со Скобелевым.

— Трудно сказать, чего в нем больше, ума или знаний! — резюмировал свои впечатления военный агент Северо-Американских Соединенных штатов Грант.

Все это завоевывало Скобелеву симпатии одних и, напротив, раздражало против молодого генерала других. Для меня Скобелев был отличным мерилом для определения ума и бездарности. Как только начинают бывало ругать его, отрицать его талант, так и знаешь, что дурак или завидущая душа! Все же молодое, умное, способное — относилось к нему с понятным уважением и даже обожанием.

Раздел XXVI

Солдаты Радецкого и Скобелева в ущельях Янтры побратались между собой. Одни других считали достойными товарищами. Постоянно по пути встречались эпизоды, характеризовавшие эту боевую дружбу. Идет, например, Углицкий полк, навстречу солдат 14-й дивизии, отстоявшей Шипку. Стал фертом и ноги раздвинул, по словам известной армейской песни: «Руки в боки, ноги врозь!»

— Ну, братцы, четырнадцатая дивизия не выдала, смотри и шестнадцатая не выдавай!

— Небось не выдадим... Защитим... — слышится из рядов.

В другом случае встречаются две партии солдат.

— Вы скобелевские?

— Точно.

— Ну, а мы Радецкого... Все равно, значит, что одно...

— Таперича, коли бы да нас вместе, что бы сделать можно!.. На Шипке нас мало было...

Взгляд солдат был как нельзя больше верен.

Скобелев и Радецкий действительно в то время были двумя боевыми противоположностями. Скобелев — весь пыл, огонь, находчивость, боевой гений, Радецкий — терпение, мудрая осторожность, расчет. Оба одинаково храбры, одинаково любимы солдатами. Впоследствии и Скобелев под Геок-Тепе усвоил себе и осторожность, и расчетливость стратега, отчего, разумеется, еще более вырос... Разница между этими двумя натурами лучше всего обнаружилась в Таирове. Скобелев, хорошо знавший положение дел, рвался за Балканы, горой стоял за немедленный перевал через горы и затем движение к Адрианополю. Радецкий был против этого. Зимний поход такого рода, через кручи и вершины, засыпанные снегом, по ущельям, куда и летом не забирается живая душа, пугал его. Он писал и телеграфировал в главную квартиру,

умоляя оставить это предприятие, называл его невозможным, неисполнимым. Он ставил на вид, что турки сами уйдут, когда Гурко прогонит Сулеймана, что Вейсиль-наше вовсе не будет расчета держаться в своих орлиных гнездах и пустить в тыл к себе русскую гвардию. Генерал только опускал из виду, что, отступив, турки займут превосходно укрепленный редутами и башенными фортами Адрианополь, а тогда нечего будет и думать о скором окончании войны... Люди, окружавшие Радецкого, держались того же мнения. Начальник его штаба, храбрый и симпатичный генерал Дмитровский прямо говорил нам, что или мы все погибнем в долине Казанлыка, или не дойдем до нее, застрянув в горах. Когда Скобелеву говорили о возможности отступления, он резко ответил:

— Отступления не будет ни под каким видом!.. Я иду таким путем, по которому спуститься можно, а назад подняться нельзя...

— Что же вы сделаете в крайнем случае?

— Пойду впереди своих солдат — в лоб турецких позиций, возьму штурмом гору св. Николая. Или погибну... Тут выбора не может быть...

Великий князь поддержал Скобелева, и переход был решен бесповоротно. В тот же день генерал отдал по войскам своего отряда приказ, который я привожу здесь целиком.

«Нам предстоит трудный подвиг, достойный постоянной и испытанной славы русских знамен. Сегодня, солдаты, мы начнем переходить Балканы с артиллерией, без дорог, пробивая себе путь в виду у неприятеля, через глубокие снеговые сугробы... В горах нас ожидает турецкая армия. Она дерзает преградить нам путь. Не забывайте, братцы, что нам вверена честь отечества, что за нас теперь молится сам Царь-Освободитель, а с ним и вся Россия. От нас они

ждут победы. Да не смущает вас ни многочисленность, ни стойкость, ни злоба врагов. Дело наше свято, с нами Бог!..

Болгарские дружинники! Вам известно, зачем державною волею русские войска посланы в Болгарию! Вы с первых дней показали себя достойными участия русского народа. В битвах в июле и августе вы заслужили любовь и доверие ваших ротных товарищей — наших солдат. Пусть будет так же и в предстоящих боях. Вы сражаетесь за освобождение вашего отечества, за неприкосновенность родного очага, за честь ваших матерей, сестер и жен, за все, что на земле есть ценного и святого. Вам Бог велит быть героями...»

Нужно было слышать, какое «ура» гремело в ответ на чтение этого приказа по войскам, в виду громадных гор, вершины которых уходили в небеса, закутавшись в снеговые тучи. По головокружительным скатам едва намечались серые полоски дороги, пропадающей в мареве вечернего тумана... Дальше — и пути уже не было.

— Кручи и пропасть будут по сторонам!.. — говорил Скобелев солдатам... — Мы с вами пройдем там, где и зверю нет пути...

— Пройдем, ваше-ство! — кидали они своему любимому вождю...

— Орлы мои!.. Нас не собьет и буря с пути... Нет нам преграды...

— И не будет, ваше-ство!..

— Вот так... Хорошо с вами жить и умирать легко... Покажем им, что русского солдата ни горы, ни зимние метели остановить не могут...

— Ур-ра! — гремело из десятков тысяч грудей, уже достаточно истомившихся на прежних походах.

Слезы выступили на глазах Скобелева.

— Как же с этими солдатами, — обернулся он к нам, — не наделать чудес... Вы посмотрите на эти лица. Разве есть

для них невозможное?.. Спасибо, товарищи, я горжусь, что командую вами!.. Низко кланяюсь вам!

И сняв шапку, он поклонился своему отряду.

Еще более громкое, стихийное «ура» всколыхнуло вечерний туман и разлилось по ущельям в даль, заставленную мрачными вершинами...

Тем не менее трудности пути были ясны каждому солдату, и скоро, очень скоро оживление сменилось сосредоточенным молчанием людей, готовящихся к мучительному подвигу.

— Идем товариство выручать!.. — изредка только слышалось в рядах... — Седьмой месяц на Шипке сидят — ослобонить надо!..

Перевал через Балканы, признанный таким военным авторитетом, как Мольтке, невозможным, — останется навсегда в истории. Скобелевцы могут с гордостью сказать, что они совершили его без всяких потерь благодаря превосходной организации этого похода... Взойдя на первый холм, они увидели перед собой крутой подъем. Ветер свеял с него недавний снег, осталась скользкая обледенелая поверхность. Солдаты скатывались и падали с нее, гремя ружьями, котелками, шанцевым инструментом. Добравшиеся до верху тяжело дышали, отдыхали, прислонясь к деревьям, или просто ложились в снег в полном бессилии. Падая и скатываясь, напрасно хотели удержаться руками — руки скользили по гладкой поверхности... Одолев это, находили перед собой еще более пугающую крутизну, но уже засыпанную глубоким снегом. В снег этот уходили по грудь, шли вперед в его рыхлой массе. Поворачивали направо, налево, уходили опять назад, огибая отвесы диких скал, вспалзывали по лестницам, образуемым выступами их, падали с этих лестниц, скользя по льду, образовавшемуся на них... В лесу тропа была до того узка, что солдатам

пришлось идти гуськом. Отдыхали через каждые двадцать пять — тридцать шагов. И какие это шаги были; солдат с натугой выхватывал ногу из снеговой глыбы, потом ступал вперед, опять погружаясь в вязкую массу. Под ногами снег расползался, ноги расходились, приходилось падать и, скрипя зубами, подниматься опять. Какое-то хрипенье слышалось кругом. Падая, каждый принимался прямо с земли есть снег. В чаще нужно было кусты раздвигать руками, какие-то колючки впивались в лицо, резали его, обращали платье в лохмотья, С артиллерией была мука, десятифунтовки бросили позади. Их нельзя было и думать взвести сюда. Горные орудия на саночках — тело отдельно от лафетов — шли лямкой. Солдаты, наклонившись головой вперед, хрипя, тащат их на лямках... Всего мучительнее было взбираться на горы, после того как, поскользнувшись, скатывались вниз. Иной раз пять-шесть совершает такое восхождение и все с одинаковым неуспехом... По сторонам зияли бездны. Вдоль них пришлось лепиться, точно муха, ползти по горе. Одолели это — попали в такие сугробы, где тонули по горло в снегу. Двигались уже не ногами в них, а как-то напирались всем корпусом вперед, выдавливали для себя место... Все было мокро на себе: и сам, и платье... А выберешься — морозом охватывает так, что шинель коробится, рубашка деревенеет и на волосах разом образуются куски льда. Солдаты пробовали садиться отдыхать на снеговые глыбы, так они сползали вниз. Стали садиться и ложиться на дорогу. Через них и по ним ходили, наступали на лицо, на грудь, на руки, те только стонали и опять подымались, чтобы до последних сил идти вперед. Иной раз снег проваливался, и солдаты попадали на дно воронки... Скобелев тут же между солдатами, ободряет одних, понукает других, посмеивается над третьими. Откуда берутся у него силы. Он более других утомлен, потому

что у него не было отдыха вовсе... Раз он как-то заснул в снегу... Кругом сейчас же стали солдаты, чтобы на генерала не наступили проходящие мимо...

— Невозможный переход!.. — обратился к нему кто-то.

— Тем лучше, что невозможный! — отвечал он.

— Почему?

— А потому, что турки не ждут нас отсюда. Полководец именно при защите и должен опасаться якобы невозможных позиций. Невозможных для штурма, для обхода... Их-то он и должен иметь в виду...

— Обыкновенно на них не обращают внимания.

— И глупо делают. Умный враг с них-то и начнет... Смотря какие солдаты, если такие, как мои, — с ними всякую невозможность одолеешь...

На одной площадке солдаты совсем упали духом. Усталь дошла до крайности... Казалось, нельзя было ступить шагу...

— Еще одну гору, голубчики...

— Трудно... ваше-ство! — упавшими голосами отвечают ему.

— Наверху каша будет, товарищи... Ну-ка, для меня, постарайтесь...

И солдаты поднимались и шли с новыми силами...

Дошли до первого ночлега на Ветрополье — и действительно, там были и суп, и каша. Дорылись до земли, из готовых поленьев дров разложили костры и живо в котелках сварили себе похлебку. Говядина и крупа были для этого на солдатах... За ночь, несмотря на мороз, — ни одного больного не было.

На другой день такой же утомительный переход, но уже под огнем турецких позиций.

Тут уж весь путь целиной, даже звериных тропок не было.

Куруджа ужасающей кручей обрушивается вниз. На дне пропасти — белый пар. Вчера еще могла бы здесь пролететь только птица. Ночью уральские казаки устроили тропу. Легли в снег и проползли, обмяв его под собою по отвесу. Назад прошли на ногах, продолжая обминать, потом провели своих коней. Когда солдаты шли по этому карнизу, направо стеной поднималась гора, налево стеной она обрушивалась вниз. Бездна тянула к себе, голова кружилась, тошнило. Двое сорвались туда — и безвозвратно. Кое-где тропа эта идет наклонной плоскостью, тут разве крылья ангелов могли удержать солдат. Я до сих пор не понимаю, как они миновали эти места. И когда большая часть отряда была еще на этой адской крутизне, Скобелев впереди уже производил рекогносцировку по направлению к Имитле. Под ним опять убили лошадь; ранили Куропаткина... Тут уж каждый шаг доставался с бою...

— Бог его знает, откуда у него это равнодушие и спокойствие!.. — говорили офицеры.

Стоя на выступе горы под густым огнем турок, Скобелев здесь набрасывал кроки долины Роз. Ему оно нужно было для дальнейших соображений... Завтра — бой, всякая неровность местности имела громадное значение.

— Он чертит под огнем так же уверенно, изящно, как бы у себя в кабинете...

Подробного рассказа о переходе Балкан, о боях 26 и 27 декабря, о занятии Имитли я здесь не передаю. Этому посвящена значительная часть второго тома моего «Года войны». Отмечу только здесь, что этот героический поход не сломил энергии Скобелева. В ночь на 27-е я его застал уже в ущелье, выходившем в долину Казанлыка. Он лежал у костра, слегка прикрывшись пальто... Рядом хрипела и билась умирающая лошадь... Откуда-то назойливо садился в ухо крик раненого солдата... С ним кто-то заговорил.

— Не мешайте! — оборвал он...

— ...Да... — вдумчиво проговорил он наконец, — завтра или послезавтра решится дело... Или запишем еще одну славную битву в нашу военную историю, или... умрем!.. Честнейшая смерть еще честнее победы, дешево доставшейся... Во всяком случае, отступления нет... Спуститься можно было... Подняться — нельзя... Генерал Столетов... Возьмите две роты Казанского полка и одну Углицкого. Выбейте турок из Имитли и займите его...

— Вам бы заснуть теперь? — посоветовал ему кто-то.

— Казак, коня! Некогда спать... В Казанлыке выспимся...

И он поехал осмотреть выход в долину.

Раздел XXVII

Я не буду описывать ни рекогносцировки 26 декабря 1877 г., ни последовавшего затем занятия Имитли, ни дела 27-го числа, когда Скобелев, желая хоть чем-нибудь помочь князю Мирскому, но имея под руками еще слишком мало войск (три четверти отряда еще оставалось в горах), сделал демонстрацию на шейновский лес. Всему этому отведено достаточно места в прежних моих описаниях войны; я возьму из них только несколько строк о бое 28 декабря, едва ли не самом блестящем деле шипкинской эпопеи. Это было последнее крупное сражение в эпоху 1877–1878 годов, и тут Турция потеряла свою последнюю армию.

Серый и туманный был этот славный день. Мгла окутывала дали, серое небо точно давило вершины Балкан. В ущельях курился туман, сады и рощи деревень в долине Роз казались облаками, охваченные отовсюду мглою... Лысая гора, резко обрисовывающаяся среди окружающих ее вершин, тогда вся пряталась... Ее мы не видали.

Еще свет робко-робко пробивался на востоке, когда Скобелев уже объезжал шейновское поле. С зарею поднялись солдаты, из Имитли едва-едва доносился грохот горных орудий, стучавших по окрепшей за ночь почве... Суздальский полк еще находился в Балканах, как и вся наша артиллерия, за исключением батареи, вооруженной горными орудиями. Там же еще застряли стрелковый батальон и две дружины болгарского ополчения...

Не успело солнце подняться, как полки уже выстроились... Солдаты были очень оживлены; зная их суеверие, Скобелев, объезжая ряды, повторял:

— Поздравляю вас, молодцы! Сегодня день как раз для боя — двадцать восьмое число... Помните, двадцать восьмого мы взяли Зеленые горы, двадцать восьмого сдалась

Плевна... А сегодня мы возьмем в плен последнюю турецкую армию!.. Возьмем ведь?

— Возьмем... ура! — звучало из рядов...

— Заранее благодарю вас, братцы...

В десять часов передовая позиция была уже занята отрядом графа Толстого, выстроившимся в боевой порядок.

— Выдвиньтесь на хороший ружейный выстрел! — приказал ему Скобелев.

Сам генерал стал в центре. По обыкновению вокруг сгруппировались ординарцы, позади его развернут был его значок, следовавший за ним всюду: и в Фергане, и в Хиве, и в Плевно. Среди мертвого безмолвия разом заговорили горные пушки нашей батареи, когда впереди показалась турецкая кавалерия, развертывавшаяся перед Шейновом... Против нас оказалось пятнадцать турецких орудий... Сосредоточенный огонь их был направлен сегодня исключительно против группы Скобелева...

— Господа! — обернулся он. — Не угодно ли вам раздаться... Разбросайтесь пошире... Иначе перехлопают нас...

— ...Сегодня моя жизнь нужна! — в виде пояснения сказал он потом. — Куропаткин ранен, его нет. Если меня убьют, некому будет принять команды...

Мы разъехались на довольно большое пространство...

— Сейчас к туркам подойдет подкрепление! — озабоченно проговорил Скобелев.

— Почему вы знаете?

— А слышите?

В грохоте турецких батарей стали выделяться отдаленные звуки рожков. Турки подавали сигналы. Скобелев усилил наш левый фланг и выдвинул ополчение к Шипке, где, по его мнению, были три табора турок.

— Они, подлецы, догадаются, что у нас только орудия малого калибра!.. Нужно обмануть неприятеля... Поставьте людей у орудий! — приказал генерал.

Вторая боевая линия вышла на позицию с музыкой и песнями. Развернутые знамена слегка колыхал ветер... Около 11 часов турки сосредоточили свой огонь против нашего левого фланга. Туда Скобелев послал стрелков Углицкого полка... Люди начали падать... По массе пуль, несущихся навстречу, видно, что турки собрались здесь не менее, как в количестве пятнадцати таборов... Да сколько их еще позади — в редутах и фортах, защищающих с юга шипкипские позиции. Скобелев делается все серьезнее и серьезнее... Лицо его озабочено, как никогда...

— Если меня убьют, — снова оборачивается он к окружающим, — то слушаться графа Келлера. Я ему сообщил все...

На нашем левом фланге все разгорается и разгорается перестрелка, там уже перешли линию огня и находятся в самом пекле. Шейново кажется отсюда примыкающим к Балканам. Перед этим пунктом несколько холмов, они заняты турками. Их следует взять во что бы то ни стало... Оттуда — особенно сосредоточенный огонь... Роты, видимо, хотят их обойти с фланга; ни на минуту ружейный огонь не стихает, напротив, растет и растет, сливаясь с отголоском маршей вступающих в боевую линию полков. Наши «Пибоди» пока идут не стреляя. Мы под огнем, но сами огня не открываем. На одну минуту перед курганами стрелки углицкие приостанавливаются... Слышится команда, развертывается цепь и беглым шагом бежит, охватывая курганы дугою... Залпы и беглый огонь у турок доходят до исступления. Наконец, наши у курганов — бой в штыки — слышно «ура», и на вершине холмов показываются угличане, радостно размахивая ружьями и созывая отсталых. Турки вереницами бегут к лесу и занимают его опушку... По этому пути легко узнать их отступление. Меткий огонь наших стрелков уложил их так густо,

что еще издали видишь среди белеющих снегов какую-то черную полосу до самого леса.

— Молодцы, угличане! — замечает Скобелев... — Меня винили за Зеленые горы... Вы помните, каких нагнали ко мне солдат для пополнения уничтоженных под Плевною полков... Что это были за трусы... Разве можно было с ними драться... А теперь полюбуйтесь на них... Как стойки они... Вот вам и Зеленые горы. В две недели дивизия получила боевое воспитание...

Курганы почернели от людей, занявших их. Снизу до верхушек густо засели стрелки, но ненадолго. Нужно было пользоваться минутой и продолжать атаку... Вот цепь опять развернулась, двинулась вперед — идет шибко, хорошо... Позади двигаются еще люди... Огонь у турок делается отчаяннее. Вдруг — точно к ним явилось подкрепление — залпы зачастились, турки выбегают из опушки леса; наше наступление встречают убийственным огнем с фронта. На левом фланге угличан показываются черкесы, на правом наши точно приостановились, колыхнулись... Двинулись назад... Еще минута, и наша цепь, отстреливаясь, волнообразно отступает за курганы. Одну минуту Скобелев боится, чтобы они и их не отдали... Нет, курганы остаются за нами.

Неприятельская кавалерия и не думает отступать... Она заскакала во фланг нам и теперь маневрирует между нами и Шипкой... Подскакивают черкесы в одиночку, ругаются по-русски и сейчас же во всю мочь улепетывают назад. Кинулись было за ними казаки — и давай тоже джигитовать...

— Ну, я этих фокусов на седле не люблю... Прикажите, чтобы слушали команду, а не кувыркались... Мне акробатов не надо. Пошлите прямо две сотни донцов в атаку!

Все, опустив пики, помчались, развернув фронт на турок... Точно ураган просвистал мимо. Турки их выдержали

шагов на двести и, дав глупый залп наудачу, опрометью шарахнулись по направлению к Шипке.

— Граф Толстой ранен! — подъезжает ординарец к Скобелеву...

— Э!.. — с досадой проговорил генерал... — Терять Толстого в такую минуту... Он нужен... Жаль, жаль... Пускай Панютин примет команду...

Резервы ближе и ближе передвигаются к линии боя...

— Как стройно идут они... — любуется ими генерал...

Каждый подходит с музыкой и ложится в лощину — «до востребования»... Туман рассеивается... Горные стремнины обнажаются, и в эту минуту заметно, как к ним, точно тень от облака, скользят вниз турецкие таборы.

Из второй линии в передовую послан для усиления весь Углицкий полк... Дело близко к решающему моменту; смотря на обстановку боя, мы любуемся стройностью движения угличан, которые развертываются как на парад и с развернутыми знаменами под музыку красиво входят в боевую линию... Сражение распространяется по всей линии передового отряда. На левом фланге у отступавших к курганам стрелков вспыхивает «ура» и перекидывается из роты в роту по всему расположению войска, из передовой линии в резервы. Скоро вся долина, занятая нами, гремит от восторженных криков. Стрелки на левом фланге вторично кидаются в атаку, неудержимо выбивают первую линию турок, вскакивают на бруствер траншеи, заложенной в лесу, оттуда скоро вырываются к нам сюда красные языки пламени... Слышны вопли побежденных и новое торжествующее «ура» владимирцев и углицких стрелков. Начинается тот период боя, когда стихийная сила заменяет одну волю, когда управляющий боем может только усилить, направить, но не прекратить движение, не помешать ему. Солдаты, видимо, рвутся вперед... Скобелев еще хочет выдержать момент, зная, что позади резервов мало.

— Суздальский полк и две болгарские дружины пришли... — докладывает ординарец.

— Турки окружены нашей кавалерией с тылу... — сообщает другой...

— Мы вошли в соединение с Мирским — вот записка от князя...

— Ну, с Богом теперь!..

И Скобелев перекрестился.

Точно дрогнуло все под гулкий рокот барабанов, возвестивших общую атаку... Пришлось останавливать солдат, кипевших боевой энергией. «Ну, теперь — победа верная!» — крикнул Скобелев, глядя на своих солдат.

Я не описываю здесь эпизодов этого колоссального боя, совершившихся в горных туманах у Радецкого и в левофланговой обходной колонне у князя Мирского. Книга эта исключительно посвящена Скобелеву, почему в этом наброске я говорю только о его участии в шейновском бое.

Углицкий и Казанский полки и пятая дружина болгарского ополчения с изумительно красивою стройностью двинулись вперед под густым огнем неприятеля. Наши шли без выстрела. В этот день они не выпустили почти ни одного патрона и исключительно работали штыками... До опушки леса они шли точно церемониальным маршем, под музыку, в ногу... На параде так не ходят... У опушки полки развернулись побатальонно и почти под сплошным огнем, пронизавшим их, кинулись беглым шагом вперед... Чтобы менее было потерь в известные моменты, люди залегали в канавы и потом по команде перебегали к следующей... С еще большим ожесточением рвались в бой болгары... Один батальон, против которого был направлен особенно сосредоточенный огонь, приостановился... Два раза отдали ему приказание «вперед» — ни с места. Точно столбняк напал. Тогда командир подскакал к батальону, выхватил знамя из рук знаменщика и с ним кинулся

в огонь. Как один человек, бросились солдаты... Их напор был так неудержим, что первый ряд ложементов и траншей моментально оказался у нас в руках... Передовая турецкая позиция была атакована по приказанию Скобелева одновременно казанцами слева, угличанами справа.

Закипел штыковой бой. Не просили и не давали пощады. Кололи безмолвно, сжав зубы... Солдаты только старались не глядеть в глаза защищавшимся. Это очень характерная черта. Закалывая, солдат никогда не смотрит в глаза врагу. Иначе «взгляд убитого всю жизнь будет преследовать»; это — убеждение, общее всем.

Линия неприятельских стрелков, стоявшая все время здесь, не ушла никуда — вся осталась на месте. Как она сбилась к брустверу, так и легла там. Густо легла — точно второй вал у вала... Раненые, падая, схватывали врагов и душили их, в бессилии находили еще возможность зубами вцепиться в солдата, пока тяжелый приклад не раскраивал черепа... Болгарское ополчение дралось столь же ожесточенно, еще злобнее, если хотите, потому что тут вспыхивала племенная ненависть...

Когда первые ложементы были взяты, до отдыха еще оказывалось далеко... Перед солдатами оказался укрепленный лагерь турок и их редуты.

Укрепленный лагерь был не что иное, как деревня, где каждый плетень, заваленный землею, являлся бруствером траншеи, каждый дом — блокгаузом. Тут бой шел, разбиваясь на мелкие схватки. Стреляли со всех сторон. Тут можно было затеряться... Упорно защищали эту позицию турки, но угличане и казанцы выбили их штыками оттуда.

— Знаете, — оборачивается Скобелев, — опушки рощ, деревни часто переходят из рук в руки... Я боюсь, чтобы турки не бросили сюда все, что у них есть, и не отняли занятых угличанами позиций... Со свежими силами они могут сделать много против изнуренных солдат...

Ввиду этого генерал передвинул из резервов еще батальон, который, дойдя до места, сейчас же окопался.

— Если наши войска дрогнут, траншея эта будет служить им опорой, чтобы прийти в себя и опять броситься на турок.

Но опоры не понадобилось.

— Увлечение солдат росло. Они крошили все на своем пути. За укрепленным лагерем попался им редут... Никто не знает, вскакивали ли сюда первыми те или другие солдаты — полк как будто прошел через редут, не останавливаясь в нем; минуты остановки не было, а между тем позади, когда угличане шли на следующий, — остались между брустверами груды тел и раненых. Оказывается, что защитники редута были перебиты штыками... Налево был другой редут, сильнее. Взять его с фронта было невозможно. Батальон Казанского полка обошел его с тылу и так неожиданно кинулся на турок оттуда, откуда его никто не ожидал, что таборы бросили оружие и в ужасе только подымали руки вверх, крича навстречу нашим солдатам: «аман! аман!»

Еще два редута было взято штыками... В следующем турки, заметив, что наши их обходят, бросились было все на угличан, но казанцы развернулись в длинную линию и открыли такой огонь по бежавшим, что редкий из них спасся. В этом единственном случае наши стреляли. Повторяю еще раз, вся работа 28 декабря была сделана штыками. Поэтому и потеряли мало! Я нарочно останавливаюсь на этом, чтобы показать, до какого идеального совершенства Скобелев довел своих солдат. Солдат, атакующий врага без выстрела, образец дисциплины и выдержки. Трудно поверить, какой соблазн стрелять по неприятелю, а не ждать штыкового боя... Хотя за закрытием редутов ружейный огонь наступающего врага приносит очень незначительный вред обстреливаемым.

В два без четверти деревня со всеми ее укреплениями была взята.

Движение угличан и остальных на правом фланге было гениальною диверсией Скобелева. Он сначала массировал свои войска на левом фланге и упорно повторял атаки там. Затем, заметив, что турки сосредоточили свои силы против нашего левого фланга, он внезапно переменой фронта перешел в наступление с правого. Таким образом, турки были не только обмануты, но обнажили и обессилили ключ своих позиций. Без этого блестящего хода игра этого дела, пожалуй, не могла бы быть выиграна, и турецкой армии не был бы дан этот последний и решительный шах и мат. После блистательных атак Скобелев выстроил перед Шейновом Владимирский полк и во главе его уже сам хотел нанести туркам решительный удар в их центр.

— Ну, братцы, за мной теперь. Ваши товарищи честно сделали свое дело, — кончим и мы как следует.

— Постараемся...

— Смотрите же... Идти стройно... Турки почти уже разбиты... Благословись, с Богом!

Солдаты сняли шапки, перекрестились. Оркестр заиграл марш, и под звуки его стройно двинулась атака. Настроение солдат было действительно восторженное. Шли смело, блестяще, отсталых не было...

Не успели мы доехать до леса, как навстречу нам стремглав скачет ординарец Скобелева — Харапов, без папахи, и издали еще машет рукой. А подъехал — говорить не может от устали.

— Ваше-ство... турки подняли... белый флаг...

— Как, где?.. Не может быть, так скоро... Ну, господа, за мной скорее.

Раздел XXVIII

Я до сих пор не могу забыть этого безумного, радостного чувства победы. Несешься вперед, дышишь полною грудью, и все-таки кажется, что воздуха и простора мало... Скобелев рвет шпорами бока своему коню... Конь стрелой мчится вперед, а генералу все кажется медленно. Ветви ему хлещут в лицо... Не чувствуешь даже, как позади остаются ручьи и овраги. В одном месте брызнуло водой — даже и не моргнули... Вперед и вперед... Из рядов несется радостное торжествующее «ура» владимирцев, бегом следующих за генералом... Не замечаешь трупов, разбросанных по сторонам. Уже потом, анализируя пережитые ощущения, смутно припоминаешь, что чуть не из-под копыт коня подымались какие-то люди с простреленными грудями, с окровавленными головами, протягивали к тебе руки... Приходят на память другие, схватившиеся друг с другом, да в момент смерти так и закостеневшие... А там, в горах, еще не знают... Там еще идет бойня, люди падают, умирают, мучаются, дерутся...

— Вся ли армия сдается? — голос Скобелева стал каким-то хриплым.

— Таборов десять бежало.

— Харанов! Стремглав сейчас же к Дохтурову... Слышите... Пусть кавалерия вдогонку... Чтобы ни один человек не ушел у меня... Поняли?

И еще глубже шпоры вонзаются в белую кожу коня, и еще бешенее мчит он генерала вперед и вперед.

— Имею честь поздравить, ваше-ство! — наскакивает какой-то офицер.

— С чем?

— Казачий № 1 полк под начальством самого Дохтурова обскакал бегущих турок с тылу, бросился в шашки, несколько сот положил на месте и взял в плен...

— Сколько? — нетерпеливо перебивает генерал.

— Шесть тысяч человек.

— Спасибо... Счастливый день...

Впереди — депутация нам навстречу. Доктор и санитары со знаками красной луны. Высоко над головами держат они большие листы бумаги — женевские свидетельства. Около наши солдаты толпятся.

— Пусть убирают своих и чужих раненых... Обещать полную безопасность... Солдаты! Это не пленные, слышите?

— Слышим, ваше-ство!

— Это свободные люди... Доктора! Они будут помогать и нашим, и туркам. Поняли?.. Они — друзья наши... Смотрите же у меня, не обижать!

И опять безумная скачка вперед... Тут уже груды трупов... Массы раненых... Опушка — громадная долина... Мы останавливаем коней...

...Вспоминаешь ли ты, ты, недвижно лежащий теперь под этим парчовым покровом, ты, сомкнувший зоркие очи свои, — эту минуту счастливого торжества, когда так легко дышалось тебе, когда, казалось, весь простор перед тобою был тесен для твоего счастия... Где твоя сила, где эта мысль, быстрая как молния и могучая, как она?.. Хотелось взять его за плечи... Крикнуть прямо в это мертвое лицо... Победа, генерал, победа!.. Но, увы!.. Он уже не шевельнется на знакомый привет, и восторженное «ура» торжествующих полков уже не способно зажечь этот тусклый, из-под опущенных ресниц, едва-едва светящийся взгляд...

Душно... Душно... Тоска давит, плакать хочется над тобою... Кто уложил тебя так рано, тебя, перед которым в бесконечную даль уходили подвиги, торжества... Тебя, венчанного славою, тебя, так рано узнавшего ее тернии...

Хороша была эта долина, рядом у опушки оставленного позади леса, открывшаяся перед нами... Вон налево руины Шипки под грозными массами крутых отсюда

и резко очерченных Балкан... Вон внизу на холмах целый фронт редутов... Из-за их брустверов видны солдаты, тускло мерещутся штыки... Но это солдаты наши и штыки наши. В других еще стоят красноголовые турки, но уже молча, сложив свои ружья... Залпы только гремят еще на вершинах шипкинского перевала.

— Где же белый флаг? — нетерпеливо спрашивает Скобелев.

— Правее.

Там за рекой — правильные колонны каких-то войск... Там еще туман. Не разобрать в его желтоватом освещении, свои или чужие...

— Была не была, едем! — И Скобелев решительно дает шпоры коню.

Вода ручья брызжет из-под копыт лошадей прямо в лицо нам... С того берега гремит «ура» — наши!..

— Где же белый флаг? — кидает им с ветру, с бегу Скобелев.

— Позади, ваше-ство!

Мы проскакали мимо... Опять бешеный карьер... Вот редут, сплошь наваленный мертвыми и ранеными... Вон большой холм, точно сахарная голова. Снизу вверх спираль траншеи... Не видать земли, все усыпано красными фесками... Ярко, пестро. С верхушки во все стороны грозно смотрят крупповские орудия, выше их еще медленно развертываются и полощутся в воздухе два белых флага.

— Мерзавцы! — срывается с губ у Скобелева.

— Кто мерзавцы?.. — удивляюсь я.

— Разве можно было сдать такую позицию...

— Да и защищать нельзя... Обошли кругом...

— Защищать нельзя... Драться можно, умереть должно!..

Как будто из тумана выдвигается фигура какого-то офицера... Он подносит Скобелеву саблю пленного паши...

— Кто командует?..

— Вейсиль-паша.

— А Эйюб?

— Эйюба давно нет.

— Как он сдался?

— Без всяких условий... На милость победителя.

— На милость?..

— Точно так.

— Возвратить сабли пленным, свято сохранить их имущество, чтобы ни одной крохи у них не пропало... Предупредите, за грабеж буду расстреливать!..

Навстречу кавалькада... Только не наши... Совсем не наши... И кепи чужие и мундиры не те, к которым уже привык взгляд.

Впереди Вейсиль. Мясистое лицо с низко нависшими бровями. Суровое, некрасивое.

Скобелев подает ему руку и говорит несколько приветливых слов.

Турки мрачны. Им тяжело, невыносимо тяжело.

— Сегодня гибнет Турция, такова воля Аллаха! Мы сделали все.

— Вы дрались славно, браво... Переведите им, что такие противники делают честь... Они храбрые солдаты.

Им переводят...

— А все-таки мерзавцы, что сдали такие позиции! — заканчивает он про себя.

Отовсюду восторженные крики... Отовсюду стихийное «ура»... Лица солдат возбуждены, лучезарны.

— Спасибо, друзья, спасибо, товарищи... Спасибо, мои орлы! — кричит им Скобелев в свою очередь.

— ...Сколько у них было людей и пушек? — спрашивает он, кивая на пленных. Тем переводят.

— Тридцать пять тысяч войска и сто тринадцать орудий!

— И сдались!.. Хороши генералы...

Турки, сходя с редута, окружали нас сплошною стеною... В их массах слышалось: «Ак-паша, Ак-паша»... Все они нетерпеливо пробивались взглянуть на Скобелева.

— Что они говорят? — обернулся Скобелев к переводчику.

— Говорят, не мудрено, если их победили, русскими командовал Ак-паша, а с Ак-пашой драться нельзя...

Наверху еще шел бой... Скобелев слушал-слушал и вспыхнул.

— Передайте паше: если через два часа турки в селении Шипка и на высотах не положат оружие, я их буду штурмовать и никому пощады!..

— Они сейчас же сдадутся... — струхнул Вейсиль...

Издали послышалась музыка: развернутый, под распущенными знаменами, стройно подходил Владимирский полк.

— Сейчас, сейчас...

— Я хочу им сам отдать приказание положить оружие... Господа, останьтесь здесь... Передайте туркам, что я сам еду с ними...

И Скобелев поехал, со всех сторон окруженный вооруженными турками...

Двое или трое следовало за ним из русских.

— Однако наше положение странно!..

— Ну, вот еще!..

— Да как бы вы поступили на месте турок? — спрашиваю я.

Скобелев расхохотался.

— Во-первых, на их месте я бы не был...

— Ну, а если бы?

— Разумеется... Сейчас бы в шашки...

Впоследствии под Геок-Тепе он сделал еще лучше. После штурма и взятия этой крепости Скобелев едет в еще не сдавшийся Асхабат. Ему навстречу — семьсот

текинцев в полном вооружении, в праздничных костюмах — цвет текинского войска...

Скобелев обратился к ним с какими-то укорами... Они изъявили свою покорность...

— А если вы попробуете восстать, то я вас накажу примерно...

— Текинцы никогда не лгут!..

— Если так, то, господа, не угодно ли вам ехать обратно... Передайте текинцам, что они составят мой конвой...

И совершилось небывалое. Генерал один, окруженный семьюстами отчаянных врагов, верхом поехал в Асхабат... Двадцать верст они сопровождали его...

И разумеется, ни его прежние победы, ни страх его имени не могли ему создать такой популярности между ними, как эта поездка...

С той минуты он стал кумиром уже всего племени *текке.*

Раздел XXIX

Какая разница с Плевно. Там пленные долго оставались не накормленными. Им пришлось жить на открытом воздухе, в грязи и снегах болгарской зимы. Здесь все было сделано, чтобы смягчить участь несчастных. Они ели вместе с нашими солдатами у котлов; накануне еще Скобелев отдал приказание:

— Заготовить в солдатских котлах двойной запас пищи.

Через три часа по сдаче турки уже получили ее, ночью они спали в землянках и редутах, а утром под конвоем болгарского ополчения их отправили дальше, в Габрово.

— Горе узнали мы потом, у Ак-паши горя не было! — говорили они.

Солдаты, усталые от боя, не ложась спать, готовили кашу туркам, наши офицеры разобрали турецких к себе и оказали им широкое гостеприимство, паши приютились у генералов. На Шипке не умер ни один пленный, в Плевне они умирали сотнями.

— Если хоть десятая доля такой заботливости встретит нас в России — наши семьи могут быть спокойны! — говорили они.

— Смотрите, ребята, турки теперь друзья вам! — говорил Скобелев солдатам.

— Слушаем, ваше-ство! — отвечали они.

— Нет большего позора, чем бить лежачего... А они теперь несчастные, лежачие... Так ведь?

— Точно так, ваше-ство!

— Пока у них были ружья в руках — их следовало истреблять; раз они безоружны, никто не смей их пальцем тронуть... Оскорблять пленного стыдно боевому солдату...

И действительно, отношение скобелевских солдат к ним было искренно и задушевно.

Через день после боя вдоль Балкан, в долине Казанлыка, в две шеренги выстроились легендарные солдаты легендарнейшего из вождей... Одушевленный, счастливый, сняв шапку, мчался мимо них Скобелев.

— Именем отечества благодарю вас, братцы!.. — бросал он им свой привет.

— Ур-ра! — звучало вслед ему, и фуражки летели в воздух, и в глазах этих новых легионеров русского цезаря было столько любви и преданности, что у Скобелева долго потом навертывались слезы на глазах.

(Этот момент талантливый В. В. Верещагин выбрал для своей картины...)

Потом уже в Казанлыке я встретил Скобелева.

Он был мрачен... Интриги опять начались кругом, но это уже достояние истории. Теперь пока я молчу о них... Пусть нечистая совесть его врагов при жизни и его друзей после смерти сама заговорит. Более беспощадной Немезиды нет и не будет.

— Разумеется, вы с нами? — обратился ко мне Скобелев.

— Да...

— Завтра я выступаю в Адрианополь...

— Разве отряд ваш отдохнул?

— Я сегодня объехал свои войска: спрашиваю, нужен ли вам отдых, братцы... хотите ли вы дать туркам время оправиться?.. Никак нет, ответили они... Ну и поведу их... У них есть свой point d'honneur[22]...

— Именно?

— Им хочется раньше гвардии прийти... Куда прийти, не знают, потому что о существовании Адрианополя они узнали только теперь... Думают, что в Константинополь веду их...

[22] Вопрос чести.

— Да ведь в Константинополь мы и идем.

Скобелев вспыхнул.

— Да разве иначе можно?.. Иначе нельзя... Нужно дать России это удовлетворение... Мы можем остановиться только на Босфоре.

И остановились потом на Босфоре, только не дойдя до Стамбула!

В Казанлыке Скобелеву не было ни минуты отдыху, да во время отдыха он и сам никуда не годился, становился нестерпимо капризен, всем недоволен... Это была деятельная, боевая натура, которую спокойствие утомляло гораздо более, чем самая кипучая, самая безотходная работа... Если не было дела, он выдумывал его... Любимою в то время поговоркой его было: «Россия не ждет, отдыхать некогда, отдых — в могиле...» И действительно, он нашел свой отдых только под парчовым покровом, доставленным в отель Дюссо из Заиконоспасского монастыря. Он боялся отдыха...

— Ничто так не развращает, как спокойствие, ничто так не обессиливает, как отдых.

Борьба была для него необходимостью, жизнью... Я думаю, все помнят, что он делал в редкие антракты между двумя походами, сражениями. Другие, высунув язык, падают, бывало, от устали, а он сядет в седло да отмахнет на подставных лошадях карьером верст сто двадцать. Это у него называлось отдыхом. Вернется, обольется водой, проспит несколько часов — и опять свеж, опять готов на трудное предприятие... Или отправится куда-нибудь к офицерам своего отряда и вместе с ними и солдатами проводит целые дни. Для него в это время не было более задушевного общества. Кружок главных квартир тяготил его. Там не свое. Там он или спорил, резко, бесцеремонно обрывая фазанов, или угрюмо, сосредоточенно молчал.

Отводил душу только попадая к отцу. Тут или он трунил над ним, или старик прохаживался насчет сына...

— Ну что, хвост-то тебе обрубили наконец? — спрашивал отец, когда молодой Скобелев возвращался от Непокойчицкого.

— Нет.

— Жаль!

— Почему это жаль?

— А потому, что уж очень ты распустил его...

— Ты вот что... Денег не даешь, а смеяться смеешься...

— И не дам.

— Подожду я, отец, когда тебя отдадут мне под команду.

— Ну?

— Тогда я тебя за непочтительность под арест посажу...

И оба смеются...

Когда на Зеленых горах Скобелева в ночь на 8 ноября контузили, приезжает к нему отец, — Скобелев лежал в постели, больной совсем.

— Ну, наткнулся, наконец... И чего суешься... чего суешься... — начал выговаривать старик.

— А все твой полушубок...

— Как это мой?

— Так, твой...

Скобелев был очень суеверен. Накануне отец ему подарил черный теплый полушубок, в котором его контузили тотчас же. Через два дня он опять надел его — его контузили опять.

— Возьми, пожалуйста, свой полушубок... Ты дай мне лучше деньгами...

— Неужели ты веришь, что тебе полушубок этот принес несчастье?..

В Казанлыке отцу Скобелева дали отдельный отряд...

— Ну отчего, отец, ты ко мне вчера не явился?

— Как это? — удивился тот.

— Как являются к начальству, в полной парадной форме...

— Да ведь я не к тебе под начальство.

— Жаль!..

— Почему это?

— По всей справедливости следовало бы.

Поздно ночью в Казанлыке возвращаюсь я к себе домой верхом. Ни зги не видно. Навстречу мне другой всадник. Улочка узенькая.

— Эй, кто там? — кричу я... — Держи правей...

— Это вы? — называет меня по имени Скобелев.

Я тоже сейчас узнал его по голосу.

— Куда вы? — интересуюсь.

— А тут в одну деревню.

— Зачем?

— Попаду к рассвету... Хочу узнать, как моих солдат кормят теперь; как начнут варить им похлебку и кашу, я уж там буду... Ненароком. Поедем вместе.

И мы отправились.

Чем дальше, тем его заботливость о солдате все больше и больше росла. Он сердцем болел за него. И всякая несправедливость, нанесенная солдату, живо чувствовалась им, точно эта обида направлена была именно на него одного. Он бледнел, когда при нем рассказывалось о том, как в такой-то дивизии солдаты голодают, как в другой их секут, как в третьей их изводят на бесполезной муштре...

Раздел XXX

Переход Скобелева от Казанлыка к Адрианополю навсегда останется в военной истории. Никогда еще не случалось пехоте совершать с такой быстротой походы, которые едва ли под силу и кавалерии. Масса силы воли и энергии, обнаруженная при этом случае генералом, едва ли привела бы к подобным результатам, если бы дивизия его не получила такого блестящего военного воспитания. Отдыхать ей совсем не пришлось. 28 декабря была взята в плен армия Вейсиль-паши после утомительного перехода от Плевны к Габрову, трехдневного мучительного пути по Балканам и упорного сражения в долине Казанлыка. А 1 января — авангард скобелевского отряда уже выступил из этого города к малым Балканам. Все это движение со дня падения Плевны носит какой-то головокружительный характер. Мы точно хотели вознаградить себя за долгие стоянки перед армией Османа. Главная квартира Великого князя помещается чуть не на аванпостах, наши войска частью с запада, частью с севера беспримерными переходами стремятся поскорее стать у ворот Константинополя...

— Вот такой поход по мне, это я понимаю! — говорил Скобелев. — Еще несколько дней подобного перехода, и нас никто не остановит. Мы докатимся до Босфора.

По всему этому пути то с боя брали турецкие позиции, мосты, железнодорожные станции, то занимали новые города, поспешно очищавшиеся турками. Кавалерийские отряды, стараясь осветить местность, уходили как можно дальше вперед, но, к крайнему удивлению их, вечером густые массы пехоты настигали всадников и располагались на ночлег в одних и тех же пунктах с ними. Одушевленные недавними победами войска скобелевского отряда делали чудеса. Михаил Дмитриевич, которого трудно было удивить чем-нибудь, рассказывал о них с восторгом.

— Чего нельзя сделать с такими солдатами! Помилуйте, тырновский мост адрианопольской железной дороги один эскадрон нашей кавалерии атаковал так стремительно, что четыреста пехотинцев турецких не выдержали и отступили... Вообще, напрасно думают, что кавалерия бессильна относительно пехоты... У меня на этот счет свои взгляды. Я в эту войну присмотрелся к способу действий кавалерии. В мирное время займусь ее маневрами и в первую большую европейскую кампанию покажу, что может сделать с пехотою конница, хорошо приспособленная и умеющая пользоваться местностью. Говорят, что у нас кавалерии нет... Оно, если хотите, правда. Где же будет настоящая кавалерия, если все в ней сводится к тому, чтобы лошадь была в теле, подобрана как следует... Тут парад убивает дело... Но уже и теперь я знаю полки совсем иначе действующие. Дохтуров, вот, понимает, что нужно делать.

Кавалерия на этот раз, действительно, показала себя. Она брала стремительной атакой уже горевшие мосты. Обскакивала отступавших турок... Становилась впереди их обозов. Отхватывала целые поезда с вагонами и локомотивами. Как только начиналось дело и на нее наседала турецкая пехота — откуда ни возьмись являлись скобелевцы и поддерживали своих. Часто кавалерия врывалась в города, еще занятые турецкой пехотой, и не отступала от превосходных сил ее, а держалась, зная, что через час, через два по пятам ее явятся свои и дело будет выиграно... Изумительные переходы этого периода прошлой войны, я думаю, до сих пор памятны и солдатам, и офицерам. Случалось, сделают тридцать-сорок верст и только что расположатся на отдых, как их опять двигают дальше. И при каких условиях совершал Скобелев этот поход. По пояс в грязи, под холодным дождем, в насквозь измокших шинелях. По пути то и дело встречались наполненные жидкою слякотью ямы и ухабы... Лошади отказывались

служить, а люди все шли да шли, исполняя и за измученных коней трудную работу. Делая шестидесятиверстные переходы в день, сверх того еще тащили пушки... Один полк, например, только что добрался до Хаскиоя, только что было расположился на отдых, как вдруг — назад в Германлы. Вернулись в Германлы, провели часть ночи. Нужна была дневка, чтобы восстановить упавшие силы, как вдруг выезжает сам Скобелев.

— Поздравляю, братцы, с походом в Адрианополь...

Ни с одним другим генералом солдаты не сделали бы подобного... С ним мрачные, сосредоточенные, усталые, но шли и шли... Когда уж слишком было трудно, тогда сходил с коня Скобелев, вмешивался в ряды... Раз после семидесятиверстного перехода силы у людей окончательно упали, а впереди явились сведения о движении таборов египетского принца Гассана. Скобелев подъехал к людям.

— Голубчики... Напоследок... Неужели же у самого Адрианополя да мы осрамимся...

Поднялись солдаты... Пошли... Ноги отказывают, едва-едва бредут.

— Товарищи... Ну-ка, еще переход, вечером кашей накормлю...

И солдаты, смеясь, пошли так быстро, что не только нагнали Гассана, но еще отрезали у него хвост, т. е. захватили громадные обозы и сто верблюдов... Впоследствии они все были у Скобелева в дивизии.

— Это наши верблюды... Походные... Она животная добрая, настоящая солдатская скотина... — хвалили они верблюдов.

Одно, о чем заботился по всему этому пути Скобелев, чтобы солдаты у него были постоянно накормлены. Всюду: на походе, в бою, в пустынном безлюдье и только что занятом городе — одинаково — горячая пища являлась в свое время и люди ели до отвала.

— С ними все можно сделать, нужно уметь.

— Отчего же другим не удавалось делать такие переходы?

— Видите ли, душенька (любимое слово Скобелева), нужно, чтобы генерал пользовался громадным авторитетом у солдат, чтобы они его любили... Тогда сделаем все. А то и другое приобретается не сразу... И не даром. Раз это есть, и в самом, сверх того, энергия ключом бьет — бояться нечего. Чудеса сделать можно... Понимаете, чудеса... Разве не чудо — сравнять пехоту с кавалерией. Никуда у меня кавалерия уйти не могла, чтобы ее полки мои не нагнали... А это для меня — практика...

— Для чего?

— А для того, чтобы в большой европейской войне неожиданно сосредоточивать и массировать войска в самых немыслимых пунктах. Если придется нам схватиться с немцами, я всегда постараюсь против одной их дивизии поставить своих две. А для этого нужно приучить солдата к неутомимости... Ни расстояние, ни погода не должны его пугать... В этом залог успеха...

Когда отдыхал и спал Скобелев во время этого сказочного похода — неизвестно... Силы его отряда во всяком случае были так незначительны, что помимо этих громадных переходов солдатам, останавливавшимся на ночлег, приходилось еще окапываться...

— Чего же торопиться так? Три дня не сделали бы разницы, — спрашивали его.

— Как?.. По другую сторону Марицы, параллельно с нами, шли таборы Абдул-Керим-паши... Адрианополь являлся, таким образом, призом, который достанется быстрейшему. Явятся они раньше — засядут в адрианопольские форты, и тогда прощай надежда на скорое окончание войны!.. Тут расседлать коней некогда.

Движение это было столь быстро, что, воображавшие встретить русских только в Казанлыке, Сервер и Намык паши пришли в ужас, встречая массы беглецов по дороге.

— Где москов? — спрашивали они.

— Москов близко!..

Наконец, в шестидесяти верстах за Адрианополем Намык и Сервер, пораженные, наткнулись на аванпосты Скобелева.

— Чей отряд? — спросили у своих.

— Ак-паши!

До того это было неожиданно и так потрясло старика Намыка, что он зарыдал, откинувшись в глубь кареты... Через час к ним подъехал почетный конвой от Скобелева. Генерал принял их у себя.

— Не хотят ли паши отдохнуть и переночевать здесь? — обратился он к ним.

— Нет, нет... Ни за что!

— Почему же?

— Если мы остановимся на ночь, то вы будете уже за Адрианополем. А когда мы доедем до главной квартиры — то вы и к Стамбулу подойдете!

И действительно, не успели паши добраться до главной квартиры, не успели выслушать условий перемирия, первым пунктом которого была сдача Адрианополя, не успели они еще расположиться на отдых, как их разбудил, кажется, полковник Орлов.

— Что такое? — всполошились те.

— Великий князь, главнокомандующий, приказал сообщить вам, что уступка Адрианополя больше уже не требуется...

— Что значит это?

— Сегодня утром Скобелев уже занял Адрианополь.

— Этого не может быть. В Эдирне, верно, уже Сулейман...

— Сулейман разбит и бежал в горы.

Скобелев торжественно вступил в Адрианополь. Массы народа высыпали ему навстречу. Цветы и венки летели под ноги его коня. Болгарки, осиротевшие после казненных и убитых отцов, мужей и братьев, прорывались к нему, целовали ему руки и ноги, тысячи благословений слышалось кругом... У самого города генерал обратился к своим войскам:

— Я надеюсь, братцы, что вы не опозорите себя здесь самоуправством. Нас принимают как друзей, и мы должны себя держать как друзья. Не сметь ничего и никого трогать... Если найдутся между вами люди, способные красть и грабить, чему я не верю, не хочу верить, я без церемоний расстреляю их... Но я знаю, что этого не будет... Солдаты мои не способны на это!..

— Рады стараться, ваше-ство!

— Первое время вас поместят в дома, из которых, пока население не привыкнет к вам, не выходите...

И действительно, солдат первый день не видно было вовсе на улицах города.

Запертые лавки открылись, спрятанные товары появились на прилавках, торговля закипела вовсю. Население города благодарило войска за изумительный порядок, прислало солдатам всевозможных припасов. Через два дня, когда солдаты стали уже ходить по городу, их всюду принимали как друзей. В некоторых лавках отказывались принимать от них деньги. Солдаты насильно отдавали их.

— Бери, бери, нечего. Мы, брат, свои... Не говори потом, что братушко обидел тебя... У нас, брат, на это строго...

Две недели порядок в Адрианополе не нарушался вовсе... Ни одного грабежа, ни одной кражи, ни одной драки в городе... Ни разу и никто не явился с жалобой на солдат... «Нам и при турках не было так хорошо. Еще никогда торговле и промышленности так не покровительствовали

в Эдирне!» — говорили адрианопольцы. Ушел Скобелев — город заняли другие отряды, и недавнее спокойствие сменилось совсем иным.

Это, впрочем, уже не входит в программу нашей книги...

— Спасибо, ребята, — говорил Скобелев своим полкам, оставляя Адрианополь. — От души спасибо. Вы высоко подняли честь русского солдата. Вы доказали, что мирному населению вы не враги, а друзья, что вы защита каждому, кто не идет на вас с оружием в руках... Спасибо вам, страшным в бою и добрым на отдыхе!..

— Ну, полдела кончено! — говорил он в Адрианополе. — Мои солдаты имеют полное право гордиться этим переходом от Казанлыка сюда... И главное, знаете почему?

— Быстротой и стремительностью?

— Этого мало. При быстроте и стремительности мы не растеряли солдат. У нас не было отсталых. Скажите, пожалуйста, встречали моих солдат или струковских кавалеристов позади?..

— Нет.

— Вот оно и есть... В таком походе и отсталых не было... Пришли в Адрианополь — больных не оказалось. Вот почему я и мои солдаты можем гордиться этим эпизодом... А теперь давай Бог поскорей добраться до Константинополя!

Раздел XXXI

Адрианополь, турецкое Эдирне, до сих пор мерещится нам какою-то далекой поэтической грезой... Это город изящных Джамий, венчанный, словно короной, мечетью Селима с ее четырьмя дивными минаретами. Это — мусульманская Москва, вторая столица султанов, полная для оттоманского народа воспоминаний о прежнем блеске и славе... Мы въезжали туда с понятным волнением. Скобелев там остановился в доме Амед-Юнус-бея — пустом, оставленном его жителями. Хозяин, известный предводитель башибузуков, один из ренегатов, бывший христианин, теперь озлобленный, ненавистный христианам турок, палач мирного населения, разумеется, не имел права рассчитывать на любезность русских. Зато дом его был идеалом восточного жилья. Невиданную до тех пор роскошь обнаруживал этот мусульманский палаццо с его переполненными тропическими растениями зимними садами, мраморными залами, поэтическими фонтанами, полными тишины и неги кельями гарема, зеркальными стенами и красивыми лестницами. Лепные и расписанные потолки смотрелись в кристальные воды внутренних бассейнов, тропические цветы, орошаемые алмазною пылью фонтанов, распространяли тонкое благоухание по широким залам... Скобелев выбрал тут самую простую комнату, в другой поместился его штаб. В Адрианополе отдыха было мало. С первого же дня делались поездки в окрестности, рекогносцировки к Чорлу и Гадем Киой. Сверх того возня с консулами и администрацией турецкого города тоже немало отнимала времени у Михаила Дмитриевича. Тут он в первый раз и совсем неожиданно для главной квартиры обнаружил свои административные способности. Короткий период его управления Адрианополем был замечателен в полном смысле слова. Потом, начиная

от последнего мусульманского бейгуша и кончая банкирами и капиталистами Эдирне, все вздыхали о нем.

— При Ак-паше было гораздо лучше. Ак-паша не давал нас в обиду...

— Скобелев справедлив. Для него нет своих или чужих... При нем никаких недоразумений не случалось.

Здесь же Скобелеву пришлось расстаться с оригинальным ординарцем из турок. В шейновском бою он спас от смерти молодого турецкого офицера.

— Куда мне деться? — спросил тот.

— Пусть едет за мной!

Тот и остался при Скобелеве. Мы много смеялись, видя, с какою важностью турок следует всюду за генералом, не оставляя его ни на шаг. Потом оказалось, что он серьезно привязался к Михаилу Дмитриевичу. Он не отставал от него, как не отстает собака от господина, шел по пятам. В Казанлыке он был всюду, где был генерал. В конце концов, он стал передавать поручения туркам, собирать всевозможные справки... Сделался совсем ординарцем.

Стали было его расспрашивать о позициях турок в шейновском бою — отвечает охотно. Сам указывает, куда лучше идти, откуда удобнее атаковать.

— Вот патриотизм!.. — злился Скобелев. — А ведь храбрый офицер был... С превосходными солдатами и такими офицерами турецкая армия уйдет недалеко. Бросьте — не расспрашивайте его... Офицер не должен быть лазутчиком!.. А впрочем...

И Скобелев расхохотался, поймав себя на этой сентиментальности.

Тотчас же он чудесно воспользовался сведениями, сообщенными ему турком...

— Их нельзя судить с нашей точки зрения!

Тем не менее меня интересовал этот субъект. Я через переводчика по окончании боя обратился к нему с вопросом: как он может служить врагам своего отечества.

— Потому что это — Ак-паша... А Ак-паше всякий служить поставит себе за честь... Таких генералов нет... И по корану выходит то же.

— Вот те и на... Это же каким образом?

— Коран говорит: победителю повинуйся... Нет силы высшей, как сила меча.

В Адрианополе было полное убеждение, что Турции уже не будет, что все ее европейские провинции присоединяются к России. Когда Скобелев созвал к себе улемов, они ему ответили то же, что и ординарец из турок ответил мне.

— Мы обязаны повиноваться победителю! — говорили они.

— А если Адрианополь отдадим болгарам? — возразил Скобелев.

— Болгары нас не завоевали, и по корану мы восстанем и истребим их... Нас завоевали русские силою меча, и только они имеют право быть нашими господами...

— И если они будут так же справедливы, как ты, — отозвался седой как лунь старик, — то мы благословим Аллаха, карающего нас... С русскими жить можно.

— Ничего не тронул, ни имущества нашего, ни наших жен. Когда армяне и греки вздумали было вместе с болгарами обидеть нас, воспользоваться нашим достоянием, ты вступился за турок, ты стал нам защитой... Пусть белый царь отдаст тебе в управление этот вилайет — мы ничего не хотим больше.

— Сами турки не верят, — говорил Скобелев, — что мы когда-нибудь вернем им Адрианополь... Неужели мы его не удержим за славянами... Этого не может быть...

Потом я встретил его на фортах Адрианополя. Адрианополь укреплен гениально, и если бы Сулейман, или

Абдул Керим, или Вейсиль, отступая, заняли их, здесь бы выросла такая Плевна, что первая, остановившая нас на шесть месяцев, побледнела бы перед нею. Их всех — двадцать семь, и они расположены правильным фронтом вокруг города, на ружейный выстрел один от другого. Каждый полк, который двинулся бы в атаку, подвергнулся бы огню, по крайней мере, двух таких редутов. Они поразили Скобелева удивительными приспособлениями к местности... «Вот мастера-то...», «Вот гениальные инженеры!» — повторял он, осматривая их.

— Не так, как у нас!..

— Почему?

— А потому, русский инженер начнет строить, вперед можно знать — по книжке выстроит... Как в книжке, так и у него... А тут и форму, и расположение форта определяет не книжка, а местность.

И действительно, мы видели здесь и четырехугольные, и овальные, и вытянувшиеся длинною волнистою линией. Везде чистота и изящество работы было удивительное. Всюду каменные траверсы, рассчитанные так, что откуда бы ни был огонь, ни орудия, ни склады, ни люди не подверглись бы малейшей опасности... Из каждой амбразуры открывался обстрел дороги, лощины, гор. Амбразуры были прорезаны так, что полоса обстрела могла быть определяема произвольно. Насыпи башенных редутов были сделаны в совершенстве.

— Лучше нельзя... Лучше нельзя... — повторял Скобелев. — Посмотрите, у них каждый форт имеет свою физиономию. Нет рутинных утвержденных чертежей. Простор частной инициативы талантливых инженеров полный!.. Посмотрите-ка на № 5-й... Он вытянут извилиной по узкому гребню горы... С одной стороны он обстреливает Марицу и ее берега, с другой — все эти оставленные

и разоренные деревушки. Каждая извилина его даст новое направление огню...[23]

— ...Как можно сдать такие позиции... — злился Скобелев. — Знаете... Досадно, что Сулейман не занял их...

— Вот-те и на...

— Вы меня не поняли... Я рад... Но инстинкты военного — совсем иное... У меня сейчас же вот явилось желание взять их боем... Какая слава!.. Взять штурмом такой редут — не то что плевненский...

И воодушевившись, он начал уже располагать войска, указывать пункты, откуда бы он начал атаку, подступы, по которым бы повел ее, овраг, который бы дал ему возможность укрыть резервы и предпринять обходные движения...

— Они воображают, что этого редута нельзя разгромить артиллерийским огнем... А я бы вон там поставил дальнобойную батарею... Отсюда бы мог подходить тихою сапой... Рылся бы, рылся... Нос к носу стал, а там — первая удобная ночь — «ура» и в штыки...

И план за планом так и посыпались у Скобелева.

Ничего, ни малейшей неровности местности, ни малейшего пригорка не упускал его зоркий, орлиный взгляд. Невозможное действительно становилось возможным и недоступное доступным.

— Верьте мне, при хороших войсках и опытных генералах и офицерах нет неприступных крепостей... Гибралтар можно взять, не то что эти форты... Разумеется, если уверить себя, что этого вот нельзя — так и ум утратит силу... Прежде всего нужно иметь дерзость при знаниях и таланте, а остальное все приложится... Расчет и дерзость. Массу войска, превосходное вооружение, чудесную артиллерию... Вон, видите, лощина...

---

[23] Я хорошо помню все подлинные выражения Скобелева, потому что тогда же внес их в свой «дневник корреспондента».

— Вижу.

— Вот этой лощиной я бы в тыл к ним пробрался и стал хозяйничать... Еще раз повторяю: нет неприступных позиций... Решительно нет. Бывают позиции, которые требуют слишком много жертв, так что овчинка не будет стоить выделки. Это верно. Но если уже говорить о принципе, так всякую позицию взять можно... При современном состоянии вооружения Измаил был совсем неприступен, а расчесал же Суворов турок и взял крепость!

Раздел XXXII

Из Адрианополя Скобелев двинулся на Чатальджу.

— Если это этап, дневка, я готов помириться, но если после придется остановиться, не дойдя до Византии, то готов извериться во всем. Посмотрите, что это за чудная страна! Со времен Олега русские стремились сюда... Неужели же мы остановимся у цели?

И действительно, чудную страну проходили мы.

Стоял еще январь, а уже безоблачные голубые небеса благоговейною тишиной веяли на еще непроснувшуюся землю.

Сады и рощи стояли безлистные, но в воздухе уже изредка проносился тонкий аромат каких-то ранних цветов... Города и села поражали нас художественной пестротой. Тонкие минареты стройно рисовались в прозрачном воздухе, арки мечетей красиво изгибались над прохладными входами, за которыми густился загадочный мрак, едва-едва озаряемый маленькими лампочками турецких мечетей. Плоские кровли казались ступеньками каких-то чудовищных лестниц, разбегавшихся во все стороны. Ветер нес навстречу теплые волны иного, не нашего воздуха, нежного, ласкающего. По ночам откуда-то доносилась нервная, печальная, вздрагивающая песня мусульманского юга, и из-под низко опущенных покрывал порой женщины метали на нас то полные ненависти, то сверкавшие любопытством взгляды... Зеленые чалмы и халаты мулл, красные куртки албанцев, пестрые накидки молодежи — все это сливалось в какой-то яркий, красивый калейдоскоп... По вечерам, когда утихал гомон многоязычной толпы, издали доносилось меланхолическое роптание фонтанов... Кристальные струи, выбегая из желобов, проделанных в мраморных, золотою вязью покрытых досках, падали в такие же мраморные водоемы. В одном месте, по пути,

Скобелеву прислали букет неведомо как собранных цветов... Еще не пришла их пора, и таких в окрестностях не было.

— Откуда это?

— Благодарность... От турецких женщин...

— От каких турецких женщин? — изумился он.

— От женщин Казанлыка, Ески-Загры и Адрианополя... За то, что честь их не была нарушена, за то, что неприкосновенность гаремов свято соблюдалась вашими войсками.

«Совершенно напрасно, русские ведь с женщинами не воюют!..»

Скобелев, далеко не равнодушный к прелестям природы, восхищался этими местами по-своему.

— Какие позиции! — восклицал он. — Вот где Турция должна была бы защищать свою неприкосновенность. Первая линия защиты — Дунай, вторая — Балканы, третья — малые Балканы и четвертая — здесь... Если бы у них было так организовано, долго еще война бы не кончилась...

По пути он вел упорные споры с окружающими по совершенно отвлеченным вопросам, скакал в карьер и злился на возможность того, что дальше Чатальджи мы не двинемся.

Только что приехав в Чатальджу и получив приказание не двигаться дальше, он ночью с одним ординарцем отправился тайком на нейтральную полосу. Произвел рекогносцировку гадем-киойских позиций и всей местности, так что не удайся перемирие, найди турки войска, чтобы поставить их здесь, — Скобелев уже имел понятие о том, как отбить эти позиции, как вести атаку на них... В то самое время, когда, глубоко веруя в ненужность дальнейших военных действий, все успокоились, полковник Гродеков вместе с генералом сняли планы этой линии и изучили все ее детали...

После Адрианополя я уже мог любоваться только на Константинополь... На остальное не хотелось и смотреть.

В памяти вставала все время чудная картина Эдирне, только каким я его видел в последнюю минуту, когда только что поднявшееся солнце облило розовым заревом своим мраморные мечети этой мусульманской Москвы... Точно окрашенные румянцем крови, висели над городом четыре грациозные минарета Селима... Вспоминались и серые силуэты башен Эски-Серая и развалины римской крепости... Тянуло опять назад...

Чатальджа в трех верстах от станции железной дороги. Отряд весь расположился кругом, в самом городе, дома тотчас же переполнились массою офицеров, штабов, канцелярий... Не прошло нескольких дней, предприимчивые греки и левантинцы открыли здесь бесчисленные кафе, еще немного погодя — чуть не в каждой улочке закрасовались рестораны, а еще спустя немного из Царьграда налетела сюда международная саранча — девицы легкого чтения, немки, француженки, итальянки, армянки, гречанки... Войска, натерпевшиеся от невольного поста в Болгарии и на Балканах, стали отводить душу вовсю. Червонцы тратились щедрою рукою, вино лилось повсюду, от генерала до прапорщика — всем жилось весело... Как вдруг, словно гром грянул над отрядом, разнеслась весть о перемирии.

— Неужели мы не займем Константинополя!.. — взволновался Скобелев.

Ему говорили о возможности коалиции... Он повторял свое.

— Смелому счастье служит... Мы не можем отступать. Это вопрос нашей народной чести... Мы не можем опустить своего знамени; мы можем подписать самый великодушный мир (хотя великодушия я не понимаю), но подписать его в Византии!.. Не иначе. Это удовлетворение должно быть дано войскам. Следует занять Галлиполи, и ни одно английское судно не прорвется в Босфор...

Теперь или никогда... Прав тот, кто владеет!.. Европа не подымется. Она вся уйдет на брюзжание и дипломатические угрозы.

— А если?

— А если... Вернее, что она только отхватит себе тоже клочок медвежьего ушка...

«Это невозможно... Я не верю, не хочу верить этому... Неужели нам, триумфаторам, старые девы дипломатии и публичные женщины биржи будут предписывать условия... Не может, не должно этого быть... Иначе почти стыдно быть русским...

Будьте уверены, что проигрывают всегда малодушные и уступчивые...

Уступка эта крута. Начнешь сбегать — не остановишься, пока внизу не окажешься... А нам уступать теперь, после блестящего похода, после стольких пожертвований... Полноте!..»

Торжество перемирия здесь не было торжеством!.. Ему не радовались. Не радовались покою, отдыху, безопасности... Здесь предпочли бы новые побоища, только чтобы дело было кончено с честью для России.

Демаркационная линия и нейтральная полоса, представлявшие собой совсем пустынную и безлюдную местность, тянули к себе Скобелева... Деревни на расстоянии этих пятнадцати верст были очищены. Ни одного часового, ни одного солдата на редутах и фортах, ни одной старухи в селах. Только одичавшие голодные псы прятались в оставленных домах. А между тем турки могли смело гордиться укреплениями этой полосы. Даже адрианопольские уступали им...

Скобелев приходил в восторг от них...

— Вот бы этого строителя к нам... Это гений инженерного искусства.

Я слышал, что потом в Константинополе Скобелев познакомился с ним. Это оказался природный турок, Ахмет-паша, толстый, опухший, по-видимому, неподвижный... Полуграмотный турок, не знавший ни одного иностранного языка...

Турки опередили в этом отношении даже европейское военное искусство. Они в последние два столетия вели только оборонительные войны. Было время научиться... С турецким Тотлебеном Скобелев сошелся отлично... Тот даже показал ему укрепления Константинополя и планы, еще имевшиеся в проекте.

— Как это удалось вам?

— А я подпоил его! Он, как и все турки, не совсем равнодушен к шампанскому.

Главный из фортов этой полосы, имевший позицию Санджак-Тепе, был срисован самим Скобелевым...

— Знаете, этим ключом ничего не отопрешь.

— Почему?

— А потому, что добраться до него трудно, нужно взять пять больших фортов. А займем Санджак-Тепе, окажется, что этот ключ к замку не приходится вовсе, потому что за ним такие же ключи...

Скоро объяснилось, что приказание остановиться на пути к Константинополю и не идти далее было получено из Петербурга... Оно совсем не следовало из главной квартиры действующей армии. Потом его объясняли изменившимися политическими условиями.

— Жаль, что государя нет здесь при войсках!.. — говорил Скобелев.

— Все равно. Дипломатия работала бы так же.

— Нет... Тут окружающая среда уравновесила бы влияние дипломатов... Им ведь все равно, дипломатам... У них своя наука, свои таинства... А у наших, сверх того, и отечества нет вовсе... Им главное, чтобы их считали не русскими

варварами, а образованными европейцами. И ради этого они на все готовы... Вы их не знаете — я рос с ними. Все эти господа мои хорошие знакомые... Для них Россия — ноль. Нет более эгоистической среды, как эта... Оно понятно — иностранное воспитание, вечно жизнь за границей.

— Да ведь и вы воспитывались за границей.

— У Жирарде, да!.. Но вы знаете, каково было мое воспитание? Не слышали?

— Нет.

— Сначала у меня воспитатель был немец, несправедливый, грубый, подлый... Положительно подлый. Я ненавидел его, как только можно ненавидеть... С тех пор уже немцы были мне не по душе. Потом как-то он ударил меня, тринадцатилетнего мальчика, при девочке, которая мне ужасно нравилась... Ударил без всякого повода с моей стороны. Я не помню, что я сделал... Вцепился в него и закостенел. А знаете ли, чему учил меня этот прохвост? Тому, что Германия для России все. Что все в России сделали немцы, что в будущем Россия или должна служить Германии или погибнуть. Не было целого мира — была одна Германия... И ненавидел же я ее, от души ненавидел!..

— Это издавна у вас развивалось.

— Да!.. А потом отец прогнал немца, которого приставили ко мне, чтобы дисциплинировать меня, и который только ожесточил меня... Меня послали к Жирарде... в Париж. Вот противоположность-то! Я до сих пор люблю Жирарде, больше чем родных моих. Этот, напротив, учил меня любить родину, внушал, что выше отечества нет ничего на свете, говорил, что как бы ни было унижено оно, нужно с гордостью носить его имя... Это был *человек* в полном смысле этого слова... В полном! После грубых ругательств и побоев я встретил мягкость, внимательность, деликатность. Мне если что и запрещали, то не с ветру, не потому, что так хотел воспитатель, а тотчас же объясняли,

почему нельзя. Я с ним свет увидел... Я глубоко благодарен этому человеку. Он меня заставил учиться. Внушил любовь к науке, к знанию... Вот в Петербурге или в Париже я с ним познакомлю вас...

Увы, познакомиться с этим благородным воспитателем гениального вождя пришлось при иных условиях! Над изголовьем мертвого, над недвижным уже лицом Михаила Дмитриевича я увидел плачущего старика.

— Кто это? — спрашиваю.

— Жирарде! — отвечали мне...

И он пережил его... Он, больной старик — этого полного жизни и силы молодого человека!..

Раздел XXXIII

Нашу стоянку у Константинополя долго не забудут войска скобелевского отряда. Со дня на день ждали приказа — двинуться и занять Царьград. Турки уже очищали там свои казармы для войск... Население готовило цветы и флаги, христиане подняли головы, на азиатском берегу Босфора отделывали дворец для султана...

Ночью по узким улицам Стамбула, низко опустив свои капюшоны, ходили патрули, потому что само оттоманское правительство хотело удержать народ от могущих быть при вступлении русских или ввиду его беспорядков. Даже нашим врагам казалась дикою мысль остановиться у ворот столицы и не занять ее, хотя на время... На берегах Босфора толпы солдат и офицеров стояли у пристани в ярком мареве чудного, сказочного города, сверкавшего впереди под полным тишины и неги безоблачным небом. У самых ног наших, с поэтическим шумом, разбивались голубые волны Мраморного моря. Белый маяк гордо высился из его пенистой массы... Дальше, в лазуревом просторе, сияли полные невиданной до того роскоши острова Принцевы, далеко-далеко за Мармарой чуть мерещился азиатский берег своими снеговыми вершинами. Можно было бы подумать, что это серебряные облака, если бы они не были так неподвижны... А прямо на север раскидывалась Византия с ее бесчисленными мечетями и дворцами. Та Византия, о которой так мучительно, словно задыхаясь на своем безграничном просторе, столько веков мечтала отыскивающая выхода к южному морю Россия, та Византия, к которой, правы или неправы, но постоянно стремились лучшие люди славянского мира. Мы различали и беломраморные стены ее киосков, и тонкие минареты ее бесчисленных джамий, и величавые купола Софии, Изеддина, Омара, Мурада, Баязида, вокруг которых

легкими кружевами нависла резная из камня паутина... Десятки тысяч кровель и башен всползали на ее холмы и терялись в темных пятнах кипарисовых рощ, в зеленых облаках садов... Дивным сном каким-то казался этот Рим европейского востока, этот Рим славянства, за который пролилось так много слез и крови, так много, что, казалось, слейся вместе — они бы затопили его до самых верхушек мусульманских храмов, до самой башни Сераксериата и Галаты... По ночам туда же обращались восторженные взгляды, мириады огней зажигались на этом берегу, точно какое-то легендарное чудовище лежало там у тихих, ласкающих волн Босфора, сторожа его своими бесчисленными пламенными очами... Мы постоянно ездили в Константинополь. Военные надевали, разумеется, штатские платья, представляя что-то до такой степени нелепое, что при одном виде друг друга принимались неудержимо хохотать... Я уже жил в Grande Hôtel de Luxembourg...[24] Раз утром я еще был в постели, как кто-то постучал ко мне.

— Войдите!

Смотрю, Скобелев в штатском платье.

— Вот каким образом русские генералы должны появляться в завоеванном городе... Я, знаете, все-таки не верю... Мне кажется, что даже паша дипломатия, наконец, опомнится... Я со дня на день жду приказания вступить в Константинополь...

— Говорят, наши войска не готовы.

— Не знаю, чьи это наши. У меня под ружьем сорок тысяч. Я через три часа могу быть здесь... Позор, стыд!..

Как это ни странно, могу засвидетельствовать, что я в св. Георгии (около Византии) видел, как Скобелев разрыдался, говоря о Константинополе, о том, что мы бесплодно теряем время и результаты целой войны, не занимая его.

[24] Отел «Люксембург».

— Теперь уже нельзя занять, после мира...

— Какой это мир!.. Разве такого мы вправе были ждать... Вы увидите, что ценою нашей крови мы дадим все врагам России и ничего не получим сами... Наконец, чего они стесняются? Я прямо предложил Великому князю: самовольно со своим отрядом занять Константинополь, а на другой день пусть меня предадут суду и расстреляют, лишь бы не отдавали его... Я хотел это сделать, не предупреждая, но почем знать, какие виды и предположения есть. Может быть, это и так сбудется!..

Действительно, когда даже турки вокруг Константинополя возвели массы новых укреплений, Скобелев несколько раз делал примерные атаки и маневры, занимал эти укрепления, показывая полную возможность овладеть ими без больших потерь. Раз таким образом он ворвался и занял ключ неприятельских позиций, с которых смотрели на него аскеры, ничего не предпринимавшие. Порою Скобелев тогда живее других чувствовал всю нелепость нашего великодушия или трусости, называйте как хотите, живее потому, что лучше всех понимал, что действительную силу на всякого рода конгрессах нам может дать только обладание Константинополем.

— Я бы созвал сюда конгресс и сам бы председательствовал на нем. А вокруг триста тысяч штыков на всякий случай... Тогда бы и разговаривать можно!

— А если бы Европа пошла против нас?

— Бывают в истории моменты, когда нельзя, даже преступно быть благоразумным, т. е. слишком осторожным. Наша честь не позволяет нам отступиться. Нужно еще несколько столетий ждать, чтобы обстоятельства сложились так же выгодно, как теперь... Вы думаете, бульдоги полезут воевать с нами... Никогда. Они разве что сорвут куртаж в виде клочка Сирии... Да, наконец, теперь и рассуждать

некогда. Мы здесь — это наше... И защищать это свое мы должны до последней капли крови...

— Вы же не думаете, чтобы теперь же Константинополь сделался русским городом.

— Я не дипломат... Я не знаю, почему бы ему не быть вольным городом с русским гарнизоном... А относительно коалиции — не так легко ее составить, как вы думаете. Во-первых, некому пока и невыгодно воевать с нами... Разумеется, если мы станем малодушничать, так до коалиции доплетемся. А пока я не вижу ее необходимости... Представьте, что бы сказала Европа, если бы ввиду ее требований, оскорбительных для нашей народной чести, государь обратился бы к своему народу...

— То есть как?

— А так... Созвал бы своих людей да и сказал: довел я русское дело до конца, теперь вся Европа на нас ополчается. Отдаю дело в ваши руки... Какой бы взрыв патриотизма последовал, какие бы невиданные силы явились... И не отступились ли бы сентиментальные девы европейской дипломатии от нашей народной воли, от нашей всенародной защиты своего противу всяких покушений...

Говоря, что он не дипломат, Скобелев был очень скромен. В Константинополе он так сумел сойтись с Лейярдом, что неведомо какими путями, но знал всю подноготную английских расчетов, надежд и происков. Лейярд — этот враг наш по преимуществу, души не чаял в Скобелеве, английская колония Константинополя носила его чуть не на руках... Он был кумиром даже женщин, принадлежащих к этой колонии. Они все были за него...

— Я должна сказать откровенно, что ненавижу русских! — встретила его одна из них, когда Скобелева знакомили с нею.

— А я в красавице вижу только красавицу... И преклоняясь перед нею, не думаю, к какой нации она принадлежит... — ответил ей Скобелев.

На завтраках у Скайлера, на обедах у Лейярда Скобелев знакомился с англичанами и вывел одно:

— Они сами боятся, они сами не готовы к войне вовсе... Они, как азартные игроки, будут решительны, но только до решительного момента... Когда он настанет, они *на все* не пойдут...

В этот день, когда он посетил меня в Константинополе, он был особенно взволнован.

— Нам остается одно, — говорил он. — Или перейти в разряд второстепенных держав и потерять все свое значение, или же пойти на все... Иногда поражение не бывает так пагубно, так ужасно, как сознание своего унижения, своего бессилия... Вы знаете, если мы теперь отступимся, если постыдно сыграем роль вассала перед Европой, то эта победоносная в сущности война гораздо более сильный удар нанесет нам, чем Севастополь... Севастополь разбудил нас... 1878 год заставит заснуть... А раз заснув, когда мы проснемся, знает один аллах, да и тот никому не скажет...

— ...Скверно, скверно. Под Плевной лучше себя чувствовал я, чем теперь... Душно, выйдемте на улицу... Пойдем завтракать к Мак-Гахану.

Я оделся, мы вышли...

Не успели мы сделать несколько шагов по Grande rue de Pera[25], как навстречу нам — что-то совсем необычное по платью. Красная феска на голове, разорванный офицерский сюртук русский, сверху офицерское турецкое пальто. Скобелев даже забыл, что он представляет собою в данный момент мирного штатского.

— Это что, кто вы такой?..

— Пленный... русский.

— Не стыдно ли вам так одеваться... Не стыдно ли... Уж если выходите, то не надевали бы на себя неприятельского

---

[25] Проспекту Пера.

мундира... Срам!.. И это русские... — обернулся он ко мне, когда мы подходили к Hôtel d'Angletter [26], где стоял Мак-Гахан.

— ...А знаете, — немного спустя обернулся он ко мне, — может быть, ему, бедному, просто нечего надеть было... Я ужасно каюсь в своей вспышке... Как залезешь в душу к пленному... Настрадался он здесь, поди... За что я его оборвал?

— ...Мне ужасно стыдно! — заговорил он опять, уже у Мак-Гахана. — Сделайте, ради меня, о чем я вас попрошу, — обратился он ко мне.

— Что вам угодно?

— Сколько у нас у всех есть денег... У меня двадцать золотых, этого мало. Впрочем, я займу у Мак-Гахана...

Взял у того столько же или больше, не помню...

— Съездите в Сераскериат, где наши пленные, там их трое или четверо офицеров и несколько солдат, и передайте им это... — И он вручил мне сорок или пятьдесят полуимпериалов. — Главное, выразите им от меня сожаление... Скажите, что я извиняюсь... Вы это сумеете... Я бы сделал это, но мне в Сераскериате показываться нельзя.

Я сел верхом на первую попавшуюся лошадь, которые на улицах Константинополя заменяют извозчиков, и поехал в турецкую часть города — Стамбул. До Сераскериата едва добрался. Массы войск собрались туда зачем-то... В Сераскериате обратился к чиновникам. Те сначала и ухом не повели, но узнав, что я русский, моментально изменили свое обращение.

— Нужно разрешение от Реуф-паши, чтобы видеть пленных.

— А где Реуф?

— Уехал в Сан-Стефано к вашему главнокомандующему.

---

[26] Отелю «Англетер».

— Кто заведует пленными?

— Майор такой-то...

— Ведите меня к нему.

Толстый майор, неподвижный и флегматичный, даже и не слышал, кажется, что я ему говорю. Я повторил еще раз, та же история.

— Да говорит ли он по-французски? — оборачиваюсь я к провожатому.

— Нет!..

— Есть ли кто здесь, знающий этот язык?

— Есть даже хорошо владеющий русским.

Позвали этого. Оказался из наших крымских татар. Теперь офицер.

Он изложил мое требование майору.

— Майор говорит, что нельзя.

— Передайте ему, что я отсюда не уйду до тех пор, пока не увижу пленных. Останусь здесь и днем и ночью.

И в подтверждение своих слов я постарался принять на софе более удобное положение.

Мир-алай (майор) всколыхнулся немножко, стал сосать свою трубку и с недоумением поглядывать на меня.

— Можете вы ему дать какой-нибудь пешкеш? — спросил у меня крымский татарин.

— Не дам и этого! — показал ему кончик ногтя.

Они заговорили между собою... Прошло несколько минут.

— Хорошо, он согласен вас пустить к пленным, но с условием, что я вас буду конвоировать и еще двое...

— Это мне все равно.

Два черкеса султанской гвардии повели меня в каземат, где были наши пленные.

В коридоре они мне указали одну дверь... Сами за мною не пошли.

Я застал там двух офицеров, одного из них именно того, которого так оборвал Скобелев.

Это был, кажется, казацкий хорунжий. Я передал поручение Скобелева и деньги... Вернулся...

— Ну, что?.. — нетерпеливо бросился ко мне Скобелев.

— Ничего... Отдал деньги...

— Обижен он... Вы извинились от меня?..

— Да.

— А он-то, он?

Я успокоил Скобелева.

— Все-таки это непростительная выходка, что там ни говорите... Напишите мне в форме записки, в каком виде вы застали пленных... Это позор, что до сих пор мы их не вытребовали... Хотя я не одобряю...

— Чего это?

— Как можно в плен сдаваться, офицеру...

— А что ж делать?

— Что делали на Шипке. В револьвере шесть патронов, пять в неприятеля, шестой в себя...

— А может быть, ему жить хочется...

— Тут принцип важен... Что жизнь... Нужно всегда быть готовым к смерти... Жизнь одного — ноль...

Спустя несколько дней Скобелеву пришлось разыграть довольно комическую роль.

Приехал он в Константинополь, остановился у меня.

— Пойдем вечером в Конкордию, там поют француженки...

— Едем?

— Ну вот... Зачем обращать на себя общее внимание!

Мы отправились... Одна из этих интернациональных девиц пристала к Михаилу Дмитриевичу... Тот стал ее снабжать полуимпериалами, которые она тут же проигрывала в рулетку.

— А знаете... Очень приятно сознавать, что никто тебя здесь не знает... Быть в положении le bon bourgeois...[27] Я отдыхаю в этом отношении здесь... Положительно в неизвестности есть доля хорошего...

В разговоре с француженкой он то и дело употреблял фразу: мы штатские...

Наконец надоело... Сходим мы вниз по лестнице... Вдруг интернациональная девица догоняет нас сверху.

— У меня к вам просьба!.. — начинает она.

— Какая?..

— Позвольте с нашей труппой приехать к вам и дать несколько концертов...

— Это куда же ко мне? За кого вы меня принимаете?

— О, mon général... Мы все вас знаем... Вы — генерал Скобелев, Ак-паша.

— Мы, кажется, разыграли сцену из «Птичек певчих», — обратился ко мне Скобелев. — Вот тебе и вся прелесть инкогнито!..

На безделье, как и всегда у него, впрочем, уходило мало времени. С утра до ночи он со своими офицерами рекогносцировал позиции вокруг Константинополя, объезжал свои войска, делал маневры, примерные атаки, занимался организацией несколько растрепанных в походах полков и, спустя самый непродолжительный срок, довел их опять до блестящего состояния. Потом, когда все кругом болело тифом и лихорадками, один скобелевский отряд не давал ничего лазаретам... Стоило только где-нибудь показаться болезни, чтобы Скобелев сейчас же появлялся там, поднимал врачей и ставил на ноги весь медицинский персонал. Места расположения его солдат всегда были образцом по тому порядку, который царствовал в них. Все было

---

[27] Преуспевающего буржуа.

предусмотрено. Совершенно оправившиеся люди готовы были опять к дальнейшим подвигам.

— Нельзя успокаиваться, господа... Будет время отдыхать потом... А теперь зорко смотрите вокруг!

Между прочим, тогда же я слышал одну очень меткую фразу.

— Что делает Скобелев?.. — спрашиваю у какого-то солдата.

— А ён, как кот округ мышеловки, у этого самого Константинополя ходит... То лапкой его пощупает, то так потрется...

— Я очень боюсь одного... — говорил один из влиятельных в армии генералов.

— Чего?

— Да как бы Скобелев нам бенефиса не устроил.

— Какого это?

— Да в одно прекрасное утро проснемся мы — и узнаем, что Скобелев залез ночью в Константинополь со всем своим отрядом.

По отношению к этому даже разгул константинопольский принес ему известную пользу.

Я потом видел его кроки и записки, где были означены все улицы, которыми надо было идти в Стамбул, намечены пункты для разных боевых операций... Короче, гуляя по Константинополю якобы для собственного удовольствия, он его изучил так, что начнись бой на его улицах — Скобелев сумел бы воспользоваться каждою их извилиной, каждым их закоулком...

— Он ничего мимо ушей и глаз не пропустит! — говорили о нем после...

И действительно — ничего не пропускал.

Он так любил знать, что делается кругом, быть всегда настороже всякого рода событий, знать, с кем имеет дело,

что не прошло двух недель, как он уже дотла изучил весь Константинополь. Все его партии, мусульманские кружки, глухой протест поселившихся там черкесов, сплоченную силу улемов, незаметное каждый раз нарастание и наслоение новых начал в населении этого восточного города, чиновников Блистательной Порты, военных Сераскериата. Казалось, что он собирается быть турецким министром — до того точны и обстоятельны были его сведения. Редакции Бассирета и Вакита, французских, английских и итальянских газет, издававшихся там, греческих писателей, живущих в Византии, купцов — все и всех уже знал Скобелев, их взгляды, со всеми их мечтами, программами...

— Зачем это вам? — спрашивали его.

— Такая привычка... Я везде люблю быть дома... Терпеть не могу пробелов и недомолвок...

Я уже выше говорил, что быть при нем офицеру — значило учиться. Нигде справедливость этого так не подтверждалась, как в Константинополе. Туда офицеров, молодежь отпускали обыкновенно на два, на три дня — кутнуть на просторе и затем вернуться на работу... Беда была, если такой отдыхающий, вернувшись, не привезет с собой каких-нибудь полезных сведений.

— Вас, душенька, и отпускать не стоит... Ничем-то вы воспользоваться не сумеете...

— Он у вас удивительный! — говорил о Скобелеве один грек, кажется Варварци...

— Почему это?

— Я у него вчера был... Случайно зашла речь о чисто хозяйственных интересах города, оказалось, что он их знает, понимает... Я совсем потерялся, когда он начал говорить мне о проектах водопровода, поданных нашими греками, о новом мосте вместо галатского, который мы хотим строить... Я даже спросил его, не жил ли он прежде в Константинополе...

Один из стамбульских улемов, бывший в Георгии, выразился так же.

— Ак-паша мог бы быть хорошим мусульманином.

— Отчего?

— Он коран знает.

И не только знал, но и цитировал его зачастую...

В Скобелеве в это время уже сказывались замечательные черты характера. Один из военных, которые обладают незавидною способностью лазить без мыла в глотку, сошелся с ним в Константинополе. Генералу он очень понравился, потому что это обстоятельство не метало оному быть храбрым человеком и остроумным собеседником. Завтракая в Hôtel d'Angletter, он как будто нечаянно начал передавать Скобелеву всевозможные сплетни...

— Вы знаете, генерал, вы бы остановили своих рыцарей!

— Каких это моих рыцарей?

— Офицериков, близких к вам.

— В чем я их должен останавливать?

— Во-первых, они здесь кутят...

— А мы с вами, полковник, что теперь делаем?..

— Какое же сравнение!..

— Нам, значит, можно, потому что у нас есть деньги на шампанское, а им нельзя, потому что у них хватает только на коньяк?

— Ну, и еще за ними водится грешок...

— Какой?

— Они вовсе вам не так преданы, как вы думаете.

— Ну, уж это вы напрасно... Я их всех хорошо знаю!

— Да вот-с, не угодно ли, один из них про вас рассказывал...

И началось самое бесцеремонное перемывание грязного белья...

— А теперь я назову вам фамилию этого человека...

Но Скобелев в это мгновение схватил того за руку:

— Пожалуйста, ни одного слова больше и ради Бога — без фамилий... Я слишком люблю своих рыцарей, слишком обязан им, слишком. Всю кампанию они, по одному приказанию моему, шли на смерть... Я не хочу знать, кто это говорил, потому что не желаю быть несправедливым. Поневоле такая несправедливость может прорваться когда-нибудь в отношении к человеку, повинному только в том, что под влиянием стакана вина он разоткровенничался при человеке, не заслуживавшем такой откровенности. — И Скобелев тоном голоса нарочно подчеркнул эту фразу: — Да-с... Не заслуживавшем!

Когда завтрак кончился и полковник откланялся, Скобелев позвал человека.

— Заметил ты лицо этого господина?

— Точно так-с.

— Помни, что для него меня никогда нет дома!

Занимая уже довольно высокий пост, он не раз сталкивался с людьми, которые старались выиграть в его мнении и выдвинуться вперед, унижая своих товарищей...

— Я их слушаю поневоле, ушей не заткнешь, — говорил Скобелев, — но в уме своем в графе против их фамилии ставлю аттестацию «подлец и дурак». Подлец потому, что клевещет про других и главное — про своих товарищей, дурак — потому, что передаст мне это, точно у меня у самого нет глаз во лбу, точно я не умею отличить порядочного человека от негодяя...

Один из его подчиненных очень нуждался в то время; Скобелев хотел ему помочь и не знал как. Призывает, наконец, того и говорит: «Вам присланы деньги из России... Вот они» — и придвигает горсть золота... Тот, разумеется, схватился за нее, даже не спросив от кого. Проходит несколько времени, он является опять к Скобелеву.

— Что вам?

— Я пришел узнать, не прислали ли мне еще денег из России.

— Прислали... Я забыл отдать вам... Вот они...

Потом этот франт отблагодарил по-своему Скобелева, обокрав его...

В следующий раз он поручил ведение своего хозяйства офицеру. Тот недели в две накатал ему счет тысяч в пять-шесть.

— Это невозможно... Прикажете проверить? — спросили у него.

— Ни под каким видом. Вина прежде всего моя — потому что я его назначил сам... Заплатить, и ни слова об этом. Разумеется, впредь ему денежных поручений не давайте никаких. Это раз. Если бы это были деньги общественные или чужие — другое дело... Немного погодя я найду, что ему не к лицу моя дивизия, и он сам уберется из нее.

Расставался со своими он вообще неохотно и долго не прощал тем, кто оставлял его сам...

— Я люблю N. N., он храбрый человек, полезный, только я не возьму его к себе.

— Отчего?

— Он меня оставил... Это было сделано не по-товарищески...

О тех же, которые меняли свой мундир на полицейский, Скобелев потом и слышать не мог.

— Не говорите мне о них... Храбрый боевой офицер — и так кончить!..

Когда у него просили за них, он обрывал прямо:

— Ни слова, господа... Впредь говорю, ничего не сделаю... Он с голоду не умирал... Я этого рода оружия терпеть не могу, вы сами это знаете.

Один из таких явился к нему и, «рыдая», начал рассказывать обо всех условиях своей новой службы.

— Жаль мне вас...

— Примите меня опять к себе...

— Ну, уж это извините... За что же я буду оскорблять своих офицеров?.. Я вам дам один совет — выходите в отставку...

В Константинополе и под ним шли у него нескончаемые споры...

Начиналась эпоха берлинского конгресса, уступок, дипломатических подвохов... Скобелев мучился, злился... Он не спал целые ночи...

— Что будет с Россией, что будет с Россией, если она отдаст все!.. И даже не все, если отдаст часть, уступит хоть кроху из сделанного ею... Зачем тогда была эта война и все ее жертвы!..

Я помню последний вечер, в который я видел его.

Мы сидели на балконе дома в Сан-Стефано... Прямо перед нами уходили в лазоревый сумрак далей ласковые, полные неги волны Босфора... Точно с мягким мелодическим шепотом текли они к тихому берегу... У пристани едва-едва колыхались лодки... На горизонте серебряные вершины малоазийского Олимпа прорезывали ночную темень... Зашел разговор о будущности славян. Скобелев, разумеется, стоял за объединение племен малых в большие...

— Никогда ни серб, ни чех не уступят своей независимости и свободы за честь принадлежать России.

— Да об этом никто и не думает... Напротив, я рисую себе в будущем вольный союз славянских племен. Полнейшая автономия у каждого — одно только общее — войска, монеты и таможенная система. В остальном живи как хочешь и управляйся внутри у себя как можешь... А что касается до свободы, то ведь я говорю не о завтрашнем дне... К тому-то времени, пожалуй, Россия будет еще свободнее их... Уж и теперь вольный воздух широко льется

в нее, погодите... Разумеется, мы все потеряем, если останемся в прежних условиях... Племена и народы не знают платонической любви... Этак они сгруппируются вокруг Австрии и вместе с нею могут, пожалуй, основать южно-славянскую монархию... Тогда мы пропадем!

— Почему же?

— Потому, что при помощи Австрии католичество широко разольется у них... Оно захватит все и всех, и в первом спорном вопросе славяне южные пойдут против северных, и будет эта братоубийственная война торжеством всякой немецкой челяди... Но это невозможно и невозможно... Если мы запремся да ото всех принципов новой государственной жизни стеной заслонимся — дело плохо... На это хватит у нас государственной мудрости... А пока наше призвание охранять их, именно их... Без этого — мы сами уйдем в животы, в непосредственность, потеряем свой исторический raison d'être[28].

— ...Мой символ краток: любовь к отечеству, свобода, наука и славянство!.. На этих четырех китах мы построим такую политическую силу, что нам не будут страшны ни враги, ни друзья. И нечего думать о брюхе; ради этих великих целей принесем все жертвы... Если нам плохо живется, потомкам лучше будет, гораздо лучше!

Мы замолчали...

Волны к ночи становились темнее, громче и громче ластились к берегам... Двурогий месяц прорезался на горизонте, тихий, красивый...

— Да, у него хорошо сказалось это! — проговорил Скобелев точно про себя.

— Что, у кого?

— У Хомякова... Пришло на память его... Помните его орла?

---

[28] Смысл существования.

Лети, но в горнем море света,
Где силой дышащая грудь
Разгулом вольности согрета,
О младших братьях не забудь!..

Совсем тихо начал он, но чем дальше, тем голос его все креп и креп.

На степь полуденного края,
На дальний запад оглянись:
Их много там, где брег Дуная,
Где Альпы тучей обвились,
В ущельях скал, в Карпатах темных,
В балканских дебрях и лесах,
В сетях тевтонов вероломных,
В стальных татарина цепях!
И ждут окованные братья,
Когда же зов услышат твой,
Когда ты крылья, как объятья,
Прострешь над слабой их главой...
О, вспомни их, орел полночи!
Пошли им громкий свой привет!..
Пусть их утешит в рабской ночи
Твоей свободы яркий свет!..
Питай их пищей сил духовных,
Питай надеждой лучших дней,
И хлад сердец единокровных
Любовью жаркою согрей!..
Их час придет! Окрепнут крылья,
Младыя когти подрастут,
Вскричат орлы и цепь насилья
Железным клювом расклюют...

И это будет!.. И это будет непременно!

— Когда? — несколько скептически переспросил я.

— А вот, когда у нас будет настолько много «пищи сил духовных», что мы будем в состоянии поделиться с ними ею; а во-вторых, когда «свободы нашей яркий свет» действительно будет ярок и целому миру ведом...

— А до тех пор?

— А до тех пор надеяться, верить, не опускать голову и не терять своего сродства с народом, сознания своей национальности.

В это время издали, с моря, послышалась вдохновенная песня, смелыми взмахами своих крыл уносившаяся в это темное южное небо с его яркими звездами... Пело ее несколько голосов... Видимо, певцы были одушевлены, видимо, всех их соединяло что-то общее...

— Вы знаете, что это поют они? — спросил Скобелев.

— Нет.

— Я тоже не знал. Но спросил, мне сказали... Слышу уж не в первый раз... Это греки, молодые греки из константинопольских лавок. Торгаши, а поют о будущей славе эллинов, о всемирном могуществе Греции, о том, что и это море, и этот вечный город будут принадлежать им, о том, что все народы придут и поклонятся им, и даст им новая Греция, этим новым варварам, свет науки, сладость мира и величие свободы... Вот о чем поет маленькая, совсем крошечная Греция, эта инфузория Европы... И посмотрите, с каким увлечением, силой и страстью!.. А мы!.. Эх, скверно делается даже...

Вскоре я должен был уехать в Россию.

Скобелев прощался со мною у себя в отряде... Я оставил его тогда сильного, здорового, бодрого...

Он еще складывался. Он не был велик, но уже в нем являлись задатки великого вождя... За год войны он стал гораздо серьезнее. Многое увидал и многому научился.

— Чего вам послать из Питера?..

— Книг, книг и книг... Все, что за это время было выдающегося и талантливого... Большего удовольствия вы мне не можете сделать...

Я вывез с собою несколько восторженное удивление к этой богато одаренной натуре, и все, что я слышал потом о действиях Скобелева, все, о чем он писал мне, только

питало это чувство. В эпоху общего недовольства, когда все под влиянием берлинского конгресса и малодушия нашей дипломатии опускали руки и вешали головы, когда будущее заволакивалось тучами и последние лучи солнца бесследно пропадали в их мглистом сумраке, Скобелев не потерял ни своей энергии, ни жажды дела. Напротив, он, как солдат, стоял на своем посту. Когда жены-мироносицы дипломатии расчленили Болгарию, Скобелев сейчас же занялся там организацией гимнастических союзов, вольных дружин, общин стрелков... Он сам учил их ратному делу, неутомимо бросался из одного города в другой, в одном делал им смотры, назначал им для обучения своих офицеров, в другом заставлял рыть укрепления, приучал окапываться, сажал своих солдат за валы этих траншей и редутов и по нескольку дней производил с болгарами маневры, приучая их брать такие укрепления; потом он сажал туда болгар и, командуя ими, приказывал русским солдатам нападать, а сам с болгарами отбивался от них. В антрактах он мирил сербов с болгарами, воодушевлял румелийцев одушевленными речами; обладая удивительною способностью кратко и метко формулировать целые понятия в одну энергическую фразу, вводил в сознание народа убеждение его кровного родства с теми или другими славянскими племенами... умел поднять в них дух и главное, делиться с ними тою жизненностью, которая ключом била в нем самом... «Вы там совсем растерялись, — писал он мне в Петербург, — до того запутались, что и разобраться не можете, а мы тут не теряем времени и замазываем бреши, пробитые берлинским конгрессом... Если мы и оставляем им Болгарию расчлененной, четвертованной, то за то оставляем в болгарах такое глубокое сознание своего родства, такое убеждение в необходимости рано или поздно слиться, что все эти господа скоро восчувствуют, сколь их усилия были недостаточны. А вдобавок к этому оставим мы в так называемой Румелии еще

тысяч тридцать хорошо обученных народных войск... Эти к оружию привыкли и научат при случае остальных. Все эти гимнастические дружества и союзы, разумеется, могут быть разогнаны, но они свое дело сделают и при первой необходимости всплывут наверх... Приедете, увидите сами!..»

— Вы знаете, кто меня научил не терять бодрости и не опускать рук? — говорил он впоследствии.

— Кто?

— Паук.

— Как паук?..

— Да так... Гулял я раз, вижу паутину, взял я да и снял ее прочь... Вы думаете, паук растерялся? Нет. Забегал по уцелевшим нитям и давай опять работать живо, живо... Без всякого антракта... На другой день — я иду, на этом же месте новая паутина, только гораздо лучше укрепленная... Вот вам пример!..

Таким образом, Скобелев оставил по себе в Болгарии такую память, какую удается редким...

— Когда нам нужно будет восстать — он явится к нам... Он поведет и нас, и сербов, и черногорцев... И тогда горе будет швабам!

Это мог сказать всякий мальчишка в Румелии.

— Он сумеет сплотить и научить нас!

И за ним, действительно, пошел бы весь южнославянский мир... Представляю себе, какое ужасное впечатление там произвела эта нежданная смерть!.. Как там рыдали и молились за него...

В первый же день после его смерти выхожу я из гостиницы Дюссо...

На улице бросается ко мне Станишев — образованный болгарин... Он схватил меня за руку и зарыдал...

— Мы все потеряли в нем, все... Он был нашей надеждой, он был нашим будущим...

Не успел я сделать несколько шагов, как меня обступили другие живущие в Москве болгары...

— Вы видели его, неужели он... он умер...

Едва ли по кому-нибудь лились такие искренние слезы...

— Болгария плачет теперь, как осиротелая мать над единственным своим сыном!

Уже в Петербурге я получил телеграмму из Тырнова. «Правда ли, что наш Скобелев умер?.. Весь город в слезах, в каждом доме стенания... Крестьяне толпой идут из Самовод и других сел убедиться в этом народном несчастий... Из горной деревушки Рыш прислали ко мне депутата узнать... Женщины и дети в слезах... В церквах за него молятся... Долго не будет у славянства такого героя!..»

И еще бессмысленнее казалась эта смерть, еще ужаснее...

Я возвратился к нему, стал над ним, всматривался в это покойное, неподвижное лицо, допытывался, зачем ушел он, он, до такой степени необходимый, дорогой. Кругом к вечерней панихиде устанавливали комнату цветами и деревьями, явились лавровые венки, приподымали эту беспробудную голову, декорируя ее розами... В углу монахиня читала псалтырь... Пахло ладаном...

И эта рука, пугавшая целый мир, бессильно сложена теперь на груди... В кровавом блеске сражений она уже не укажет торжествующим легионам врага, этот громкий голос, сзывавший орлят, стих в разбитой и неподымающейся больше груди... зоркий взгляд застыл и только тускло слезится из-под опущенных ресниц.

— Знаете, мне кажется, это сон какой-то! — шепчет рядом кто-то... — Сон, мы проснемся — и все это выйдет чепухой...

Ввели двух часовых, поставили над телом.

Один из них смотрел-смотрел на это безжизненное лицо... Плакать не смеет — на часах, а слезы так и падают по щекам на бороду. И смахнуть их нельзя!..

Раздел XXXIV

После войны я долго не видал Скобелева... Он в это время уж совсем определился, и наши убеждения далеко разошлись.

В письмах, очень редких, он так же резко и бесповоротно ставил вопросы и так же удачно очерчивал людей и события, как и прежде... Корпусом своим он был доволен, но обстановка мирной и спокойной деятельности оказывалась ему не по душе. По возвращении из Болгарии он писал: «Теперь я могу с чистою совестью отдохнуть, да и пора. Силы разбились несколько. Съезжу в Париж, отведу душу...» А через два месяца: «Эта будничная жизнь тяготит. Сегодня как вчера, завтра как сегодня. Совсем нет ощущений... У нас все замерло... Опять мы начинаем переливать из пустого в порожнее. Угасло недавнее возбуждение, да и как его требовать от людей, переживших позор берлинского конгресса. Теперь пока нам лучше всего молчать — осрамились вконец!..» Тем не менее он крайне интересовался всем, читал и работал, стал изучать Пруссию и, съездив туда на маневры, успел настолько ознакомиться с германскою армией, что наши добрые соседи уже и тогда были сим несколько обеспокоены. Из своих бесед с берлинскими генералами, из знакомства с прусскою армией Скобелев вынес глубокое убеждение, что там — серьезно готовятся к войне с нами...

— Мы опять разыграем роль глупой евангельской девы... Опять война застанет нас врасплох!

И он начал самым деятельным образом готовиться к ней. Едва ли была хоть одна брошюра по военным вопросам Германии, которая бы не прочитывалась им, их военные журналы тоже... Он изучал страну вдоль и поперек, объехал всю границу и, не отдыхая на лаврах, продолжал упорно работать, работать и работать...

— Теперь такое время — на часах надо стоять... Недаром меня солдаты кочетом называли; сторожить приходится, чуть опасность — крикнуть в пору!

Он тогда же подметил то, что пруссаки хотели скрыть новую роль кавалерии, подготовленную ими для будущей войны. Скобелев с быстротой, поистине гениальной, схватил это и целиком перенес к себе, развив и видоизменив многое по собственному соображению. Немцев он понимал как никто. Дружбе их он и прежде не верил, на благодарность их не рассчитывал вовсе. Царство Польское со всеми его боевыми позициями было изучено им с такою подробностью, что записки его по этому предмету должны быть необходимым материалом для будущих наших генералов при случае. Он разрабатывал тогда уже план войны с честными маклерами и добрыми нашими союзниками. Я здесь, разумеется, не вправе говорить об этом плане... По остроумному выражению М. Е. Салтыкова (Щедрина), через двадцать лет мы прочтем о нем в «Русской старине» у г. Семевского. Встретившись с ним наконец, я застал его таким же возбужденным, полным энергии, каким привык видеть и прежде... Он приехал в Петербург, похоронив отца.

— Я к крайнему своему удивлению оказался богатым человеком!.. И рад этому.

— Еще бы!

— И не за себя. Теперь моим боевым товарищам помогать стану... Я думаю отставных солдат селить у себя. Дам им какие-нибудь занятия, чтобы они не думали, что едят хлеб даром... А умру — село Спасское по завещанию обращу в инвалидный дом...

— Что так рано умереть собираетесь?

— Да ведь вот отец... За день до смерти с вами спорил... все под Богом ходим... В одном я убежден, что умру не сам... Не вследствие естественных причин...

— Ну, вот.

— Есть не одни предчувствия на это!.. Ну, да что толковать...

Немного спустя начались переговоры с ним о назначении его в Ахал-Теке.

Он сам хотел и добивался этого. Во-первых, боевая жизнь была ему по вкусу, а во-вторых, по тому высказывавшемуся им глубокому убеждению, что в степях Теке отчасти решался восточный вопрос...

— Тут связь большая. Чем больше у нас будет обаяния на востоке — тем лучше. Трудно только поправлять дела после всех этих гениев. Притом вы не знаете кавказской администрации...

— Нет.

— А я ее знаю, она с женской ревностью относится ко всему... Скорей мешать будет мне, чем поможет...

Приготовления к этой экспедиции шли у него с лихорадочной быстротой. Только что приехав из военного совета, он садился, писал записки по разным деталям этого предприятия, входил в сношения с целой массой лиц, которым поручалось то или другое дело, обдумывал и предупреждал разные подготовлявшиеся ему «дружские услуги» разных благоприятелей. Близкие к нему люди в это время с ног сбились. На Моховой, в доме Дивова, образовалась маленькая главная квартира. Тогда еще полковник Гродеков, главнейший сотрудник Скобелева, а также Баранок и другие его адъютанты ходили какие-то ошалелые, бледные, истощенные.

— Отдыхать некогда... Некогда, господа. За дело!..

— Когда он спит — Бог его знает... У нас руки отваливаются... — говорили они.

С утра до ночи в приемной у него толпились военные, или ожидавшие назначения, или уже получившие его...

Ближайшие его сотрудники съехались уже... Остальных, как, например, капитана Маслова, он сам звал к себе.

— Трудное дело, страшно трудное! — то и дело повторял он. — Много войск взять нельзя, и без того эти разбойники дорого стоят России, а если не покончить с ними, сейчас же все наши туркестанские владения на волоске будут... Сверх того, мы уже и предварительно истратили пропасть!.. А там еще интендантство это. Если я получу назначение, я сейчас же начну с того, что всю хозяйственную часть армии передам людям, которых я знаю, а интендантов отправлю обратно на кавказский берег... Там у них, знаете, на каждый казенный ремешок по пяти чиновников приставлено. Войска превосходные, но их не умели вести!

Нужно сказать правду, что и кавказская администрация особенно нежных чувств к Скобелеву не питала. Нам рассказывали, что некоторые даже у себя панихиды служить отклонились по покойнику. Помилуйте, в эту тишь да гладь вдруг ворвался такой беспокойный и деятельный человек...

— Ну, ему там тоже приготовляют встречу... — говорили мне.

— Ничего не поделают...

— Ну, как сказать... У нас там такие свистуны есть!..

Скобелев прекрасно знал это и готовился ко всякой случайности...

— Они из Ахал-Теке хотели себе маленький Дагестан сделать!

— Как это?

— Так, на десятки лет раскладут это дело. Все, кому нужны чины, ордена, отправлялись бы туда, делали набеги и опять уходили. Армяне-подрядчики крали бы себе в карманы казенные миллионы. К услугам всех этих людей являлись бы и стихии, и тифы всякие!.. А графа

государственного расхода из года в год все росла бы и росла. Ведь на Кавказе, знаете ли, все они, эти чиновники, голодные. И плодущие же. У них семьи не по кошельку. Детьми их Господь благословляет, ну, все это и выкармливается на казенных харчах. Ну, а я уже слуга покорный, я солдата грабить не позволю... Этого у меня не будет...

— Найдут средства и при новых порядках красть.

— Посмотрим... Я ведь церемониться не стану. Беспощадно расстреливать начну за это. Тут доброта — хуже жестокости. Будешь добр к этим отцам семейства — у тебя войско от тифа вымрет да десятки миллионов народных денег без толку уйдут... А это, знаете, просто: сегодня судил военно-полевым судом, а завтра расстрелял... Ан другим-то и неповадно!..

Раздел XXXV

Ахалтекинская экспедиция М. Д. Скобелева известна всем. Тут уже это никто не мог выдумать, он сделал ее без корреспондентов, и его друзья не могут ссылаться на то, что подвиги молодого генерала преувеличены были этими якобы покладистыми людьми. Все время в Петербурге и Москве распространялись о нем и о судьбе его отряда самые преувеличенные слухи, так что штурм текинской крепости и завоевание самого оазиса были для всех полною неожиданностью... Тот, кто хочет ближе познакомиться с этим периодом деятельности Скобелева, может обратиться к книге одного из ближайших его сотрудников и личных друзей А. Н. Маслова «Завоевание Ахал-Теке». Это превосходный дневник участника экспедиции — в живых и талантливых очерках рисует и стратегические планы Скобелева, и его личную жизнь, и быт отряда в золотых песках прикаспийской пустыни. Серьезная книга, поэтому читается с интересом романа и незаметно, фигура генерала выделяется из нее полной жизни, со всеми характерными особенностями... Михаил Дмитриевич живым человеком выдвигается из деталей этого дневника. А. Н. Маслов, бывший свидетелем хивинского и ферганского походов Скобелева, по целым месяцам гостивший у него в Спасском и переписывавшийся с покойным, лучше чем кто-нибудь знал эту сложную, интересную личность народного богатыря, легендарного витязя современной России... Он пишет свои воспоминания о нем, и я заранее приветствую эти записки... В них выскажется много упущенного мною, а при художественном таланте их автора они будут ценным вкладом в нашу историческую литературу.

После Ахалтекинской экспедиции я встретился со Скобелевым случайно... Я не знал, что он в Петербурге. Вечером на улице он окликнул меня.

— Отчего же вы не приехали ко мне в Ахал-Теке?

— Да ведь вам же первым условием поставили отсутствие корреспондентов.

— Все равно... Помните, что я вам ответил в Журжеве?

— Что?

— «А вы не спрашивайтесь...» А вас ждали в отряде, было много из ваших старых боевых товарищей...

Я в этот раз, всмотревшись в Скобелева, увидел в нем громадную перемену. Видимо, заботы по командованию экспедицией не прошли для него даром.

Он осунулся, обрюзг... На лбу прорезались морщины, между бровями легла какая-то складка... В глазах была та же решительность, та же энергия в лице, но от всего Скобелева веяло чем-то только что пережитым, печальным... Я разговорился с ним...

— На меня произвело такое влияние не сама экспедиция... Хоть были ужасные моменты... Войск мало, неприятель силен... Ну, да это что! Не таких бивали!.. Смерть матери — вот что меня в сердце ударило... Я долго себе представлял ее зарезанною... И кем же, человеком, всем обязанным мне, решительно всем!.. Я был первые дни после того как потерянный!.. И до сих пор еще она стоит передо мною... Точно зовет меня... И знаете, мне кажется, что и самому-то осталось не долго жить...

— Полноте, в 37 лет!..

— Да... Слишком много горючего материала кругом... Слишком много... И столько разных благоприятелей, что не совладать с ними... Открытый враг не страшен... Впрочем, отдохнув в Париже, успокоюсь...

Как Скобелев отдохнул в Париже, всем известно... Эта натура не знала отдыха и не понимала его...

После его парижской речи мы опять не виделись долго, очень долго... Только за несколько недель до его смерти я встретил генерала в Москве... И это было наше последнее

свидание. Я его нашел в «Славянском базаре» опять совсем оправившимся, здоровым, сильным, веселым... Когда я выразил это, он рассмеялся.

— Я всегда так, когда дела много, крепну... Так и теперь... Занятий у меня по горло, готовлюсь к крупному делу... И сверх того немцы доставляют мне много, очень много удовольствия.

— Каким образом?

— Очень уж эти шнелльклопсы разозлились на меня... То какой-нибудь унтер-офицер вызывает меня на дуэль, то сентиментальная берлинская вдова посылает мне проповедь о сладостях дружбы и мира, то изобретатель особенного намордника для собак назовет его «Скобелевым» и обязательно сообщает об этом, то юмористические журналы их изображают меня в том или другом гнусном виде... Я знаю, вы были против моей парижской речи... Но я сказал ее по своему убеждению и не каюсь... Слишком мы уж малодушничаем. И поверьте, что если бы мы заговорили таким языком, то Европа несомненно с большим вниманием относилась бы к нам... Наши добрые соседи тоже, пока мы поем в минорном тоне, являются требовательными и наглыми, как почувствовавший свою силу лакей; но когда мы твердо ставим свое требование, они живо поджимают хвосты и начинают обнаруживать похвальную скромность!.. Я не враг России... Больше, чем кто-нибудь, я знаю ужасы войны; но бывают моменты в государственной жизни, когда известный народ должен все ставить на карту... И поверьте, эти господа не рискнут на войну с нами. Они ловко пользуются нашими страхами, забирают нас в руки, показывая одно пугало за другим, но как только мы в свою очередь им покажем когти, они первые в кусты... Только, знаете, надо показывать когти-то разом и решительней... Чтобы они чувствовали!

И тут же он мне передал целый ряд событий и встреч в России и за границей, которые, к сожалению, по обстоятельствам, не зависящим от меня, не могут быть помещены в эту книгу...

Немного спустя пришли к нему Ладыженский и Хлудов... Мы сели завтракать. Пошли разговоры о нынешнем положении России, тягостном и в экономическом, и в нравственном отношении... Видимо, что это живо волновало Скобелева, и он тут же делал несколько метких определений и характеристик государственных деятелей, с которыми в настоящее время приходится иметь дело нашему отечеству... Результаты беседы вышли неутешительны...

— А все-таки будущее наше... Мы переживем и эту эпоху... Слава Богу — не рухнет от этого Россия...

И мало-помалу оживляясь, он начал читать наизусть стихи Тютчева и Хомякова... Читал он их великолепно, придавая каждому поэтическому образу особенный блеск и колорит, каждой фразе более сильное выражение... Наконец, не выдержал, увлекся, пошел к себе наверх и принес оттуда только что вышедшие новые издания этих поэтов, присланные ему Аксаковым...

— Я не надоел вам?..

— Напротив...

Зашел разговор о печати, и Скобелев высказался вполне за ее свободу.

— Я не знаю, почему ее так боятся. За последнее время она положительно была другом правительства. Все крупные хищения, все злоупотребления были указаны ею именно. Я понимаю, что то или другое правительственное лицо имеет повод бояться печати, ненавидеть ее. Это так, но почему все правительство относится к ней с такой подозрительностью, почему только и думают о том, как бы ее ограничить? Если хотите, при известном положении

общества печать — это спасительный клапан. Излишек недовольства, желчи уходит в нее... У нас даже писатели только и говорят, что об ограничении того или другого литературного исправления; мне кажется, что и со стороны консерваторов это не совсем ловко. Нельзя же в самом деле запретить высказываться всем, кто не согласен со мною. Для власти, если хотите, свободная печать — ключ. Через нее она знает все, имеет понятие обо всех партиях, наперечет видит своих врагов и друзей. В Швеции вот, например, судят воров специальные суды, а суд присяжных ведает печать. У нас, напротив, грабители и хищники пользуются благами суда гласного, а литература карается административно.

И действительно, в этот же день к Скобелеву при мне приехал один из московских издателей. Я ушел на время к Ладыженскому, рущукскому консулу, остановившемуся там же... Когда я вернулся к Скобелеву, он, улыбаясь, передал мне следующее.

— Вы знаете, у печати нет более злейших врагов, чем она сама.

— Почему это?

— А потому, вот, например, человек и умный, и просвещенный... А знаете ли вы, за что он главным образом набрасывается на Игнатьева?

— За что?

— За то, что тот не хочет закрыть «Голос» и «Русскую мысль». Не может же в самом деле правительство быть органом той или другой газеты и принимать на себя ее защиту... Ведь этак мы дойдем Бог знает до чего. Что касается до меня, я никогда не питал раздражения против печати. Когда она ополчилась на меня за мою парижскую речь, я счел это совершенно честным и уместным с ее стороны. Они писали по убеждению, по-ихнему я был вреден в данную минуту. Раз уверен в этом — подло молчать!

Точно так же, как и я был бы вполне уверен, что, промолчи я в Париже, это бы не сделало мне чести. В силу этого я бы никогда не принял никакого административного поста. Бить врага в открытом поле — мое дело. А ведаться с ним полицейским миром — слуга покорный. Вот Аксаков — совсем другое дело... Я горячо люблю Ивана Сергеевича и никогда не слышал от него ничего подобного. Ни разу при мне он не сослался на необходимость зажать рот тому или другому...

Зашел разговор об издателе «Руси».

— Он слишком идеалист... Вчера он это говорит мне: народ молчит и думает свою глубокую думу... А я так полагаю, что никакой думы народ не думает, что голоден он и деваться ему некуда, выхода нет — это верно. Вы только что объехали добрую половину России, расскажите-ка, что творится там.

Я начал ему передавать свои впечатления. Рассказал ему о заводах, где, несмотря на совершенство производства, половина рабочих распущена по домам, потому что наша таможенная система вся направлена на поощрение иностранных фабрикантов и заводчиков; рассказал об истощении почвы, о крайнем падении скотоводства, о том, что нищенство растет не по дням, а по часам.

— Это ужасно... Ужасно... Еще вчера я то же самое говорил, мне не верили... Преувеличиваю я, видите ли...

Нашему разговору помешал какой-то русский немец... Явился с Владимиром в петличке и давай приседать...

— Что вам угодно?

— Я хочит делать большой канал...

— Где, куда?

— Соединяйт два моря... Арал и Каспий... Для обогащений всей России... Благодетельство есть это, ежели соединяйт.

Насмешливая улыбка скользнула по лицу Михаила Дмитриевича.

— Я же тут при чем?

— Я пришел, ваше высокопревосходительство, просить содействования моему проекту, который...

— Пожалуйста, расскажите мне его сущность...

Скобелев сел, сел и полковник, желающий облагодетельствовать Россию. Началось долгое и скучное изложение всех выгод будущего канала... Скобелев изредка только вставлял замечания, совсем разбивавшие выводы автора замечательного проекта. Видно было, что вся эта местность как нельзя лучше известна Михаилу Дмитриевичу...

— Сколько же нужно на ваше предприятие?

— О, в сравнении с благодетельством народов, пустяк.

— А например?

— Если правительство согласно затрачивайт сорок-пятьдесят миллионов...

Скобелев опять усмехнулся.

— Разумеется, разумеется... Только уж заодно, полковник, не будете ли вы так добры указать, где взять эту маленькую сумму...

— Столь великий страна, — начал он и опять утонул в целом море всяких рассуждений.

Так я и не дослушал этого замечательного проекта, оставив Скобелева в жертву новому Гаргантюа, обладающему аппетитом в размере сорока миллионов рублей...

Часа через полтора я вышел с ним, мы условились поехать к О. Н-ой.

На улице он встретил одного из прежних своих подчиненных, уже в отставке... Этот окончил войну в малом чине, и, по-видимому, судьба не особенно ему благоприятствовала. По крайней мере, одет он был очень плохо. Бывший офицер хотел было юркнуть от Скобелева в сторону, но тот его заметил...

— N. N.! Это еще что такое?.. Бегать от старых боевых товарищей!

— Ваше высокопревосходительство... Я не смел... Я так одет...

— Да за кого же вы принимаете меня?.. Это перед дамами одевайтесь... Опять вы не зашли ко мне... Вы знали, что я здесь?

— Как же... Читал-с.

— Ну?

— Я теперь в таком положении...

— Ужасно это глупо, в сущности... Прямо бы ко мне и могли обратиться... Храбрый и честный офицер, вы имеете полное право требовать моего содействия...

Я сейчас же узнал прежнего Скобелева. В этом он совсем не изменился.

— И помилуйте... Я опустился...

— Не вижу этого. Вот те, которые променяли военный мундир на более *выгодный*, опустились... Сегодня я уезжаю с курьерским поездом в Петербург... Давайте-ка мне ваш адрес... Не нужны ли вам деньги?.. Смотрите, с товарищами не церемонятся. Сотня-другая меня не разорит, а как только я вам найду место, вы мне их уплатите...

— Нет... У меня хоть еще месяца на два хватит...

— Нужно — пишите... Стесняться со мной глупо... А вам я на днях и местечко приищу...

Я встретил этого офицера уже на похоронах. Шел он одетый с иголочки... Видимо, судьба, на которую он пенял так, уже изменилась к нему.

— Это он все... Я и не знал ничего... Только приезжает ко мне здешний *** и говорит: «Сегодня получил я письмо от Скобелева, он рекомендует вас. Этого мне достаточно...» И разом предложил место... Я теперь совсем доволен. Третьего дня узнал, что он приехал, собрался идти благодарить, и вот... Это, знаете, последний... Боевой товарищ...

Именно товарищ, хоть я поручик, а он полный генерал. Таких уже нет... Теперь мещанское время, подлое... Всякий лакеем делается... Повысят его в дворецкие — он уж к кучеру свысока относится...

О. А. Н-ву мы встретили в обществе двух англичан, с которыми Скобелев тотчас же заговорил по-английски. Они с чувством, близким к восторгу, прислушивались к каждому слову его. Один из них высказался даже:

— Вы первый приучили нас заочно полюбить — даже врага!..

— Почему же я враг?

— Кто же другой может создать нам затруднения в Индии, как не вы...

— Там нам нечего делать. Мы отлично можем ужиться бок о бок.

— Да, это вы говорите нашим корреспондентам, а те сообщают в газетах... Но мы не так наивны...

Тонкая улыбка показалась на губах Скобелева.

— Могу вас уверить, что таково мое убеждение... Если мы можем с вами столкнуться, так поближе!

— Не дай этого Бог... Море дороже всего!

— Да, богатому человеку, а не голодному, которому терять нечего... Впрочем, у нас с вами есть общий враг.

— Кто это? Немцы, верно?

— Да... У них теперь широко рты разинуты, флот ваш и ваша торговля едва ли могут им особенно нравиться.

— Мы это знаем...

Когда они ушли, Скобелев начал передавать О. А. свои и мои впечатления от поездки по России.

— Где же исход? Где исход?

— Запереть границу для иностранного ввоза тех предметов, которые у нас у самих производятся. Раз и навсегда поставить на своем знамени «Россия для русских» и высоко поднять свое знамя... Ради этого принципа не отступать

ни от чего... Заговорить властно, бесповоротно и сильно... И сверх того — внутри у себя сделать многое.

— Что же именно?

И Скобелев изложил целую программу, давно, очевидно, обдуманную, обработанную во всех ее деталях, охватывавшую все стороны народной нашей жизни. К сожалению, она не может быть приведена здесь...

Целый вечер до отхода поезда мы оставались одни. Скобелев отдался воспоминаниям, рассказывал много интересных событий, перешел к настоящему и будущему России, но во всем у него звучала какая-то печальная нота... Я поехал вместе с ним на железную дорогу. Он всю дорогу говорил не переставая.

— Знаете, мне кажется, мы видимся с вами в последний раз...

— Что за малодушие! — вырвалось у меня.

— Как знать. Что-то говорит мне, что моя песня спета.

Он, впрочем, несколько раз в этот день повторял то же и при Ладыженском, и при Хлудове.

— Я не переживу этот год, верно... Хоть не хочется умирать совсем. Сделать еще европейскую войну, разбить исконных врагов России, уничтожить их и тогда — из списков вон... Только этого не будет... Ну, да что, впрочем...

Шел дождь, было холодно... Ни зги не видно около, тускло мигали слезящиеся фонари... Тоска невольно закрадывалась в душу.

— Ну, довольно! Как это пели у меня солдаты:

На врагов с улыбкой взглянем —
С песней громкой в бой пойдем...
Смерть придет — смеяться станем
И с улыбкою умрем!..

Больше я уже не видел Скобелева.

В этот свой приезд в Москву он дал мне знать, что ждет меня к себе обедать. Я собрался к нему, но утром ко мне в гостиницу вбежал лакей.

— Генерал умер...

— Какой генерал? Мне-то что за дело...

— Скобелев... Скобелев умер!

— Убирайся к черту... Что за глупые шутки...

Лакей заплакал... Я понял, что действительно случилось великое несчастье... Бросился в Hôtel Дюссо.

Предчувствие оправдалось. Михаила Дмитриевича не стало.

Раздел XXXVI

На другой день после смерти Михаила Дмитриевича мне едва удалось пробиться в комнату, где он лежал...

Теперь уже не было вчерашней суетни и толкотни. Из Петербурга наехали близкие к нему лица; у самого тела выросла и все время стояла вся в слезах его сестра, Надежда Дмитриевна, не отводившая взгляда от гордой и красивой еще головы брата... «Зачем так рано?» — читалось в этом взгляде, полном глубокой тоски... Тусклый свет восковых свечей теперь отражался на вензелях, камергерских мундирах, звездах, генеральских эполетах. Тем не менее у самого тела сплотились, точно не желая отдать его никому, даже самой смерти, его адъютанты и состоявшие при нем... На желтом, страшно желтом лице Скобелева проступали синие пятна... Губы слиплись, слились... Глаза ввалились... И весь он как-то ввалился... Ввалилась грудь так, что плечи с эполетами торчали вперед, ввалилась шея, точно голова была отделена от нее... Вокруг благоухали только что распустившиеся розы и лилии... Массы венков были разбросаны кругом. Они совершенно покрыли и золотую парчу покрова, едва-едва поблескивавшего из-под них... Тем не менее и теперь это мертвое лицо не казалось мертвым... несмотря на ввалившиеся глаза, на заострившийся нос, на слипшиеся синие губы, на пятна. Чудилось, что он спит, не так как всегда, а строгий, серьезный, смеживший свои веки под впечатлением какой-то глубокой думы. Вот-вот проснется и окинет всех изумленным взглядом: чего собрались сюда, зачем эти тускло горящие свечи, эти пышные розы, льющие в спертый воздух свое благоухание...

— А мы живем!.. — слышится в стороне скорбный голос.

Оглядываюсь... Старик-генерал не сводит глаз с этого молодого лица...

— И в какое время, когда ему открывалось широкое поприще, где бы он мог развернуть все свои силы...

У дьякона, участвующего в панихиде, прерывается голос от слез, несколько раз он невольно смолкает и начинает опять... Вон другое заплаканное лицо простого солдата... Это любимец покойного, Бражников, ходивший за его лошадьми... Он качает головой, точно упрекает Скобелева, зачем он ушел отсюда... Толпа на площади выросла за ночь. Она залила ее всю...

— Совсем небывалое дело!.. — слышится чей-то доклад генерал-губернатору. — Со всех сел массами идет народ сюда... Со всех заводов. Рабочие отказались работать... Из Серпухова, из Богородска — отовсюду тянутся толпы.

И действительно, на площади уже целое море... Улицы, прилегающие к ней, запружены народом... Народ на крышах домов, на кремлевской стене... На фонарях держатся, уцепившись руками... И все это молчит, как будто они боятся своим говором нарушить покой его — уже ничего не слышащего... Ничего не видящего... Отставных солдат — сотни, тысячи в этой массе... Только они говорят: рассказывают толпе, каков он был, как он любил их, любил народ... И сколько в этом бесхитростном рассказе слышится преданности ему... Около меня передает какой-то офицер: «Иду я в толпе, слышу, солдат один говорит: так мы его любили, что, кажись, какой бы бой ни был, понеси его перед нами мертвого, разом бы мы снесли все прочь...» И действительно, они шли за ним... Неслись, как волны, прорвавшие плотину, как волны могучие, неукротимые, не знающие или, лучше, не замечающие сопротивления... Те, кому удалось стать у самой гостиницы — без шапок. Всякий раз, как до них доносится отголосками пение певчих, они крестятся... Крестится и толпа за ними...

— На площади бы панихиду! — слышится кругом...

— Священников сюда... Мы все хотим...

Но чего-то испугавшаяся полиция молчит...

— Это ведь демонстрация будет, помилуйте!.. — говорит один из блюстителей порядка.

К полудню толпа уже не увеличивается, а уплотняется, на том же пространстве стали новые сотни и тысячи народа. Если бы не крики городовых да не ругань жандармов, сослепу кидающихся в эти толпы неведомо зачем, то тишина кругом казалась бы мертвой...

Наконец панихида окончена... Сестра покойного, плакавшая до тех пор безмолвно, зарыдала теперь, когда гроб ее брата подняли на руки, чтобы пронести его в церковь Трех Святителей, на самом краю Москвы, у железной дороги, по которой его провезут в имение...

Гул пошел по площади... Гул этот донесся до нас, поднявших этот гроб...

Наконец отворили дверь на площадь... Наконец в ее просвете народ, целые сутки тщетно ожидавший этого, увидел в цветах венков его лицо... Мы нарочно подняли изголовье гроба... И не успели еще вынести его на улицу — как раздалось такое рыдание, которого до тех пор я никогда не слышал.

— Москва плачет... — доносится до меня.

— Народные похороны... — говорит кто-то рядом. И действительно, мы видим, что они народные... Площадь, улица — единственно доступны народу, и тут-то он показал себя... К чему были эти меры предосторожности... Народ себя вел гораздо лучше, чем его пестуны. Мы шли, со всех сторон охваченные целым морем голов... Как во сне я припоминаю эти заплаканные лица, которым не было и числа, эти десятки тысяч рук, подымавшихся, чтобы издали перекрестить своего любимца. Черные сюртуки, изящные дамские платья — и тут же грязная, потная рубаха рабочего, сибиряка-крестьянина... Никто их не подготавливал, никто не организовывал подобного торжества, печального, но величавого, величавого именно подавляющей

массой народа, в рамке этих кремлевских стен и башен... Взглядывая по сторонам, я видел, как кланялись ему эти всклоченные головы, как мозолистые заскорузлые руки крестили загоревшую грудь, видную из-под откинутого ворота рубахи... Вон эти из деревень, должно быть, в лаптях они... На колена стали, когда мы мимо несли его... В более узких улицах народ точно старался врасти в стены домов, очищая ему дорогу, на широких площадях он раздавался, открывая коридор, по которому мы несли его.

Да, Действительно, это народ хоронит, народ его оплакивает... Теперь только видно, как народ умел отличать и узнавать друзей своих, как за любовь он платит любовью... Окна, балконы домов полным-полны... Мало, очень мало равнодушных лиц... Они теряются, их не видать совсем... Чуть не пол-Москвы мы прошли так — когда вдали показались Красные ворота, а за ними церковь Трех Святителей... Вся эта площадь залита сплошь толпой... Ей нет конца... Когда мы проходим мимо улиц, разбегающихся направо и налево, в них, насколько они доступны взгляду, видны все те же толпы... Эти не нашли себе места, они ничего не увидят, но ждут все в том же благоговейном молчании.

— Мы хороним свое знамя!.. — говорит Хитрово... — Где теперь человек, вокруг которого сошлись бы все... Где такое сочетание самых разнообразных условий и такая ранняя слава!..

Церковь Трех Святителей уже полна. Ночью я заехал сюда еще... Улицы также были заняты народом... Терпеливо ожидал он своей очереди — поклониться в последний раз праху... В церкви в два ряда подходили к гробу крестьяне. Венки за венками приносили вновь... Сотни их разрывали, раздавая желающим, но церковь все еще была полна ими... Углы тонули под зеленью, стен и икон не было видно за венками... У гроба дежурили адъютанты

покойного... В темноте, из цветов, едва-едва выделялась русая, широко расчесанная на обе стороны борода, светлые усы и чуть заметный абрис страшно похудевшего лица... Я долго стоял тут, присматриваясь и прислушиваясь.

— Упокой его Господи! — крестит это лицо какой-то старик-крестьянин...

— Послужил ты нашей матушке России... — говорит другой, глядя в эти неподвижные черты... — Честно послужил... Дай тебе Господи царство небесное...

Вон инвалид едва-едва подвигается через церковь, стуча деревяшкой по каменному полу... Добрался... Смотрит на Скобелева...

— Не скажешь... Не скажешь уж теперь... За мной, за мной, ребята!.. — прерывающимся от слез голосом шепчет он. — Не скажешь... Орел ты наш!.. — И отмахнувшись от чего-то рукой, уходит прочь.

Молятся сотни — безмолвны. Подойдут, тоскливо взглянут на это лицо, поцелуют сложенные на груди синие, худые-худые пальцы рук и понурясь идут прочь.

— Насилу доступились до тебя!.. — говорит другой старик. — Живой — ты наш был, а как помер, так сейчас тебя и отняли...

И сколько нежности, сколько искреннего чувства слышалось во всем этом.

Один из близких знакомых покойного ворвался в церковь, кинулся к гробу, зарыдал и, обезумев, схватил Скобелева за плечи и хотел вынуть... Едва удалось отвести...

Я отошел к сторонке... Отсюда была видна часть мертвого лица... Мигание свеч придавало ему какое-то странное выражение... Точно мертвец делал попытки проснуться и не мог... Смотрел-смотрел я, и вдруг, до поразительности ясно, представилась мне картина недавнего, совсем недавнего былого.

...Пологий скат, покрытый сырою от дождя травою.

Тихо по нему вверх движется цепь стрелков... Сзади едва-едва доносится топот следующих за цепью колонн... Туман кругом, ни зги не видно... Позади цепи идет Скобелев... Зорко всматривается он вперед, точно хочет различить в этом тумане, где притаился редут... Вот оттуда неуверенный выстрел всполохнувшегося часового, другой, третий...

— Вперед, ребята!.. — металлически громко крикнул генерал... Раздвинул стрелков, вышел перед ними. — Вперед, ребята... Барабанщики — атаку... Ур-ра!..

И вспыхнуло, и гремит это «ура». От звена к звену, от одной колонны к другой... А его уже не видно — он уже в самом пекле боя, перед своими солдатами... В пекле боя, охваченного туманом... Только порою сквозь залпы слышится его ободряющий, веселый голос...

А люди идут и идут прощаться с ним...

На другой день вся церковь была окружена войсками.

На панихиду съехались высшие чины наших войск — откуда возможно было поспеть... У гроба Скобелева стояли Радецкий, Ганецкий, Дохтуров... Черняев, заплаканный, положил серебряный венок от туркестанцев... Кругом сплошною стеною сомкнулись депутаты от разных частей армии, от полков, которыми командовал Скобелев... Венки за венками... Некуда уже ставить их.

— Послушайте! Есть кто-нибудь от Тотлебена?

— Нет никого.

— И телеграммы не было? — слышится тот же удивленный голос.

— Нет.

— Да ведь Тотлебен командует военным округом, где расположен корпус Скобелева?

— Да.

— Странно!

— Нас самих удивляет...

Над гробом такая же неподвижная, полная тоски, сестра покойного и по-прежнему не сводит глаз с лица его.

К панихиде приехали из Петербурга Великие князья, Алексей и Николай.

Все спешно и жадно всматривались в черты покойного... Еще час-два — и они будут уже окутаны вечным мраком. Есть что-то глубоко трогательное в этих последних минутах, когда свет божьего дня падает на холодный уже труп... Тут уже не отводишь взгляда от него... Целым роем воспоминания носятся кругом... Звучат памятные фразы, отрывая от себя покойного... Воскресает то, что, казалось, совсем уже замерло в душе... С какою-то болью доискиваешься, что отразилось, застыло на этом лице в последнее мгновение жизни, когда перед ним широко открылась дверь в иной мир?.. Что увидел он за этою дверью?..

Архимандрит Амвросий, личный друг Скобелева, начал свое прощальное слово... Тихий голос его растет и растет... Проникает в сердце... Точно слезами, каплет каждый звук этой речи... Сам он смотрит прямо в лицо покойному, точно говорит ему одному, и чудится нам, что и тот его слышит, что и у того на лице отразилось благоговейное чувство... Все в церкви замерло... Только и носятся эти проникнутые душевным волнением слова...

«За любовь его к народу, за любовь народа к нему, за наши слезы и ради собственной твоей бесконечной благости, прости ему, Господи!..» Торжественным призывом уносится в высоту звучная фраза.

Голос Амвросия оборвался... Кто-то громко зарыдал в толпе...

Прощаются... В последний раз целуют и кланяются покойному... Крышка гроба уже тут... Не совладав с собою, Абазиев бросается вон из церкви... Плачут все уже... Нет равнодушных и спокойных... Гроб подымают Великие князья... Опять — народ и площадь.

К утру в Москву собралось все население ее окрестностей...

Земли не видно. В целом, широко разлившемся море людей потонули дома... Гроб проносят под Триумфальными воротами...

— Хоть мертвый дождался!..

— Это шествие триумфатора, а не похороны генерала...

Вот и вокзал...

На платформе траурная беседка из черного кашемира с белыми георгиевскими крестами... Вагон, тоже весь обтянутый черным кашемиром, уже стоит здесь... Громадная пальма срезана под венчик... Широкие листья ее раскидываются под потолком вагона. Гроб ставят туда... Первый удар молотка...

Грохот залпов... Трескотня ружейных выстрелов, гулкие удары пушек...

Не он ли несется впереди боевого урагана?.. Не он ли ведет в огонь свои дружины?.. Именно в этом адском грохоте привыкли слышать и видеть его... Я смотрю на других — и, видимо, тоже и на них нахлынули эти воспоминания... Душат они... Выбегаешь скорей из этой беседки на воздух... Залпы погасли, одни колокола бьют свою тревогу над Москвой...

Поезд для тех, кто сопровождает его, готов... Через полтора часа едем...

— Да, это действительно народные похороны...

— Не везет нам... Все талантливые люди мрут... Теперь простор посредственности!

— Один за другим!.. И все без следа...

— Без следа ли?.. Разве умер дух Скобелева?.. Нет — он остался...

— Да, но не будет его самого, человека вечного протеста против всякой рутины... Нет знамени...

— Он являлся именно тем типом боевого вождя, которого французы называют le grand capitaine[29]!..

— Ну, теперь и в Питер пора, ваше превосходительство...

— Да, знаете, оно точно, герой, герой... А только довольно...

— Я вам скажу, теперь спокойнее будет...

— Что же, теперь и нам умирать надо, жить нечего!..

Ловя эти взаимно противоречащие фразы, я едва-едва выбиваюсь из блестящей толпы, окружающей гроб...

— Кажется, что в каждой семье отец, брат или друг умер... Осиротели все мы...

— Бедная Россия!..

Народная волна захватывает меня и уносит на площадь... Отсюда я едва-едва выбиваюсь на улицу.

* * *

Народные похороны стали чисто народными, когда поезд наш тронулся...

У меня до сих пор не прошло это глубокое впечатление... Все мы, находившиеся на этом скорбном поезде, были подавлены величием встречи, сделанной своему любимцу народом... Если бы я не боялся навлечь на себя упрек в преувеличении, я бы сказал, что вагоны наши двигались до Рязани по коридору, образованному массами народа, столпившимися по обеим сторонам полотна... Это было что-то до тех пор неслыханное. Крестьяне кидали свои полевые работы, фабричные оставляли свои заводы — и все это валило к станциям, а то и так, к полотну дороги... За Москвой на несколько верст стояла густая масса народа... За городом сейчас же — мост.

[29] Великим полководцем.

Тут по обе стороны его не видно было окрестностей за людьми... Под мостом — где можно, тоже столпились они. У самого полотна многие стояли на коленях... Все это под жаркими лучами солнца, натомившееся от долгого ожидания. Грандиозность общей картины так влияла, что мы поневоле пропустили множество характерных подробностей... Уже с первой версты поезду пришлось поминутно останавливаться. Каждое село являлось со своим причтом, со своими иконами. Крестьяне служили по пути сотни панихид... Большая часть сел вышли навстречу с хоругвями — совершенно исключительное и небывалое явление... И тут не было спокойных, не было равнодушных... На всех лицах живо отпечатлелись волнения этих дней!..

Медленно двигался этот поезд в живой, глубоко чувствовавшей и так ярко сумевшей выразить свое горе массе... В одном месте более четырехсот крестьян стояло с зелеными ветвями в руках, и мирный шорох их издали казался шелестом невидимых крыльев в воздухе... Следующая деревня тоже вся сбежалась к полотну и, когда завидела наш поезд с траурным вагоном впереди, вся, как один человек, опустилась на колени. Только одни хоругви величаво колыхались над ней да старческий голос священника уносился в голубую высь с мольбою упокоить его, этого легендарного витязя и народного любимца, со святыми... Деревни, далекие от станций, сходились прямо к рельсам, и так как поезд здесь не останавливался, то они начинали свои литии при виде его и кончали, когда мы их оставляли уже позади... Мимо других поезд проносился быстро — только мельком показывая молящимся в отворенную боковую дверь вагона покрытый парчой и бесчисленными венками гроб, со стоявшими по углам его дежурными... Смутно и до сих пор слышится мне

этот грустный, стихийный, однообразный ритм наскоро повторявшихся молитв, наскоро потому, что иногда поезд поневоле двигался ранее и священник оканчивал панихиду, уже издали благословляя прах Скобелева... Смутно представляется вся эта стихийная, однообразная земская сила, оторвавшаяся от работы, чтобы в последний раз поклониться своему земскому богатырю... Ночью — она была тиха до Рязани — даже легкий ветерок, дувший днем, уснул; иногда впереди горели сотни огней — это крестьяне выходили со свечами и зажигали их в ожидании поезда... Раскольничье село вышло без попов, но пели свои гимны, печальный напев которых долго носился в воздухе.

В нашем поезде ехал Чарльз Марвин, корреспондент английских газет... Он был поражен...

— Это и у нас было бы невозможно... — повторял он.

И накануне кто бы поверил чему-нибудь подобному...

В Рязани весь вокзал залит народом... Полиция усердно работает локтями и кулаками... Но это не мешает... Скоро местных держиморд куда-то оттеснили, и Скобелев был сплошь окружен народом... Сотни венков разорвали и бросали их людям, и те уносили их с собою как святыню. Новые венки приносили крестьяне и горожане. Были наиболее между ними из васильков, из ромашки... За Рязанью шел дождь, под дождем стояли всю ночь и мокли толпы в ожидании нашего поезда. В конце концов, казалось, что это не похороны одного человека, а совершается какое-то грандиозное явление природы... Перед этой, столь величаво выраженною волею народа — признававшего Скобелева за то, что он был, — меркли и зависть, и тупая вражда... Отныне, если они и подымутся опять, то уже не будут страшны его памяти. Жалки и тусклы покажутся они каждому.

Так поезд подошел к Раненбургу... Тут ждали гроб крестьяне села Спасского...

Последние версты они несли его на руках, в серых сермяжных кафтанах, в лаптях...

Как кому, а это меня тронуло больше, чем вынос тела в Москве...

Легенда умерла и схоронена... Что займет ее место посреди повседневной пошлости и посредственности?..

Раздел XXXVII
Скобелев у карлистов

Осенью 1882 года я был в Италии. Смерть Скобелева, ее причины, ее внезапность и загадочность интересовали всех. Встречаясь со мною, знакомые, не знаю уже в который раз, заставляли меня повторять рассказ об этом событии. За границей интерес к нему был едва ли еще не сильнее, чем у нас. Я говорю, разумеется, про печать, а не про народ. На немецком языке вышла книжка, сейчас же разошедшаяся в продаже, в Италии продавали много брошюр о том же. Нужно сказать правду — иностранцы ценили покойного гораздо лучше, чем мы. Особенно немцы. Когда прошло замешательство, вызванное смертью Скобелева, они сейчас же отвели ему надлежащее место, причислив М. Д. к первым полководцам последнего времени. Военные журналы дали добросовестнейшую оценку «врагу Германии», а один авторитет прусской военной науки прямо заявил, что смерть Скобелева равняется для немцев выигранной кампании. Прав ли он был или нет — другой вопрос. Дело в том, что во всем сказывалось признание гения покойного генерала и еще не вполне рассеявшаяся боязнь, которую возбуждал он в наших добрых соседях. Из Специи в Ливорно мне пришлось ехать через Реджио. В вагоне со мною оказался итальянский офицер генерального штаба, который, узнав во мне русского, сейчас же заговорил о Скобелеве. Как оказалось, он знал его лично. Они вместе были на маневрах в Германии, и мой спутник передавал мне много комических подробностей о том, как Скобелев ухитрялся узнавать тайны германского военного дела, как он исследовал местность в Познани, как он сумел даже проникнуть в некоторые немецкие крепости, занося по вечерам все свои наблюдения в памятную книжку под рубрику «на всякий случай».

— Мы все изумлялись, когда он спит? В семь часов он уже был в седле, а в девять вечера садился за работу и, просыпаясь в два-три часа ночи, мы еще видели его за ней. Исписал он тогда массу бумаг, и, судя по вырывавшимся у него случайно фразам, он настолько глубоко узнал и изучил германскую армию, что надень на него тогда прусский мундир — он был бы вполне на своем месте. Его больше всего беспокоила германская кавалерия, и ее-то он наблюдал особенно пристально. В то же самое время он умел настолько обворожить пруссаков, что они, вовсе не страдающие излишком любезности, не умели и не могли ему отказывать ни в чем. Поэтому Скобелев проникал в такие тайники, о которых мы не могли и мечтать. Император Вильгельм не раз заявлял, что он его любит как сына, и Скобелев действительно никогда не мог говорить без почтительного волнения о маститом вожде германского народа. Зато от дружеских излияний остальных немцев он умел уклоняться так, что они оставались под его обаянием вполне, и в то же время отношения с ними ни к чему не обязывали Скобелева. Мы могли только удивляться дипломатическим способностям русского генерала, который только в одном не мог сдерживаться — в своей глубокой антипатии к Бисмарку, которого после берлинского конгресса он ненавидел всеми силами своей энергической и не знавшей ни в чем середины натуры. В этом отношении Скобелев не постеснялся даже гласно выразиться, что не будь Бисмарка, два племени — славянское и германское — века еще могли бы прожить добрыми соседями. У них были бы разные политические дороги, на которых они бы могли вовсе не встречаться. «Насколько я благоговел перед Бисмарком до берлинского конгресса, настолько же я ненавижу его после. И поверьте, — оканчивал он, — если когда-нибудь будут чудовищные бойни между нами

и немцами, если прольются реки крови — Каином этих убийств будет не кто иной, как Бисмарк!..»

Откровенен, он был, впрочем, только с итальянцами и французами.

Наша беседа уже заканчивалась, когда в нее вмешался один сидевший тут же итальянец.

— У нас в Реджио есть хороший знакомый Скобелева.

— Кто такой?

— Дон Алаиз Мартинец.

— Испанец?

— Да.

— Как он попал к вам?

— Да ведь около Реджио живет дон Карлос со своею женою Маргаритой. Дон Алаиз принадлежит к числу немногих людей, оставшихся с ним разделять изгнание. Это для меня интересный тип. Он встретился со Скобелевым в отряде дон Карлоса и подружился с вашим генералом. Когда было получено известие о смерти его, дон Алаиз плакал как ребенок. Он рассказывает массу интересных подробностей о нем.

— Теперь он в Реджио?

— Неделю назад я еще видел его.

— Застану я его, как вы думаете?

— Если он не уехал в Испанию.

— Зачем?

— Они часто делают политические экскурсии. У нас их всех узнают по общей примете: у всех карлистов неизменно в петлице белый цветок маргаритки. Они носят его в честь своей королевы. Дона Алаиза чуть не расстреляли за это в Барселоне, куда он явился, не сняв знака своей партии.

— Это человек храбрый, значит?

— Да. Он весь изранен. Шрамы на лице, рука на перевязи. Он не только кровь свою, но и богатство отдал дону Карлосу...

Помимо рассказов о Скобелеве, которые я мог бы записать в Реджио, дон Алаиз представлялся и вообще интересным типом. Я ненавижу карлистов, стремящихся в конце 19-го века навязать Испании старые лохмотья филипповских времен с св. Германдадой включительно. Но нельзя отказать им, во-первых, в преданности делу безнадежному, которому они служат стойко, а во-вторых, в известной романтичности, окружающей все их действия. У меня был «циркулярный билет», позволяющий путешественнику останавливаться в какой ему угодно местности, по означенной в этом билете линии рельсового пути. Простившись с моими путниками и взяв у синьора Велутти адрес дона Алаиза, я остался в Реджио.

Был уже вечер. Горы с мраморными ломками вблизи (Карара недалеко отсюда) уходили в лазурные сумерки. На их вершинах только еще догорала золотая прощальная улыбка солнца. Старый собор всею своею громадою точно давил узкую улицу с домами, помнившими еще времена Гвельфов и Гибеллинов, какой-то мрачный памятник неожиданно выдвинулся из глубокой ниши. Развалины замка молча доживали свой век с пестреньким коттеджем рядом, точно разбогатевшего мещанина, веселого, краснощекого и улыбающегося, поставили бок о бок с забытым рыцарем, на сгорбившемся теле которого едва держались старые, почернелые латы... Тут же недалеко был «альберго», в котором мне предстояло провести ночь. Я послал свою карточку к дону Алаизу с вопросом, когда мне будет позволено навестить старого карлиста. Через несколько минут мальчишка-итальянец, горланя вовсю и еще издали что-то сообщая мне, показался перед балконом локанды.

— Что ему надо? — обратился я к «камерьеру», понимавшему французский язык.

— Дона Алаиза нет. Он у дона Карлоса, но жена ждет его каждую минуту, так что ежели синьору русскому будет

угодно, он может сейчас же отправиться и будет принят с величайшим удовольствием...

Я обрадовался. Таким образом, еще в ночь мне являлась возможность выехать из Реджио, чтобы к утру попасть в Пизу, в которой на следующий день именно и было назначено торжественное служение в знаменитом соборе, причем должны были петь два известных итальянских певца. Их, впрочем, так много, что читатели, надеюсь, извинят мне слабость моей памяти.

Ночь уже совсем окутала старый город. Из-за стрельчатой башни собора прорезывался острый рог молодой луны. В окна его, сквозь цветные стекла, лилось на улицу мягкое сияние. В соборе шла служба, и торжественные звуки органа едва-едва слышались здесь. Веселая говорливая толпа катилась волною по каменным мостовым. То там, то сям вспыхивала и обрывалась песня. Вот из третьего этажа какого-то облупившегося давно дома, на котором балконы держались, очевидно, только по недоразумению, вынеслась на улицу давно забытая у нас ария. «Ricevi da labri dell arnica il baccio estrema»[30] звучно пело сильное сопрано того особенного, только югу свойственного тембра, где мощь взятого полною грудью звука соединяется с удивительно нежной окраской его.

Под окном тотчас же собралась толпа.

— Bravo, bravo, bravissimo, bravo!..[31] — аплодировала она, когда последняя высокая нотка умерла в теплом воздухе тосканской ночи.

Отсюда шел узенький переулок налево. Тут-то в еще более старом, подслеповатом доме и жил когда-то знатный и богатый испанец дон Алаиз Мартинец. Каменная лестница вела к нему снаружи. Видно было, что по ней мало

---

[30] «Прильни к устам подруги в последнем поцелуе».

[31] — Браво, браво, брависсимо, браво!..

ходят. В щелях поднялась трава, и какая-то ящерица скользнула из-под самых ног у меня, когда я поднимался на сырые ступени.

Мальчик, который провел меня сюда, взбежал наверх, тотчас же вернулся, и за ним обрисовался на высоте третьего этажа силуэт женщины со свечой в руках. Она вся была одета в черное. Это оказалась жена дона Алаиза.

Она ни слова не говорила по-французски, и мы поневоле молча сидели в гостиной, маленькой и бедной, так и веявшей на меня лишениями и нищетой долгого изгнания. На стене виден портрет красавца дон Карлоса, такой же портрет — только миниатюрный — она носила на груди на тонкой золотой цепочке. Полотнище черного знамени с белым крестом висело с древка, прислоненного в угол. Здесь не было даже ковра, чтобы прикрыть каменный пол убогой комнаты. Зато приемы испанки были полны величавого достоинства. Любая королева могла бы поучиться у нее. Я думаю, изгнанница, принимая меня у себя в замке, не могла бы быть великолепнее. Черные глаза ее смотрели очень строго из-под резко очерченных бровей. Жене дона Алаиза было не менее тридцати пяти лет, она сохранила следы когда-то поразительной красоты. Южанки, впрочем, стареют рано; другие в этом возрасте являются уже совсем дряхлыми развалинами. Наше обоюдное молчание продолжалось очень недолго. Внизу послышался шум шагов, и минуту спустя в комнату вошел высокий и стройный испанец, с седыми короткими волосами на характерной упрямой голове, резко очерченные линии которой, глубоко сидевшие гордые глаза говорили о силе воли, об энергии этого одного из последних могикан карлистского движения. Вместе с ним был какой-то патер — по высочайше утвержденному для всех дон Basilio образцу — обрюзглый, толстый, с крупными сластолюбивыми губами и маслеными, сладко смотревшими на вас

глазами. Я отрекомендовался. Холодность и сдержанность дона Алаиза тотчас же прошла, когда он узнал, зачем я пришел к нему. Он радушно пожал мне руку, и суровое лицо осветилось точно изнутри, когда он проговорил, вздыхая:

— Какая это тяжелая для вас, для русских, потеря... Как глубоко вы должны ее чувствовать... Как горька она должна быть вам, вам, знавшему лично этого орла. Я тоже знал его... Но тогда, когда он еще только расправлял свои когти, когда он был орленком.

Я ему сообщил о своей книге, о желании дополнить ее новыми сведениями.

— Весь к вашим услугам... Мы не больше месяца провели со Скобелевым, но я пользовался его дружбою и сильно был им заинтересован.

Он перевел что-то дону Базилио (прошу позволения так называть патера). Тот тоже оживился.

— Скобелев мог бы быть мечом божиим, если бы им не овладел дьявол! — вздохнул патер. — Такова судьба всех гениев, если они не приобщаются к святой церкви Христовой.

— Переведите, пожалуйста, святому отцу: почему он полагал, что Скобелевым овладел дьявол?

— Еще бы! Дьявол владеет всеми, кто не в лоне нашей истинной римско-католической веры.

— Благодарю вас! Тогда, значит, и я сосуд дьявола?

— Доколе Господь не призовет нас к познанию истины! — И дон Базилио поднял к образу свои сладкие масленые глазки.

В это время в комнату вошла горничная — прехорошенькая итальянка — и патер повел на нее таким взглядом, что я тотчас же угадал в этом почтенном коте большого охотника до чужих сливок.

— Наша встреча со Скобелевым была очень оригинальна, — начал дон Алаиз.

— В каком отношении?

— Он приехал тогда из Байонны с рекомендательным письмом от одного из наших. Его, разумеется, арестовали на аванпостах, завязали ему глаза и, несмотря на его протест, в таком виде доставили ко мне. Он тотчас же отрекомендовался русским путешественником.

«Вы военный?» — спрашиваю его.

«Был!.. Теперь в отставке!..» — Только потом он сообщил мне, что он служит, что он полковник.

«Генерал?..»

«Нет...»

Мне помнится, что он тогда назвал себя полковником. С первого же разу он как мне, так и нашему королю — да хранит Господь его на многие лета! — почел необходимым сообщить, что он вовсе не сочувствует нашему движению и если бы не мы вели горную войну, а мятежники, то он присоединился бы к ним.

«Зачем же вы приехали?» — спросили мы у него.

«Во-первых, я люблю войну, это моя стихия, а во-вторых, нигде в целом мире теперь нет такой гениальной обороны гор, как у вас. По вашим действиям я вижу, что каждый военный должен учиться у вас, как со слабыми силами, сплошь почти состоящими из мужиков, бороться в горах противу дисциплинированной регулярной армии и побеждать ее. Вот видеть это я и приехал сюда».

«А если мы вас не пустим?»

«Я не уеду отсюда».

«А если вас за ослушание расстреляют?»

«Я военный и смерти не боюсь, только не верю тому, чтобы это могло случиться. Я ваш гость теперь и потому совершенно спокоен. — И он положил на стол револьвер. — Вот и оружие свое сдаю вам».

Нам он очень понравился тогда, а в тот же вечер мы научились и уважать его исправно. Мятежники атаковали нас. Скобелев, совершенно безоружный, с таким спокойствием пошел под пули, что хоронившимся за камнями карлистам даже стало стыдно и они тоже бросили свои убежища. Ваш генерал спокойно сел на скале под выстрелами и, вынув записную книжку, стал что-то заносить в нее. По нему стреляли залпами, но он не оставил своей удобной, хотя и убийственной позиции до тех пор, пока не кончил работу... Один из наших подал ему ружье.

«Зачем?» — удивился Скобелев.

«Стрелять... Во врагов...»

«Они для вас враги. Я не дерусь с ними. Меня интересует война, а принимать в ней участие я не имею права».

Но раз и его увлек бой.

Это было в ущельях Сиерры Куэнцы. Наши, подавляемые значительным численным превосходством неприятеля, побежали. Вдруг откуда ни возьмись сам генерал крикнул на них, пристыдил, выхватил черное знамя у здорового пиренейского крестьянина и пошел с ним вперед. Его, разумеется, догнали вернувшиеся карлисты, и мятежники (так дон Алаиз называл правительственные войска) были отбиты.

«Ну что, не выдержали?» — спрашивал я его потом.

«Не могу видеть трусов, к какой бы они партии ни принадлежали».

Это был совершеннейший тип рыцаря. Два или три дня спустя наши напали на путешественников, между которыми были дамы. Разумеется, к святому делу нашего короля приставали вместе с благороднейшими и убежденными защитниками его прав всякие другие люди. Случались беглые, разбойники. К таким-то в руки попались туристы. Скобелев случайно наехал на это приключение

и с револьвером в руках бросился на защиту женщин. Если бы не подоспели мы, ему пришлось бы плохо.

— Почему?

— Видите ли, бандиты ведь не рассуждали. Все, что ни попадало в их руки, они считали своею законною добычей. Нас, испанцев, не удивить храбростью, мы умеем прямо смотреть в лицо смерти, но Скобелев и нас изумлял. В нем было что-то рыцарски-поэтическое. Он был красив в бою, умел сразу захватить вас, заставлял любоваться собою. Вы знаете, наши пиренейские крестьяне как его прозвали?

— Как?

— Братом дон Карлоса! Они так и говорили: русский брат нашего короля!

У меня чуть не сорвалось с языка, что такое сравнение вовсе не польстило бы Скобелеву, да вовремя я удержался.

— Почему он так рано уехал от вас?

— Да распространился слух, что русские прислали его на помощь нашим. Ну он и уехал. Могли бы выйти затруднения, а ему не хотелось подавать повод к разным толкованиям.

— Много работал он?

— Ведь вы знаете, что мы очень старательно укрепляли горы. Так он бывало после утомительного боя не пропустит ни одной там работы. Следил за всем. Изучал. Тоже ни одного горного перехода не упустил, до мелочности наблюдал, как мы организовывали перевозку артиллерии, снарядов по козьим тропинкам. Раз он даже, когда лошадь сорвалась в кручу, вовремя обрезал ей постромки и таким образом спас медную пушку, которую надо было доставить на скалу. Одного он не любил.

— Именно?

— Много пешком ходить. Бывало во что бы то ни стало, а добудет себе лошадь. Раз даже на муле взобрался на одну гору. И ездить же он мастер был! Такого неутомимого

всадника даже между нами не оказывалось. Он нам очень много помог даже. Оказалось, что ему хорошо известен был способ фортификации в горах.

— По Туркестану, верно?

— Да. Он у нас учился нашим приемам, а нам сообщал свои. Он первый научил наших топливо носить в горы на себе, по вязанке на человека. Таким образом, уходя от мятежников на вершины наших сиерр, мы не страдали там от холода и от недостатка горячей пищи. Потом это усвоили у нас все... Меня в нем поражала одна замечательная черта — Скобелев способен был con amore [32] работать, как простой солдат. Сколько раз мы его заставали за, по-видимому, мелочными делами, в которые он уходил, как в крупные. Еще одна черта была в нем. Он чувствовал какую-то неодолимую потребность узнать все à fond [33] в местности, куда попадал случайно. Что ему, например, до нашего пиренейского крестьянина? По-видимому, дела нет, а уже в конце второй недели там он подарил нас сведениями о быте, знанием мельчайших потребностей испанского солдата. Я уже не говорю о его военной учености. История наших войн была ему известна, так что он не раз вступал в споры с Педро Гарсиа, много писавшим у нас по этому предмету, и как это ни обидно для испанского самолюбия, а нужно сказать правду, Скобелев выходил победителем из таких споров. У нас в горах среди страшно пересеченной местности он умел так запоминать самый незначительный уклон или извилину ущелья, фигуру горного хребта, что там, где он раз проехал, уже не надо было делать рекогносцировок и посылать летучие отряды для освещения местности. Я еще тогда в нем предвидел великого полководца и государственного человека!

---

[32] Самоотверженно.

[33] Досконально.

— Вот это последнее многие именно и отрицают в нем.

— Я могу сказать только одно. У нас в отряде он сумел нравственно подчинить себе почти всех, хотя все знали, что он нашему делу вовсе не сочувствует и считает победу его гибельной для Испании...

Когда я уходил отсюда, дон Алаиз вышел проводить меня.

Золотой рог луны уже высоко поднялся над великолепною массой громадного собора. Толпы на улицах становились малочисленнее и реже. Изредка звучали счастливые праздничные напевы благополучной Италии. Не хотелось уезжать из этого уголка.

Из писем М. Д. Скобелева

В виде письма к одному из своих друзей И. С. Аксакову Скобелев начал было писать свои мемуары. Они так и остались неоконченными, но мы приведем из них все, что возможно. Вот написанная рукою Скобелева их программа: 1. Впечатления при выезде из Москвы. 2. Несколько слов о петербургской речи. Нет связи между нею и парижскою, разве только ненависть, высказанная немцами всех оттенков. 3. Впечатления, вынесенные из Франции. Славянское студенчество. Madame Adan. Camille Farcy. Gambetta. Freycinet[34]. Английская пресса. 4. Мое возвращение. Варшава. 5. Приезд в Петербург. 6. Гатчина. 7. Statu quo[35].

«Для Вас, конечно, не осталось незамеченным, — пишет Скобелев, — что я оставил Вас более чем когда-либо проникнутый сознанием необходимости служить активно нашему общему святому делу, которое для меня, как и для Вас, тесно связано с возрождением пришибленного ныне русского самосознания. Более, чем прежде, ознакомясь с нашею эмиграцией, я убедился, что основанием общественного недуга — в значительной мере является отсутствие всякого доверия к положению наших дел. Доверие это мыслимо будет лишь тогда, когда правительство даст серьезные гарантии, что оно бесповоротно ступило на путь народной как внешней, так и внутренней политики, в чем пока и друзья, и недруги имеют полное основание болезненно сомневаться. Боже меня сохрани относить последнее к государю, напротив того, он все более и более становится единственною надеждою среди петербургского всерешающего бюрократического небосклона, но он один, а с графом Игнатьевым их всего двое, этого мало, чтобы даже

[34] Мадам Адан. Камил Фарсей. Гамбетта. Фрайсине.
[35] Статус-кво.

временно побороть петербургскую растлевающую мглу... Кстати, чтобы к этому более не возвращаться, я имел основание убедиться, что даже эмиграция в своем большинстве услышит голос отечества и правительства, когда Россия заговорит по-русски, чего так давно-давно уже не было, и в возможность эту она положительно не верит.

Под впечатлением свидания с Вами, Вам понятно слово сердца и убеждение, вырвавшееся у меня 12 января на геок-тепинском обеде. Дня два спустя, *а не до того,* я видел гр. Николая Павловича, и он, упомянув о возбуждении иностранных послов по поводу сказанного, посоветовал мне поторопиться с отправлением в Париж. Очевидно, хотели замять дело, и никто тогда не предвидел того, чему *суждено* было случиться, менее других, конечно, гр. Николай Павлович.

Тяжелое, не скрою, впечатление произвела на меня Пруссия во время переезда. Комментирование моих слов сердца и святого убеждения было в полном разгаре, и сколько наглой лжи, пошлых себялюбивых немецких обидных России толкований пришлось всюду читать и всюду слышать. Слишком много на Руси и особенно в Петербурге и за границей таких господ, которые считают за честь присоединиться к подобному лаю... а потому они и не страдают. Сознаюсь, я переехал французскую границу глубоко раздраженный и огорченный особенно тою бесцеремонностью, с которою немцы преподавали австрийцам не щадить православной крови!.. <...>

Во Франции, напротив того, я нашел много *инстинктивного,* хотя еще и невыяснившегося сочувствия, большое желание ознакомиться с соотношением России и Германии к славянскому и балканскому вопросам, а также впервые рождающегося в умах некоторых желания понять связь славяно-русских отношений к Франции в смысле возвращения последней утерянного положения в Европе,

завоеванием двух отнятых провинций и *линии Рейна* с наступательными на ней тет-де-понами...

В отношении последнего как бы немцы ни старались *затемнить* этот вопрос путем купленной печати и им, особенно за последние годы, присущих интриг, сознание необходимости войны живет во Франции, и *нет* такого правительства, которое было бы в состоянии удержать от вмешательства Францию, если бы обстоятельства сложились невыгодно для Германии... <...>

Полагаю, что Вы признаете извинительным, что в таком настроении сердца и головы я сближался с известною частью печати, желающей нам сочувствовать более страстно, чем осторожно... Этим воспользовались с целью *доброю*, и как мне теперь *ни трудно*, мне *не жаль случившегося*.

Что сказать Вам про *приписываемую* мне речь сербским студентам. Ее я, собственно, никогда не произносил. Да и вообще никакой речи не говорил. Пришла ко мне сербская молодежь на квартиру, говорили по душе и, конечно, не для печати. C. Farcy напечатал то, что ему показалось интересным *для пробуждения* французского общества и со слов студентов, меня не спросясь.

Я бы мог формально отказаться от мне приписываемой речи, но переубедили меня и Гамбетта и madame Adan. Первый особенно настаивал на ее полезном впечатлении в молодежи, армии и флоте; так как в конце концов все сказанное в газете "France" сущая правда и, по-моему, могло повести не *к войне*, а *к миру*, доказав, что мы сила, то я и решился не обращать внимания на последствия лично для меня и молчанием дать развиться полезному, т. е. пробуждению как у нас, так и во Франции законного и естественного недоверия к немцу».

Мысль о том, что «крамола» в значительной степени создана берлинским конгрессом и некоторыми разочарованиями, последовавшими за окончанием прошлой

войны, не раз высказывалась Скобелевым. Вот что он пишет к одному из своих друзей: «С глубоким радостным волнением прочел я глазами и в особенности сердцем передовую статью в № 53 "Руси"; это честное русское слово возобновило в моем представлении недавнее столь тяжелое, чтобы не сказать позорное прошлое. Стояние в виду Константинополя якобы с целью надругания над родными знаменами, преступный индифферентизм к русской чести и интересам, дипломатически вынужденное отступление к Адрианополю при громких ликованиях не только врагов, но, что тяжелее, и всего нерусского в Русских мундирах и вицмундирах, плач оставленных на жертву православных братий, вверивших нам свою судьбу, глумление британского флота и, наконец, окончательные результаты берлинского самобичевания. Тогда уже для слишком многих из нас было очевидно, что России *обязательно* заболеть тяжелым недугом *нравственного* свойства, заразительным, разлагающим. Опасение высказалось тогда открыто, патриотическое чувство, увы, не обмануло нас! Да, еще далеко не миновала опасность, чтобы произвольно недоделанное под Царьградом не разрушилось бы завтра громом на Висле и Бобре. В одно, однако, *верую и исповедую*, что наша "крамола" есть в весьма значительной степени результат того почти безвыходного разочарования, которое навязано было России мирным договором, не заслуженным ни ею, ни ее знаменами. В истории есть один пример подобного же гибельного нравственного падения, вызванного причинами схожими, — это могущественная тогда Испания — после сражения при Лепанто. У нее также отшибло память сердца, и люди, ошеломленные свидетели отрицательного для родины мирового события, не в силах были передать потомкам идею святости и незыблемости государственного идеала. Поколение, сражавшееся при Лепанто, оставило истории лишь одно имя — автора "Дон Кихота" безрукого

Сервантеса, гениальная сатира которого потрясла до основания католическую, монархическую и рыцарскую Испанию, уготовив вековое падение этой страны. Сервантес — тот же русский нигилизм. Caveant consules»[36].

Парижская «речь», никогда не произносившаяся Скобелевым, произвела понятный переполох. Скобелев был вызван назад в Петербург, и вот что в пути он писал по поводу ожидавшего его в Петербурге. Письмо это — из Вильно.

«Наскоро пишу несколько слов; вероятно, до очень скорого свидания, так как меня известили, что меня ожидает неудовольствие государя и отставка. Какую пользу в отставке я смогу принести отечеству, об этом поговорим после.

Пишут, что Стоян Ковашевич тяжело ранен...

В Варшаве как офицеры, так и солдаты меня встретили восторженно. Был в офицерском собрании Австрийского полка. Опять заставили говорить...

Вообще очень отрадно было убедиться, что не трудно пробудить чувство доброе в нашей среде, конечно, если не глумиться над всем народным и не забивать систематически.

В течение нескольких часов пребывания в Варшаве я был поставлен в соприкосновение с представителями тамошней печати. Люди всех оттенков в Привисленском крае, по-видимому, крайне опасаются германского нашествия. Даже тяготение к Австро-Венгрии будто слабее, ибо "все-таки нам будет еще хуже, чем теперь, так что лучше *из трех зол* выбирать меньшее...". Тем не менее я вынес убеждение, что при создающихся, по-видимому, ныне международных отношениях из известной фракции

---

[36] *Дословно*: пусть следят консулы (т. е. надо быть настороже).

польского общества можно будет извлечь пользу. Об этом впоследствии подробнее.

Петербург — аристократический (в смысле, конечно, пушкинской родословной) и интеллигентно-либерально-чиновничий остался себе верен.

Теперь на очереди *требование* об отставлении меня от службы...

Мне не жаль ни своей службы, ни себя лично; я воспитал себя для служения идеалу... я не честолюбец, как меня выставляют немцы, в грубом значении этого слова. Жаль только, что влиятельный Петербург ощущает и теперь какое-то неодолимое блаженство купаться в грязном омуте отечественного унижения. В следующем письме постараюсь документально (отчасти) выяснить, чего мы достигли этим *случайным, для всех нежданным переполохом*, вызванным приписываемою мне речью. Моя совесть мне, однако, подсказывает, что Господь избрал меня в данном случае орудием *мира*, а не *войны*. Что теперь *сделалось*, заставило и Германию призадуматься.

Если несомненно, что *льющаяся кровь в Боснии и Герцеговине есть первая параллель, заложенная Бисмарком против величия России*, то можно также надеяться, продолжая начатое в Париже, путем литературного сближения, *постепенно* провести во французскую столь восприимчивую публику сознание связи, существующей ныне между законным возрождением балканских и австрийских славян и возвращением Франции Меца, Страсбурга, а быть может, и всего течения Рейна. Но надо работать. Конечно, наше дело только популяризировать эту мысль путем печати; но несомненно, что и это послужит к вящему охлаждению невыносимой заносчивости Берлина и хоть несколько ослабит лакейскую зависимость нашу. Недавно один из влиятельнейших государственных людей во Франции так сказал о немцах: le but maintenant est d'ébranler la *légende*

de l'invincible Allemagne... l’Allemand en Europe est comme le voleur; il a peur du gendarme[37].

Здесь немцы силятся доказать, что мои слова о немцах *во Франции* потерпели фиаско. То же будто и в Москве, но во Франции *это не так.* Подробности до следующего раза, когда буду спокойнее».

Опасения Скобелева не оправдались.

В высшей степени интересен рассказ его о приеме в Петербурге. К сожалению, его нельзя еще передать в печати. Можно сказать только одно, что он выехал отсюда полный надежд и ожидания на лучшее для России будущее...

Переписка Скобелева с разными лицами дает богатый материал для определения этого сложного характера. Вот, например, как он отделял свои личные выгоды и отношения от общих государственных польз. Приводим в высшей степени интересное письмо его, где он говорит об одном из самых близких ему людей. Над этим письмом эпиграф:

Не брошу плуга, раб ленивый,
Не отойду я от него,
Покуда не прорежу нивы,
Господь, для сева твоего.

(1858 А. С. Хомяков)

«Вчера узнал совершенно случайно, что писала о предстоящем к Пасхе назначении графа А. В. Адлерберга министром иностранных дел. Я знаю графа более 30 лет. Люблю и уважаю его, как отца, и очень многим лично ему обязан, чего, конечно, никогда не забуду. Тем не менее меня *глубоко потрясла* возможность подобного исхода. Более *тяжелого удара* нельзя нанести национальной партии.

[37] Цель заключается в том, чтобы поколебать *легенду* о непобедимости Германии... немец в Европе как вор, он боится только жандарма.

Я так высоко ценю талантливость графа Александра Владимировича, его твердость в убеждениях и неспособность к компромиссам в этом отношении, что думаю, *если* он продержится несколько месяцев, наша внешняя политика свернет опять и на очень долго в старую колею 1863 года. Очевидно, он навязан Европою, лучше сказать Берлином, и теми из влиятельных своих, о которых мы говорили.

Боюсь, очень боюсь этого назначения, и верьте, недаром...

Если сообщаемый слух осуществится, *обстановка*, в *обширнейшем* смысле слова, может, а по-моему, *должна*, измениться du tout au tout[38]. Иначе граф не останется. При скором свидании поговорим обстоятельно. А теперь пока постарайтесь проверить мое мнение. En politique il ne suffit pas d'entendre une cloche...[39] Дай Бог, чтобы я во всем ошибался!!!

Еще несколько слов о графе. При всех его несомненных дарованиях, при всей его безупречной, высокой честности не думаю, чтобы он мог оставить по себе серьезный след даже в смысле осуществления его собственных политических идеалов.

Он дипломат старой школы, быть может, в лучшем значении слова, но он, думаю, *не политик*. В наш век не воскресить дипломатических влиятельных канцелярий, считавших династические соображения и тайну наиболее пригодными способами действия. Мы это видим на своих дипломатах, до сих пор воспитанных в нессельродовских традициях. Не касаясь личностей, ибо есть люди с русским сердцем и талантливые во всяком ведомстве (Тегеранский, Зиновьев), справедливо сказать, что перед отечеством наша дипломатия, хотя бы с 1863 года, конечно, сослужила службу — даже хуже интендантства!

---

[38] Совершенно.

[39] В политике недостаточно только слухов.

В самом деле, не находится *ли* в наше своеобразно-переходное время дипломат старой школы к современному политику в том же отношении, в каком нахонаходился наш крымский кремневый солдатик к союзнику, вооруженному Минье или Эндфильдом?..

Только политик в состоянии оценить всю необходимость несравненно широкой постановки вопросов народных, политических, социальных перед нервным, прихотливым, в высокой степени подозрительным сегодняшним мыслящим большинством в Европе и даже у нас; только политик признает, наконец, всю неотразимую ныне силу печатного слова и, любя и уважая его законное общественное значение, увлечет его за собою во имя великой, в конце концов *всем* одинаково дорогой, государственной цели. Таковые передовые могучие силы бывали во все века; вспомним Демосфена, Кромвеля, Петра Великого... но особенность нашего времени заключается именно в том, что люди *иного* закала стали немыслимы и, в силу вещей, останутся явлениями мертворожденными.

Кавур, Гарибальди, Бисмарк, Гамбетта, Биконсфильд, Гладстон, Митхад-паша... вот типы современных политиков. Как бледны перед этими Бейст, Шувалов, даже Горчаков, в котором все-таки нельзя отрицать хоть искры народного самосознания...»

Разумеется, Скобелев во многом ошибался. Но если бы я мог привести его магистральные убеждения и взгляды — между ним и нами вовсе уже не так была бы глубока бездна. По множеству мостов он мог перейти к нам и мы к нему. Случайность или преступление оборвало эту жизнь в самом начале? Служение, настоящее его служение народу только начиналось. Куда бы оно привело и его, и этот народ?.. Обстоятельства его смерти таковы, что тут конца нет вопросительным знакам. О них потом, в лучшие времена...

Иллюстрации



Михаил Дмитриевич Скобелев
в год окончания Академии генерального штаба



Михаил Дмитриевич Скобелев



Скобелевы. «Родословная Скобелевых»
(литография 1878 г.)



М. Скобелев в бытность юнкером



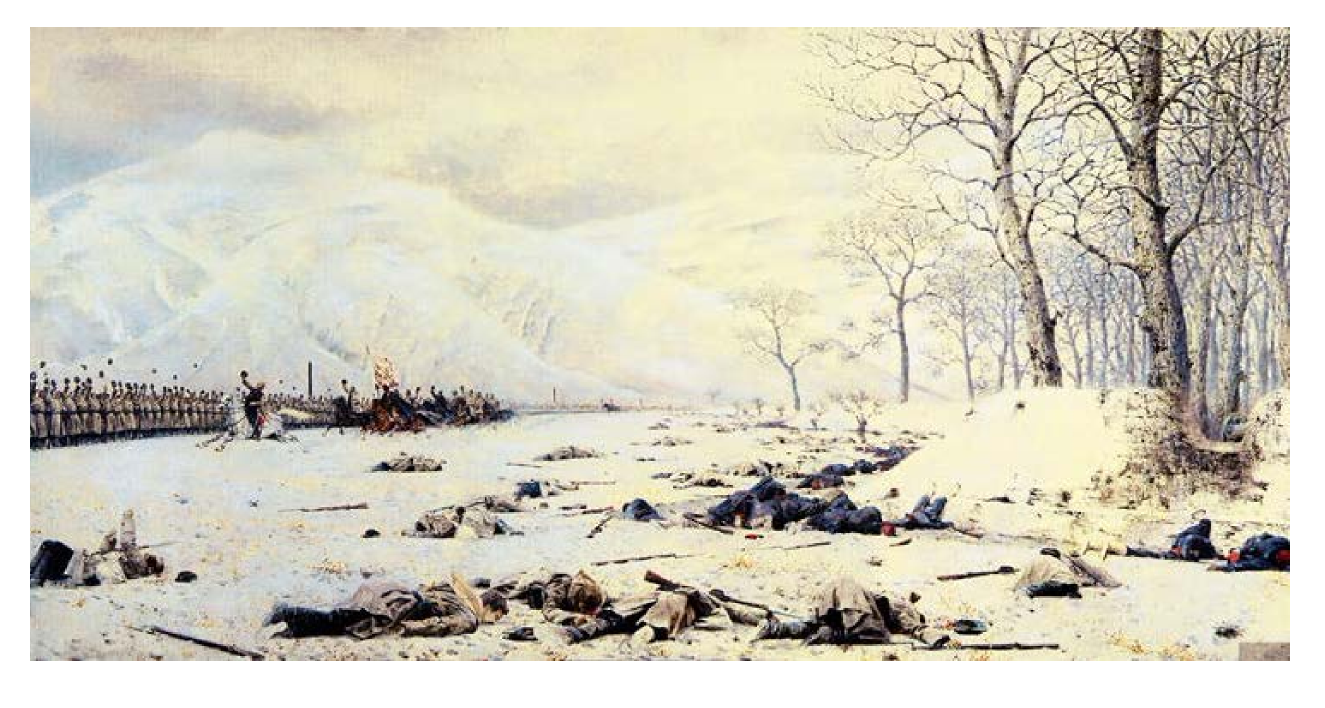
М. Д. Скобелев — поручик



Кокандъ
18 28/I 76.

Гр. Эдуарду [illegible] Баранову
отъ любящаго и благодарнаго
Михаилъ Скобелевъ

Генерал Скобелев. Коканд,1876 г. (с автографом)



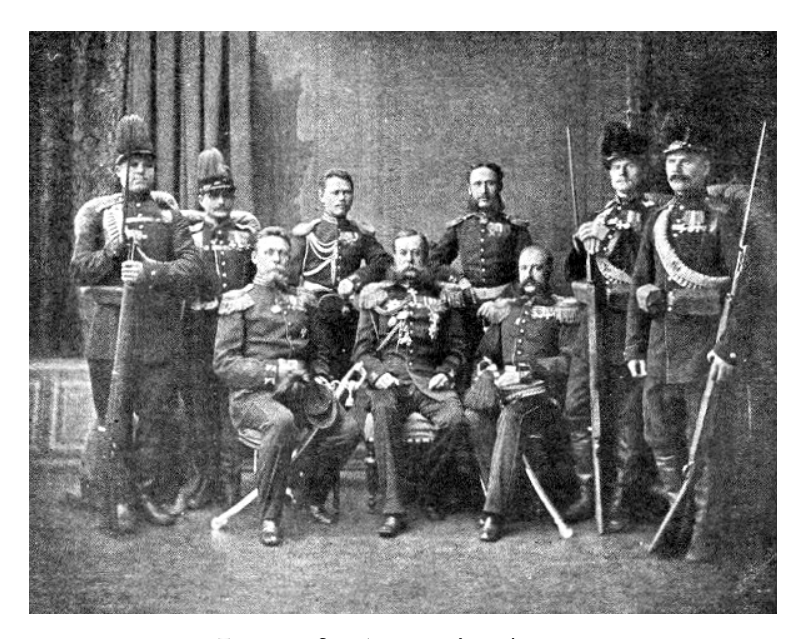
Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой (Верещагин В. В.)



Генерал М. Д. Скобелев. Конец 1870 — начало 1880-х гг.



Михаил Дмитриевич Скобелев
(одна из последних фотографий)



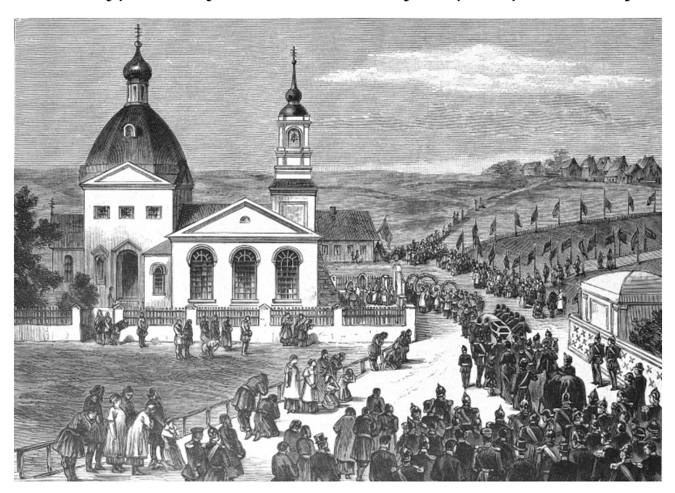
Генерал Скобелев среди офицеров
и нижних чинов «скобелевской» дивизии



М. Д. Скобелев на смертном одре. Рисунок Н. П. Чехова (1882)



Церковь в селе Спасском, родовом имении М. Д. Скобелева, в Раненбургском уезде Рязанской губ. Гравюра В. Унмута



Погребение тела «белого генерала» Скобелева в церкви с. Спасское Рязанской губ. Рис. К. О. Брожа, 1882 г.



Памятник М. Д. Скобелеву в Москве
(скульптор П. А. Самонов). Открытие. 1912 г.



Обломки этого же памятника после Октябрьской революции

Немирович-Данченко Василий Иванович

Скобелев

Личные воспоминания и впечатления

16+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *А. Тельная*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru



